

Министерство образования Республики Беларусь
Белорусский государственный университет

Философия в литературе

хрестоматия

учебное пособие

авторы-составители: Д. Г. Доброродный, Д. В. Дятко

Минск, 2014

УДК 82.09:1(075.8)(076.6)

Ф 561

*Рекомендовано в качестве учебного пособия
Советом факультета философии и социальных наук
Белорусского государственного университета
(протокол № 3 от 29.11.2012 г.)*

Авторы-составители:

Доброродний Данила Григорьевич – кандидат философских наук,
доцент кафедры философии и методологии науки БГУ;
Дятко Дмитрий Васильевич – кандидат филологических наук, доцент, заведующий
кафедрой белорусского языкознания БГПУ им. Максима Танка

Рецензенты:

Е.П. Жиганова – зам. декана факультета белорусской и русской филологии
БГПУ им. Максима Танка, доцент кафедры русской и зарубежной литературы,
кандидат филологических наук, доцент;

А.А. Легчилин – зам. декана факультета философии и социальных наук БГУ, зав.
кафедрой философии культуры ФФСН БГУ, кандидат философских наук, доцент.

Философия в литературе : хрестоматия : учебное пособие / БГУ ; авторы-
составители: Д. Г. Доброродний, Д. В. Дятко. – Минск : БГУ, 2014. – 239 с.

В хрестоматии предлагается подборка фрагментов произведений художественной литературы, в которых находят отражение фундаментальные философские проблемы: строение универсума и возможности его познания, смысл человеческой жизни и гармония социальной организации, духовный мир личности и перспективы его развития. Каждый контекст сопровождается справочной информацией и вопросами для обсуждения. Хрестоматия подготовлена на основе типовой учебной программы по курсу «Философия» для студентов высших учебных заведений Республики Беларусь и может быть использована для обеспечения материалами семинарских занятий и контролируемой самостоятельной работы.

Адресовано студентам и преподавателям высших учебных заведений, а также всем, интересующимся философией.

ВВЕДЕНИЕ

Философия и литература как особые сферы духовного опыта, особые виды познания и знания стали крайне близки друг другу в XX в. как по форме, так и по содержанию. Философы и писатели всегда говорили об одних, в общем-то, вещах, но акцентировано делали это различными способами, с привлечением различных выразительных средств. В последнее столетие (в силу ряда причин) философия и литература переплелись столь тесно, что теперь уже невозможно провести четкую демаркационную линию между ними. Философия становится намного ближе и понятнее широкому кругу лиц, когда говорит на языке литературы, а литература не может обойти философские проблемы, если она рассчитывает на «глубокого», думающего читателя. В результате мы имеем огромный пласт литературы, которая одновременно представляет собой образец глубоко духовного, философского поиска и качественного художественного творчества.

На наш взгляд, в процессе преподавания философии и филологических дисциплин в высших учебных заведениях необходимо учитывать эту тенденцию. Важно продемонстрировать студентам эвристический потенциал взаимодействия философии и литературы на ярких образцах мировой художественной культуры. Не секрет, что философия является одной из наиболее сложных для изучения дисциплин в высшей школе. Это объясняется как фундаментальностью рассматриваемых ею проблем, не имеющих однозначного решения на протяжении многих столетий, так и сложностью специфического категориального аппарата философии, многоуровневых логических построений. Усвоение философского языка и стиля мышления является важной частью фундаментального университетского образования, но иногда они становятся непреодолимым препятствием для студента, навсегда теряющего интерес к самой философии и рассматриваемым в ней проблемам. Чтобы преодолеть дистанцию между миром повседневности с его естественным языком и абстрактными философскими построениями, необходимы дополнительные усилия и средства, обладающие определенной наглядностью и доступностью для эмоционально-чувственного восприятия. Очевидно, что бытовые примеры, на которые предпочитают ориентироваться студенты, существенно упрощают большинство философских проблем. Для этого гораздо лучше подходят

контексты из художественной литературы, где талант писателя позволяет при помощи ярких образов в конкретной жизненной ситуации «увидеть» глубокий подтекст, скрытый смысл, отсылающий к чему-то большему. Конечно, художественная литература не может (и не должна) заменить философию, но она позволяет человеку приблизиться к особому духовному состоянию, настроению, когда сознание перестает «скользить по поверхности» и обращается к существенному. Литература обычно обозначает проблему, над которой должен задуматься читатель, она ставит вопросы, размышлять над которыми учит философия. Таким образом, фрагменты художественных произведений способны существенно разнообразить курс философии, наполнив его яркими «иллюстрациями».

Данное пособие предназначено студентам, изучающим философию в высших учебных заведениях, а также всем, кто серьезно интересуется взаимосвязью философии и литературы. Студентам, изучающим философию, данное пособие позволит на основании материала мировой художественной литературы не только лучше осознать, но и наглядно представить, прочувствовать наиболее сложные и фундаментальные философские проблемы, связанные с бытием человека в природном и социальном мире: смысл жизни, природа и человек, свобода и ответственность, жизнь и смерть, личность и общество. Пособие продемонстрирует актуальность этих философских проблем для каждого человека на уровне повседневного, обыденного существования. Студенты-филологи смогут оценить выразительные возможности художественного слова в плане постановки самых сложных вопросов и проблем, стоящих перед человечеством, в сфере познания внутреннего мира человека, его взаимоотношений с другими людьми и общественной системой, властью.

В структуре пособия выделены пять частей, соответствующих таким разделам философского знания, как онтология и философия природы, философская антропология, теория познания и философия науки, социальная философия, философия культуры. Авторы брали за основу типовую учебную программу курса «Философия» для высших учебных заведений, но при этом учитывали, что разделы курса, посвященные историческим типам классической и постклассической философии, в меньшей степени нуждаются в литературно-художественном дополнении.

Каждая часть пособия начинается с небольшого предисловия, в котором обозначен круг тем, рассматриваемых соответствующим разделом философии. После каждого литературного фрагмента предлагаются «вопросы для обсуждения», которые акцентируют внимание студента на

наиболее актуальных проблемах. Данные вопросы выступают в качестве некоторого ориентира, призванного помочь студенту при самостоятельной работе с текстом, однако они не являются исчерпывающими или обязательными: преподаватель в аудитории или сам студент может задать иной ракурс обсуждения произведения, затронуть другие проблемы и их аспекты.

Отдельно необходимо отметить, что в художественной литературе невозможно выделение четких предметных областей как в науке. Любое художественное произведение содержит в себе бесконечный смысловой космос, открытый для любых интерпретаций. Поэтому выбор того или иного фрагмента в качестве примера рассмотрения отдельной проблемы, например отношения человека к смерти, является условным, она не исчерпывает всех смыслов, в нем содержащихся, и конечно, данный фрагмент может быть использован в качестве иллюстрации какой-то иной темы. Авторы пособия придерживаются мнения, что не существует единственно «правильного» прочтения произведения, как не существует и непререкаемой позиции автора, не позволяющей иначе интерпретировать его текст, как нет и какого-то канонического списка произведений, соответствующих конкретной теме. Предложенный в данном пособии ряд писателей и их работ является результатом субъективного выбора, продиктованного методическими целями и потребностями составителей.

ЧАСТЬ 1. УНИВЕРСУМ И ЕГО УСТРОЙСТВО. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

В философии раздел, посвященный изучению мира в целом, бытия во всех его проявлениях, называется онтология. Исторически предмет онтологии и круг рассматриваемых ею проблем менялся от познания первопричин космоса, сущности Бога и форм материи до социального бытия и модусов человеческого существования. На современном этапе в онтологии на смену противопоставлению материальной и идеальной форм бытия, пришло выделение как минимум четырех несводимые друг к другу форм: бытие природы, общества, человека и духа. Все они являются взаимосвязанными, но обладают определенной спецификой, позволяющей говорить об уникальных свойствах и закономерностях каждой из сфер.

В данной части пособия представлены фрагменты художественных произведений, иллюстрирующие такие тематические области современной онтологии как устройство универсума, его пространственно-временная организация, понятие реальности, ее свойства и характеристики. На первый взгляд может показаться, что эта область исследований далека от литературы и даже философии, поскольку наибольший вклад в изучение объективной действительности, конечно, внесла наука. Современное естествознание предлагает системную и практически исчерпывающую картину мира. Но задача философии и литературы состоит не в том, чтобы просто описать и объяснить природные явления и процессы, а в том, чтобы осмыслить окружающий мир в контексте человеческого существования, во взаимосвязи с жизнью общества и культуры.

Кроме того, философия и литература открывают нам не один, а целый спектр миров и реальностей, полностью вымышленных или вполне возможных, которые хотя и не имеют объективного статуса, но не менее значимы для человека. Обращаясь к подобным «фантазиям» философия и литература очень часто опережают науку, как это было с атомистическим учением в Древней Греции или фантастическими романами Ж. Верна. Сегодня мы все чаще слышим серьезные рассуждения о свойствах виртуальной реальности, которая когда-то существовала только в умах писателей и философов.

Отдельно в этой части пособия представлена проблематика взаимодействия человека с природой, которая становится особенно актуальной в наше время в свете серьезных экологических проблем,

стоящих перед человечеством, и необходимости выработки новых принципов и ценностных регулятивов этого взаимодействия.

Борхес Х.Л. Тлен, Укбар, Orbis tertius.

Автор: Хорхе Луис Борхес (род. 24.08.1899, Буэнос-Айрес, Аргентина – ум. 14.06.1986, Женева, Швейцария).

Источник: Рассказ «Тлён, Укбар, Orbis tertius» [Третий мир (лат.)] опубликован в 1940 г.

Вопросы для обсуждения

- 1) *Насколько велико влияние особенностей языка на наши представления о мире?*
- 2) *Какую степень реальности могут обрести наши фантазии и надежды?*
- 3) *В чем заключается притягательность вымышленного мира?*
- 4) *Что придает какому-либо предмету, явлению или процессу статус реальности?*

Какое-то слабое, все более угасающее воспоминание о Герберте Эше, инженере, служившем на Южной железной дороге, еще сохраняется в гостинице в Адрогге, среди буйной жимолости и в мнимой глубине зеркал. При жизни он, как многие англичане, вел существование почти призрачное; после смерти он уже не призрак даже, которым был раньше. А был он высок, худощав, с редкой прямоугольной, когда-то рыжей бородой и, как я понимаю, бездетный вдовец. Через каждые несколько лет ездил в Англию поглядеть там (сужу по фотографиям, которые он нам показывал) на солнечные часы и группу дубов. Мой отец с ним подружился (это, пожалуй, слишком сильно сказано), и дружба у них была вполне английская – из тех, что начинаются с отказа от доверительных признаний, а вскоре обходятся и без диалога. Они обменивались книгами и газетами, часто сражались в шахматы, но молча... Я вспоминаю его в коридоре отеля, с математической книгой в руке, глядящим на неповторимые краски неба. Как-то под вечер мы заговорили о двенадцатеричной системе счисления (в которой двенадцать обозначается через 10). Эш сказал, что он как раз работает над перерасчетом каких-то двенадцатеричных таблиц в шестидесятеричные (в которых шестьдесят обозначается через 10). Он прибавил, что работу эту ему заказал один норвежец в Риу-Гранди-ду-Сул. Восемь лет были мы знакомы, и он ни разу не упомянул, что бывал в тех местах... Мы поговорили о пастушеской жизни, о «капангах» [Бандиты (порт.)], о бразильской этимологии слова «гаучо», которое иные старики на востоке еще произносят «гаучо», и – да простит меня Бог! – о

двенадцатеричных функциях не было больше ни слова. В сентябре 1937 года (нас тогда в отеле не было) Герберт Эш скончался от разрыва аневризмы. За несколько дней до смерти он получил из Бразилии запечатанный и проشتهмпелеванный пакет. Это была книга ин-октаво. Эш оставил ее в баре, где – много месяцев спустя – я ее обнаружил. Я стал ее перелистывать и вдруг почувствовал легкое головокружение – свое изумление я не стану описывать, ибо речь идет не о моих чувствах, а об Укбаре и Тлёне и Орбис Терциус. Как учит ислам, в некую ночь, которая зовется Ночь Ночей, распахиваются настежь тайные врата небес и вода в кувшинах становится слаще; доведись мне увидеть эти распахнутые врата, я бы не почувствовал того, что почувствовал в этот вечер. Книга была на английском, 1001 страница. На желтом кожаном корешке я прочел любопытную надпись, которая повторялась на суперобложке: «A First Encyclopaedia of Tlun, vol. XI. Hlaer to Jangr» [Первая энциклопедия Тлёна. Том XI. Хлаер-Джангр (англ.)]. Год и место издания не указаны. На первой странице и на листке папиросной бумаги, прикрывавшем одну из цветных таблиц, напечатан голубой овал со следующей надписью: «Orbis Tertius». Прошло уже два года с тех пор, как в томе некоей пиратски изданной энциклопедии я обнаружил краткое описание вымышленной страны, – ныне случай подарил мне нечто более ценное и трудоемкое. Ныне я держал в руках обширный, методически составленный раздел со всей историей целой неведомой планеты, с ее архитектурой и распрями, со страхами ее мифологии и звуками ее языков, с ее властителями и морями, с ее минералами и птицами и рыбами, с ее алгеброй и огнем, с ее богословскими и метафизическими контroversиями. Все изложено четко, связно, без тени намерения поучать или пародийности.

В Одиннадцатом Томе, о котором я рассказываю, есть отсылка к предыдущим и последующим томам. Нестор Ибарра в статье в «N. R. F.» [«Nouvelle Rйvue Fran(aise) -- «Новое французское обозрение» (фр.)], ставшей уже классической, отрицает существование этих других томов; Эсекиель Мартинес Эстрада и Дрие ла Рошель опровергли – и, вероятно, с полным успехом – его сомнения. Однако факт, что покамест самые усердые розыски ничего не дают. Напрасно мы перевернули библиотеки обеих Америк и Европы. Альфонсо Рейес, устав от этих дополнительных трудов детективного свойства, предлагает всем сообща приняться за дело воссоздания многих недостающих пухлых томов: *ex ungue leonem* [по когтю воссоздать льва (лат.)]. Полушутя-полусерьезно он подсчитал, что тут хватит одного поколения «тлёнистов». Этот смелый вывод возвращает

нас к основному вопросу: кто изобретатели Тлёна? Множественное число здесь необходимо, потому что гипотеза об одном изобретателе – этаким бесконечном Лейбнице, трудившемся во мраке неизвестности и скромности, – была единодушно отвергнута. Вероятней всего, этот brave new world – создание тайного общества астрономов, биологов, инженеров, метафизиков, поэтов, химиков, алгебраистов, моралистов, художников, геометров... руководимых неизвестным гением. Людей, сведущих в этих различных науках, есть множество, однако мало есть способных к вымыслу и еще меньше способных подчинить вымысел строгому систематическому плану. План этот так обширен, что доля участия каждого бесконечно мала. Вначале полагали, будто Тлён – это сплошной хаос, безответственный разгул воображения; теперь известно, что это целый мир и что сформулированы, хотя бы предварительно, управляющие им внутренние законы. Кажущиеся противоречия Одиннадцатого Тома – это, могу уверить, краеугольный камень доказательства существования и других томов – такая явная, четкая упорядоченность соблюдена в его изложении. Популярные журналы, с извинительным для них увлечением, сделали общим достоянием зоологию и топографию Тлёна – думаю, что прозрачные тигры и кровавые башни, пожалуй, не заслуживают постоянного внимания всех людей. Попрошу лишь несколько минут, чтобы изложить концепцию мира в Тлёне.

Юм заметил – и это непереложно, – что аргументы Беркли не допускают и тени возражения и не внушают и тени убежденности. Это суждение целиком истинно применительно к нашей земле и целиком ложно применительно к Тлёну. Народы той планеты от природы идеалисты. Их язык и производные от языка – религия, литература, метафизика – предполагают исходный идеализм. Мир для них – не собрание предметов в пространстве, но пестрый ряд отдельных поступков. Для него характерна временная, а не пространственная последовательность. В предполагаемом Ursprache [Праязык (нем.)] Тлёна, от которого происходят «современные» языки и диалекты, нет существительных, в нем есть безличные глаголы с определениями в виде односложных суффиксов (или префиксов) с адвербиальным значением. Например: нет слова, соответствующего слову «луна», но есть глагол, который можно было бы перевести «лунить» или «лунарить». «Луна поднялась над рекой» звучит «хлер у фанг аксаксаксас мле» или, переводя слово за словом, «вверх над постоянным течь залунело».

Вышесказанное относится к языкам южного полушария. В языках полушария северного (о праязыке которых в Одиннадцатом Томе данных очень мало) первичной клеткой является не глагол, а односложное прилагательное. Существительное образуется путем накопления прилагательных. Не говорят «луна», но «воздушное-светлое на темном-круглом» или «нежном-оранжевом» вместо «неба» или берут любое другое сочетание. В избранном нами примере сочетания прилагательных соответствуют реальному объекту – но это совершенно не обязательно. В литературе данного полушария (как в реальности Мейнонга) царят предметы идеальные, возникающие и исчезающие в единый миг по требованию поэтического замысла. Иногда их определяет только одновременность. Есть предметы, состоящие из двух качеств – видимого и слышимого: цвет восхода и отдаленный крик птицы. Есть состоящие из многих: солнце и вода против груди пловца; смутное розовое свечение за закрытыми веками, ощущения человека, отдающегося течению реки или объятиям сна. Эти объекты второй степени могут сочетаться с другими; с помощью некоторых аббревиатур весь процесс практически может быть бесконечен. Существуют знаменитые поэмы из одного огромнейшего слова. В этом слове интегрирован созданный автором «поэтический объект». Тот факт, что никто не верит в реальность существительных, парадоксальным образом приводит к тому, что их число бесконечно. В языках северного полушария Тлэна есть все имена существительные индоевропейских языков – и еще много сверх того.

Можно без преувеличения сказать, что классическая культура Тлэна состоит всего лишь из одной дисциплины--психологии. Все прочие ей подчинены. Я уже говорил что обитатели этой планеты понимают мир как ряд ментальных процессов, разворачивающихся не в пространстве, а во временной последовательности. Спиноза приписывает своему беспредельному божеству атрибуты протяженности и мышления; в Тлэне никто бы не понял противопоставления первого (характерного лишь для некоторых состояний) и второго – являющегося идеальным синонимом космоса. Иначе говоря: они не допускают, что нечто пространственное может длиться во времени. Зрительное восприятие дыма на горизонте, а затем выгоревшего поля, а затем полупогасшей сигары, причинившей ожог, рассматривается как пример ассоциации идей.

Этот тотальный монизм, или идеализм, делает всякую науку неполноценной. Чтобы объяснить (или определить) некий факт, надо связать его с другим; такая связь, по воззрениям жителей Тлэна, является

последующим состоянием объекта, которое не может изменить или пояснить состояние предшествующее. Всякое состояние ума ни к чему не сводимо: даже простой факт называния – *id est* [то есть (лат.)] классификации – приводит к искажению. Отсюда можно было бы заключить, что в Тлёне невозможны науки и даже просто рассуждение. Парадокс заключается в том, что науки существуют, и в бесчисленном количестве. С философскими учениями происходит то же, что с существительными в северном полушарии. Тот факт, что всякая философия – это заведомо диалектическая игра, некая *Philosophie des Als Ob* [философия Как Если Бы (нем.)], способствовал умножению систем. Там создана пропасть систем самых невероятных, но с изящным построением или сенсационным характером. Метафизики Тлёна не стремятся к истине, ни даже к правдоподобию – они ищут поражающего. По их мнению, метафизика – это ветвь фантастической литературы. Они знают, что всякая система есть не что иное, как подчинение всех аспектов мироздания какому-либо одному.

Даже выражение «все аспекты» не годится, ибо предполагает невозможное сочетание мига настоящего и миггов прошедших. Также недопустимо и множественное число – «миги прошедшие», – ибо этим как бы предполагается невозможность иного представления... Одна из философских школ Тлёна пришла к отрицанию времени: по ее рассуждению, настоящее неопределенно, будущее же реально лишь как мысль о нем в настоящем [Рассел («*The Analysis of Mind*» – «Анализ мышления», 1921, стр. 159) предполагает, что планета создана всего лишь несколько минут назад и населена жителями, которые лишь «вспоминают» иллюзорное прошлое]. Другая школа заявляет, что уже «все время» прошло и наша жизнь – это туманное воспоминание или отражение – конечно, искаженное и изувеченное – необратимого процесса. Еще одна школа находит, что история мира – а в ней история наших жизней и мельчайших подробностей наших жизней – записывается неким второстепенным богом в сговоре с демоном. Еще одна – что мир можно сравнить с теми криптограммами, в которых не все знаки наделены значением, и истинно только то, что происходит через каждые триста ночей. Еще одна – что, пока мы спим здесь, мы бодрствуем в ином мире, и, таким образом, каждый человек – это два человека.

Среди учений Тлёна ни одно не вызывало такого шума, как материализм. Некоторые мыслители сформулировали и его – скорее пылко, чем ясно, – в порядке некоего парадокса. Чтобы легче было понять

сие непостижимое воззрение, один ересиарх одиннадцатого века [В двенадцатеричной системе «век» – это период в сто сорок четыре года] придумал софизм с девятью медными монетами, скандальная слава которого в Тлёне сравнима с репутацией элеатских апорий. Есть много версий этого «блестящего рассуждения», в которых указываются различные количества монет и находений; привожу самую распространенную.

«Во вторник X проходит по пустынной дороге и теряет девять медных монет. В четверг Y находит на дороге четыре монеты, слегка заржавевшие из-за случившегося в среду дождя. В пятницу Z обнаруживает на дороге три монеты. В ту же пятницу утром X находит две монеты в коридоре своего дома». Ересиарх хотел из этой истории сделать вывод о реальности – *id est* непрерывности бытия – девяти найденных монет. Он утверждал: «Абсурдно было бы думать, будто четыре из этих монет не существовали между вторником и четвергом, три монеты – между вторником и вечером пятницы и две – между вторником и утром пятницы. Логично же думать, что они существовали – хотя бы каким-то потаенным образом, для человека непостижимым, – во все моменты этих трех отрезков времени».

Язык Тлёна был не пригоден для формулирования этого парадокса – большинство так и не поняло его. Защитники здравого смысла сперва ограничились тем, что отказались верить в правдоподобие анекдота. Они утверждали, что это-де словесное жульничество, основанное на необычном употреблении двух неологизмов, не закрепленных обычаем и чуждых строгому логическому рассуждению, а именно глаголов «находить» и «терять», заключающих в себе предвосхищение основания, ибо они предполагают тождество первых девяти монет и последующих. Они напоминали, что всякое существительное (человек, монета, четверг, среда, дождь) имеет только метафорическое значение. Изобличалось коварное описание «слегка заржавевшие из-за случившегося в среду дождя», где предполагается то, что надо доказать: непрерывность существования четырех монет между вторником и четвергом. Объяснилось, что одно дело «подобие» и другое – «тождество», и было сформулировано некое *reductio ad absurdum* [Сведение к абсурду (лат.)] или гипотетический случай, когда девять человек девять ночей подряд испытывают сильную боль. Разве не нелепо, спрашивали, предполагать, что эта боль всегда одна и та же? [В настоящее время одна из церквей Тлёна платонически утверждает, что данная боль, данный зеленоватый оттенок желтого, данная температура,

данный звук суть единственная реальность. Все люди в головокружительный момент совокупления суть один человек. Все люди, повторяющие некую строку Шекспира, суть Уильям Шекспир.]. Говорили, что у ересиарха была лишь одна побудительная причина – кощунственное намерение приписать божественную категорию «бытия» обычным монетам – и что он то отрицает множественность, то признает ее. Приводился аргумент: если подобие предполагает тождество, следовало бы также допустить, что девять монет – это одна-единственная монета.

Невероятным образом эти опровержения были еще не последними. Через сто лет после того, как проблема была сформулирована, мыслитель, не менее блестящий, чем ересиарх, но принадлежавший к ортодоксальной традиции, высказал чрезвычайно смелую гипотезу. В его удачном предположении утверждается, что существует один-единственный субъект, что неделимый этот субъект есть каждое из существ вселенной и что все они суть органы или маски божества. X есть Y и Z. Z находит три монеты, так как вспоминает, что они потерялись у X; X обнаруживает две монеты в коридоре, так как вспоминает что остальные уже подобраны... Из Одиннадцатого Тома явствует, что полная победа этого идеалистического пантеизма была обусловлена тремя основными факторами: первый – отвращение к солипсизму; второй – возможность сохранить психологию как основу наук; третий – возможность сохранить культ богов. Шопенгауэр (страстный и кристально ясный Шопенгауэр) формулирует весьма близкое учение в первом томе «*Parerga und Paralipomena*» [Афоризмы и максимы (греч., нем.)].

Геометрия Тлёна состоит из двух слегка различающихся дисциплин: зрительной и осязательной. Последняя соответствует нашей геометрии и считается подчиненной по отношению к первой. Основа зрительной геометрии – не точка, а поверхность. Эта геометрия не знает параллельных линий и заявляет, что человек, перемещаясь, изменяет окружающие его формы. Основой арифметики Тлёна является понятие бесконечных чисел. Особая важность придается понятиям большего и меньшего, которые нашими математиками обозначаются с помощью $>$ и $<$. Математики Тлёна утверждают, что сам процесс счета изменяет количество и превращает его из неопределенного в определенное. Тот факт, что несколько индивидуумов, подсчитывая одно и то же количество, приходят к одинаковому результату, представляет для психологов пример ассоциации идей или хорошего упражнения памяти. Мы уже знаем, что в Тлёне объект познания единствен и вечен.

В литературных обычаях также царит идея единственного объекта. Автор редко указывается. Нет понятия «плагиат»: само собой разумеется, что все произведения суть произведения одного автора, вневременного и анонимного. Критика иногда выдумывает авторов: выбираются два различных произведения – к примеру, «Дао Дэ Цзин» и «Тысяча и одна ночь», – приписывают их одному автору, а затем добросовестно определяют психологию этого любопытного *homme de lettres* ... [литератор (фр.).].

Отличаются от наших также их книги. Беллетристика разрабатывает один-единственный сюжет со всеми мыслимыми перестановками. Книги философского характера неизменно содержат тезис и антитезис, строго соблюдаемые «про» и «контра» любого учения. Книга, в которой нет ее антикниги, считается незавершенной.

Многие века идеализма не преминули повлиять на реальность. В самых древних областях Тлёна нередки случаи удвоения потерянных предметов. Два человека ищут карандаш; первый находит и ничего не говорит; второй находит другой карандаш, не менее реальный, но более соответствующий его ожиданиям. Эти вторичные предметы называются «хрёнир», и они хотя несколько менее изящны, зато более удобны. Еще до недавних пор «хрёниры» были случайными порождениями рассеянности и забывчивости. Трудно поверить, что методическое их создание насчитывает едва ли сто лет, но так утверждается в Одиннадцатом Томе. Первые попытки были безрезультатны. Однако *modus operandi* заслуживает упоминания. Комендант одной из государственных тюрем сообщил узникам, что в старом русле реки имеются древние захоронения, и посулил свободу тем, кто найдет что-нибудь стоящее. За несколько месяцев до начала раскопок их познакомили с фотоснимками того, что они должны найти. Эта первая попытка показала, что надежда и жадность могут помешать: после недели работы лопатой и киркой не удалось откопать никакого «хрёна», кроме ржавого колеса, из эпохи более поздней, чем время эксперимента. Эксперимент держали в секрете, а затем повторили в четырех колледжах. В трех была полная неудача, в четвертом же (директор которого внезапно скончался в самом начале раскопок) ученики откопали – или создали – золотую маску, древний меч, две или три глиняные амфоры и зеленоватый, увечный торс царя с надписью на груди, которую расшифровать не удалось. Так обнаружилась непригодность свидетелей, знающих про экспериментальный характер поисков... Изыскания в массовом масштабе производят предметы с

противоречивыми свойствами; предпочтение ныне отдается раскопкам индивидуальным, даже импровизированным. Методическая разработка «хрёниров» (сказано в Одиннадцатом Томе) сослужила археологам неоценимую службу: она позволила скрашивать и даже изменять прошлое, которое теперь не менее пластично и послушно, чем будущее. Любопытный факт: в «хрёнирах» второй и третьей степени – то есть «хрёнирах», производных от другого «хрёна», и «хрёнирах», производных от «хрёна» «хрёна», – отмечается усиление искажений исходного «хрёна»; «хрёниры» пятой степени почти подобны ему; «хрёниры» девятой степени можно спутать со второй; а в «хрёнирах» одиннадцатой степени наблюдается чистота линий, которой нет у оригиналов. Процесс тут периодический: в «хрёне» двенадцатой степени уже начинается ухудшение. Более удивителен и чист по форме, чем любой «хрён», иногда бывает «ур» – предмет, произведенный внушением, объект, извлеченный из небытия надеждой. Великолепная золотая маска, о которой я говорил, – яркий тому пример.

Вещи в Тлёне удваиваются, но у них также есть тенденция меркнуть и утрачивать детали, когда люди про них забывают. Классический пример – порог, существовавший, пока на него ступал некий нищий, и исчезнувший из виду, когда тот умер. Случалось, какие-нибудь птицы или лошадь спасали от исчезновения развалины амфитеатра.

Сальто-Ориенталь, 1940

Постскрипtum, 1947. Я привожу вышеизложенную статью в том виде, в каком она была напечатана в «Антологии фантастической литературы» в 1940 году, без сокращений, кроме нескольких метафор и своего рода шуточного заключения, которое теперь звучит легкомысленно. Столько событий произошло с того времени!.. Ограничусь кратким их перечнем.

В марте 1941-го в книге Хинтона, принадлежавшей Герберту Эшу, было обнаружено написанное от руки письмо Гуннара Эрфьорда. На конверте стоял почтовый штемпель Оуро-Прето; в письме полностью разъяснялась тайна Тлёна. Начало этой блестящей истории было положено в некий вечер первой половины XVII века не то в Люцерне, не то в Лондоне. Было основано тайное благорасположенное общество (среди членов которого был Дальгарно, а затем Джордж Беркли) с целью выдумать страну. В туманной первоначальной программе фигурировали «герметические штудии», благотворительность и каббала. К этому раннему периоду относится любопытная книга Андрее. После нескольких

лет совещаний и предварительных обобщений члены общества осознали, что для воспроизведения целой страны не хватит одного поколения. Они решили, что каждый из входящих в общество должен выбрать себе ученика для продолжения дела. Такая «наследственная» система оказалась эффективной: после двух веков гонений братство возродилось в Америке. В 1824 году в Мемфисе (штат Теннесси) один из участников заводит разговор с миллионером-аскетом Эзрой Бакли. Тот с некоторым презрением дает ему высказаться – и высмеивает скромность их плана. Бакли говорит, что в Америке нелепо выдумывать страну, и предложил выдумать планету. К этой грандиозной идее он прибавил вторую, плод своего нигилизма [Бакли был вольнодумец, фаталист и поборник братства]: обязательно хранить гигантский замысел в тайне. В то время как раз были выпущены двадцать томов *Encyclopaedia Britannica*; Бакли предлагает создать методическую энциклопедию вымышленной планеты. Пусть себе описывают сколько хотят золотоносные горные хребты, судоходные реки, луга с быками и бизонами, тамошних негров, публичные дома и доллары, но с одним условием: «Это произведение не вступит в союз с обманщиком Иисусом Христом». Бакли не верил в Бога, но хотел доказать несуществующему Богу, что смертные люди способны создать целый мир. Бакли умер от яда в Батон-Руж в 1828 году; в 1914 году общество вручает своим сотрудникам – а их было триста – последний том Первой энциклопедии Тлэна. Издание это тайное: составляющие его сорок томов (самое грандиозное сочинение, когда-либо затеянное людьми) должны были послужить основой для другого, более подробного, написанного уже не на английском языке, но на одном из языков Тлэна. Этот обзор иллюзорного мира предварительно и был назван *Orbis Tertius*, и одним из его скромных демиургов был Герберт Эш – то ли как агент Гуннара Эрфьорда, то ли как член общества. То, что он получил экземпляр Одиннадцатого Тома, как будто подкрепляет второе предположение. Ну а другие тома? В 1942 году события разыгрались одно за другим. С особенной четкостью вспоминается мне одно из первых, и, по-моему, я отчасти почувствовал его пророческий характер. Произошло оно в особняке на улице Лаприда напротив светлого, высокого, выходившего на запад балкона. Княгиня де Фосиньи Люсенж получила из Пуатье свою серебряную посуду. Из обширных недр ящика, испещренного иностранными печатями, появлялись изящные неподвижные вещи: серебро из Утрехта и Парижа угловатой геральдической фауной, самовар. Среди всего этого живой, мелкой дрожью спящей птицы таинственно

трепетал компас. Княгиня не признала его своим. Синяя стрелка устремлялась к магнитному полюсу, металлический корпус был выпуклый, буквы на его округлости соответствовали одному из алфавитов Тлёна. Таково было первое вторжение фантастического мира в мир реальный. Странно-тревожное совпадение сделало меня свидетелем и второго случая. Он произошел несколько месяцев спустя в харчевне одного бразильца в Кучилья-Негра. Аморим и я возвращались из Санта-Аны. Разлив реки Такуарембо вынудил нас испытать (и вытерпеть) тамошнее примитивное гостеприимство. Хозяин поставил для нас скрипучие кровати в большой комнате, загроможденной бочками и винными мехами. Мы улеглись, но до самого рассвета не давал нам уснуть пьяный сосед за стенкой, который то долго и вычурно ругался, то, завывая, распевал милонги – вернее, одну милонгу. Мы, естественно, приписывали эти нестихавшие вопли действию жгучей тростниковой водки нашего хозяина... На заре соседа нашли в коридоре мертвым. Его хриплый голос ввел нас в заблуждение – то был молодой парень. Из пояса пьяницы выпало несколько монет и конус из блестящего металла диаметром в игральную кость.

Напрасно какой-то мальчуган пытался подобрать этот конус. Его с трудом поднял взрослый мужчина. Я несколько минут подержал его на ладони; вспоминаю, что тяжесть была невыносимая, и, когда конус забрали, ощущение ее еще длилось какое-то время. Вспоминаю также четко очерченный кружок – след, оставшийся на ладони. Маленький предмет такой невероятной тяжести вызывал неприятное чувство отвращения и страха. Один из местных предложил бросить его в их быструю реку. За несколько песо Аморим его приобрел. О мертвом никто ничего не знал, кроме того, что он «с границ». Эти маленькие, тяжеленные конусы (из металла, на земле неизвестного) являются символами божества в некоторых религиях Тлёна.

Здесь я заканчиваю лично меня касающуюся часть повествования. Остальное живет в памяти (если не в надеждах или страхах) всех моих читателей. Достаточно лишь напомнить или назвать следующие факты – в самых кратких словах, которые емкая всеобщая память может дополнить и развить. В 1944 году некто, изучавший газету «The American» (Нэшвилл, штат Теннесси), обнаружил в библиотеке Мемфиса все сорок томов Первой энциклопедии Тлёна. До нынешнего дня продолжается спор, было ли то открытие случайное или же с соизволения правителей все еще туманного Orbis Tertius. Правдоподобнее второе. Некоторые невероятные утверждения Одиннадцатого Тома (например, размножение «хрёниров») в

мемфисском экземпляре опущены или смягчены, можно предположить, что эти исправления внесены согласно с планом изобразить мир, который бы не был слишком уж несовместим с миром реальным. Рассеивание предметов из Тлёна по разным странам, видимо, должно было завершить этот план... [Естественно, остается проблема «материальности» некоторых предметов]. Факт, что мировая печать подняла невероятный шум вокруг «находки». Учебники, антологии, краткие изложения, точные переводы, авторизованные и пиратские перепечатки Величайшего Произведения Людей наводнили и продолжают наводнять земной шар. Почти сразу же реальность стала уступать в разных пунктах. Правда, она жаждала уступить. Десять лет тому назад достаточно было любого симметричного построения с видимостью порядка – диалектического материализма, антисемитизма, нацизма, – чтобы заморозить людей. Как же не поддаться обаянию Тлёна, подробной и очевидной картине упорядоченной планеты? Бесплезно возражать, что ведь реальность тоже упорядочена. Да, возможно, но упорядочена-то она согласно законам божественным – даю перевод: законам бесчеловечным, которые нам никогда не постигнуть. Тлён – даже если это лабиринт, зато лабиринт, придуманный людьми, лабиринт, созданный для того, чтобы в нем разбирались люди.

Контакты с Тлёном и привычка к нему разложили наш мир. Очарованное стройностью, человечество все больше забывает, что это стройность замысла шахматистов, а не ангелов. Уже проник в школы «первоначальный язык» (гипотетический) Тлёна, уже преподавание гармоничной (и полной волнующих эпизодов) истории Тлёна заслонило ту историю, которая властвовала над моим детством; уже в памяти людей фиктивное прошлое вытесняет другое, о котором мы ничего с уверенностью не знаем – даже того, что оно лживо. Произошли перемены в нумизматике, в фармакологии и археологии. Думаю, что и биологию, и математику также ожидают превращения... Рассеянная по земному шару династия ученых одиночек изменила лик земли. Их дело продолжается. Если наши предсказания сбудутся, то лет через сто кто-нибудь обнаружит сто томов Второй энциклопедии Тлёна.

Тогда исчезнут с нашей планеты английский, и французский, и испанский языки. Мир станет Тлёном. Мне это все равно. В тихом убежище отеля в Адрогге я занимаюсь обработкой переложения в духе Кеведо (печатать его я не собираюсь) «Погребальной урны» Брауна.

Лем С. Новая космогония.

Автор: Станислав Лем (род. 12.09.1921, Львов, Польша (сейчас Украина) – ум. 27.03.2006, Краков, Польша)

Источник: Рассказ «Новая космогония» опубликован в 1971 г.

Вопросы для обсуждения

- 1) *Что собой представляет структурная организация Вселенной?*
- 2) *Каковы основные принципы ее устройства?*
- 3) *Можно ли сказать, что упорядоченность Вселенной на всех уровнях говорит о ее разумной сущности? Или рациональной управляемости?*
- 4) *В чем заключается смысл существования человека во Вселенной?*

Теперь рассмотрим все еще раз с самого начала. В конце семидесятых годов двадцатого века загадка *Silentium Universi* [молчание Вселенной (лат.)] получила некоторую известность. Ею интересовались самые широкие круги. После первых предварительных попыток принять сигналы из космоса (это были работы Дрейка в Грин Бэнк) появились дальнейшие проекты, реализованные как в СССР, так и в США. Однако Космос, прослушиваемый самой чуткой электромагнитной аппаратурой, хранил упорное молчание, наполненное лишь шумом и треском, сопровождавшими стихийное высвобождение звездной энергии. Вселенная оставалась безжизненной во всех своих глубинах. Отсутствие сигналов «иных миров» и вдобавок отсутствие следов их «астроинженерной» деятельности превращалось для науки в трагедию. Биология открывала естественные условия, способствующие зарождению жизни из мертвой материи. Удалось даже осуществить биогенез в лабораторных условиях. Астрономия определила частоту планетогенеза, причем было неопровержимо установлено, что множество звезд имеют планетные системы. Итак, все науки единогласно утверждали, что жизнь может возникнуть в ходе естественных космических процессов, что ее эволюция должна быть обычным явлением во Вселенной, а увенчание эволюционного древа разумом органических существ было признано естественной закономерностью.

Таким образом, науки создали картину обитаемого Космоса, а при всем при том наблюдаемые факты упорно противоречили этим утверждениям. Согласно теории, Землю окружала целая толпа

цивилизаций, правда, в звездном удалении. Согласно практике наблюдений, нас окружала мертвая глушь. Первые исследователи проблемы исходили из того, что среднее расстояние между двумя космическими цивилизациями составляет от пятидесяти до ста световых лет. Затем это расстояние было увеличено до тысячи. В семидесятые годы радиоастрономия так усовершенствовалась, что можно было обнаружить сигналы, идущие с расстояний до десяти тысяч световых лет, однако и оттуда слышался лишь шум солнечных пожаров. За семнадцать лет непрерывного прослушивания Космоса не было выловлено ни единого сигнала, ни единого знака, дающего основания предполагать, что за ним стоит разумное намерение.

Тогда Ахеропулос сказал себе: факты наверняка истинны, поскольку именно они являются основой познания. Возможно ли, что все теории всех наук ложны, что и органическая химия, и биохимический синтез, теоретическая и эволюционная биология, планетология, астрофизика – все до единой неверны? Нет, столь явно и столь единодушно они не могли заблуждаться. А это значит, что факты, которые мы наблюдаем (вернее, которых не наблюдаем), вовсе не противоречат теориям. Необходимо заново проинтерпретировать совокупность данных и совокупность обобщений. Именно такую попытку и предпринял Ахеропулос.

На протяжении двадцатого столетия возраст Космоса и его размеры земная наука вынуждена была многократно пересматривать. Направление этих изменений было всегда одним и тем же: и древность, и размеры Вселенной, как правило, недооценивались. Когда Ахеропулос приступил к созданию «Новой Космогонии», возраст и величину Вселенной подвергли очередному пересмотру: существование Космоса оценивалось по крайней мере в двенадцать миллиардов лет, а его размеры – величиной от десяти до двенадцати миллиардов световых лет. Так вот, возраст Солнечной системы составляет около пяти миллиардов лет. Отсюда следует, что эта система не принадлежит к первому поколению звезд, порожденному Вселенной. Первое поколение возникло много раньше, а именно около двенадцати миллиардов лет назад. Вот в этом промежутке времени, отделяющем возникновение самого первого поколения солнц от возникновения их последующих поколений, спрятан ключ к загадке.

Поэтому сложилась ситуация, в равной мере и удивительная, и забавная. Как может выглядеть, чем может заниматься, какие цели может преследовать цивилизация, развивающаяся в течение миллиардов лет (а именно на миллиарды лет цивилизации «первого поколения» должны,

быть старше земной!), – этого никто не мог себе представить даже при самом смелом полете фантазии. А то, чего нельзя даже представить, было, как вещь весьма неудобная, попросту проигнорировано. В самом деле, ни один из исследователей проблемы внеземного разума даже не упоминал о столь долговечных цивилизациях. Правда, кое-кто осмеливался заявить, что квазары и пульсары, возможно, представляют собой результат деятельности мощнейших космических цивилизаций. Однако простые расчеты показали, что Земля, развиваясь нынешними темпами, смогла бы достигнуть столь высокого уровня астроинженерной деятельности всего за несколько тысяч ближайших лет. А что потом? На что способна цивилизация, существующая в миллионы раз дольше? Астрофизики, занимающиеся этими вопросами, пришли к выводу, что такие цивилизации ничего не делают, ибо они не существуют.

Что же с ними случилось? Немецкий астроном Себастьян фон Хорнер утверждал, что все они кончили жизнь самоубийством. Пожалуй, так оно и есть, коль скоро их нигде не видно! Да нет же, отвечал Ахеропулос. Их нигде не видно? Это мы их просто не замечаем, поскольку они уже везде. Точнее, не они сами, а лишь результаты их деятельности. Двенадцать миллиардов лет назад – а в те времена пространство и впрямь было мертвым – возникли первые зародыши жизни на планетах первого звездного поколения. Однако прошли эпохи, и от той космической первоосновы ничего не осталось. Если считать «искусственным» все то, что преобразовано активным Разумом, то весь окружающий нас Космос уже искусственный. Столь дерзкая ересь вызывает мгновенное противодействие: ведь нам известно, как выглядят «искусственные» объекты, созданные разумом, занимающимся технической деятельностью! Где же космические корабли, где титаническая техника звездных существ, которая должна нас окружать, воплощая в себе их могущество? Но это – ошибка, вызванная инерцией мышления, поскольку в машинной технике, говорит Ахеропулос, нуждаются только цивилизации, находящиеся в эмбриональном состоянии, как, например, земная. Миллиардолетней цивилизации не нужна никакая техника. Ее орудием является то, что мы называем Законами Природы. Сама Физика представляет собой «машину» для такой цивилизации! Причем это не «готовая машина», ничего подобного; «машина» эта (конечно, с механическими машинами она не имеет ничего общего) создается на протяжении миллиардов лет, и ее строительство хоть и весьма далеко продвинулось, но еще не завершено!

Дерзость этого святотатства, его невыразимо бунтарский дух прямо-таки вышибают книжку Ахеропулоса из рук читателя, – несомненно, так случилось со многими. А ведь это лишь первый шаг на пути дальнейшего отступничества автора, величайшего еретика в истории науки.

Ахеропулос уничтожает разницу между «естественным» (созданным Природой) и «искусственным» (созданным машиной), заходя в этом так далеко, что сметает разницу между учрежденным (то есть юридическим) Законом и Законом Природы... Он отвергает мнение, что якобы разделение произвольно взятых объектов по происхождению на искусственные и естественные является объективным свойством мира. Ахеропулос считает это мнение изначальным заблуждением, вызванным эффектом, который он называет «сужением горизонта понятий».

Человек наблюдает природу, говорит Ахеропулос, и учится у нее; он наблюдает падение тел, молнии, процессы горения. Природа всегда является учителем, а человек – учеником; проходит время, и он сам начинает имитировать процессы, происходящие в собственном теле, как бы беря у него уроки биологии. Но и тогда, подобно пещерному человеку, он продолжает считать Природу пределом мыслимого совершенства решений: он надеется, что, может быть, когда-нибудь потом, в далеком будущем, ему удастся сравняться с Природой в безупречности действий, но это уже будет конец пути. Дальше идти некуда, ибо то, что существует в виде атомов, солнц, тел животных, его собственного мозга, – по строению своему является непревзойденным вовеки. И естественно, Природа является пределом потока работ, которые ее «искусственно» повторяют и модифицируют.

Вот это и есть, говорит Ахеропулос, ошибка перспективы или «сужение горизонта понятий». Сама концепция «совершенства Природы» является такой же иллюзией, как сходящиеся на горизонте рельсы. Природу можно изменять во всем, если, конечно, располагать соответствующими знаниями; можно управлять атомами, а потом можно изменять и свойства атомов; при этом лучше и вовсе не раздумывать, окажется ли «искусственный» результат такой деятельности «более совершенным», чем то, что было ранее, то есть «естественное». Это будет попросту другое, возникшее по плану и замыслу действующих сторон, оно будет «лучше», то есть «совершеннее», потому что создано по решению Разума. Но какое «абсолютное превосходство» сможет проявить космическая материя после ее всеобщего преобразования? Возможны «различные природы», «разные космосы», но реализованным оказался

всего лишь один конкретный вариант, тот самый, который породил нас, и в котором мы существуем, вот и все. Так называемые Законы Природы являются «неизменными» лишь для такой «эмбриональной» цивилизации, как земная. Согласно Ахеропулосу, путь развития ведет от ступени, на которой законы природы открывают, к ступени, на которой эти законы создают.

Вот что произошло – и происходит – в течение миллиардов лет. Нынешний Космос уже не является полем действия девственных стихийных сил, слепо созидających и уничтожающих солнца и солнечные системы; ничего подобного нет и в помине. В Космосе уже невозможно отличить естественное (первичное) от искусственного (преобразованного). Кто выполнил этот космогонический труд? Цивилизации первых поколений. Как? Этого мы не знаем: наши знания слишком ничтожны; чтобы судить об этом. Тогда на каком основании можно считать, что все обстоит именно так?

Если бы первые цивилизации, отвечает Ахеропулос, были с самого начала свободны в своих поступках, подобно тому как был свободен – в религиозном понимании – сам Творец Мироздания, то нам, конечно, никогда не удалось бы заметить следов происшедших перемен. Все религии изображают сотворение мира Богом как абсолютно свободный преднамеренный акт, но положение Разума было иным, цивилизации были ограничены свойствами первичной материи, их породившей; эти свойства обусловили их последующие поступки, и по поведению цивилизаций можно опосредованно составить картину исходных условий сознательной Космогонии. Это не так-то просто, ведь в процессе преобразования Вселенной сами цивилизации тоже не стояли на месте: являясь ее частью, они не могли ее изменять, не изменяя при этом самих себя.

Ахеропулос приводит такой наглядный пример: если на питательную среду поселить колонии бактерий, то исходную («естественную») среду и эти колонии вначале легко различить. Однако в процессе своей жизнедеятельности бактерии поглощают одни вещества и выделяют другие, преобразуя среду так, что ее состав, кислотность, консистенция подвергаются изменениям. Когда же в результате этих перемен обогащенная новыми химическими компонентами среда порождает новые разновидности бактерий, до неузнаваемости непохожие на родительские поколения, эти новые разновидности есть не что иное, как следствие «биохимической игры», которая велась одновременно всеми колониями и средой. Новые формы бактерий не могли бы возникнуть, если бы

предыдущие поколения не изменили среды; следовательно, эти новые формы являются результатом самой игры. А между тем отдельным колониям вовсе нет нужды общаться между собой: они влияют друг на друга посредством диффузии, осмоса, сдвига кислотно-щелочного равновесия среды. Как видим, возникшая игра постепенно исчезает – на смену ей приходят качественно новые, ранее не существовавшие формы игры. Подставьте вместо среды Пракосмос, вместо бактерий – Працивилизации, и вы получите упрощенную картину Новой Космогонии.

С точки зрения исторически накопленных знаний все, о чем я говорил до сих пор, – полнейшее безумие. Тем не менее ничто не мешает нам проводить мысленные эксперименты с самыми произвольными исходными допущениями, лишь бы они были логически непротиворечивы. Что же касается гипотезы Космоса-Игры, то здесь возникает ряд вопросов, на которые необходимо дать не противоречащие друг другу ответы. В первую очередь эти вопросы касаются начальных условий: можем ли мы что-нибудь предположить о них, можем ли из этих предположений получить исходную ситуацию Игры? Ахеропулос считал, что это возможно. Для того чтобы в Пракосмосе возникла Игра, он должен был обладать определенными свойствами, например такими, чтобы в нем могли возникнуть первые цивилизации. Это значит, что он не был физическим хаосом, а подчинялся определенным закономерностям.

Эти закономерности, однако, не обязательно были универсальными, то есть повсюду одинаковыми. Пракосмос мог быть физически неоднородным, мог представлять собой нечто вроде набора различных разновидностей физики, не во всем тождественных и не везде одинаково определившихся (процессы, протекающие в условиях недоопределившейся физики, не всегда протекают одинаково, хотя их начальные условия могут быть аналогичными). Ахеропулос принял за основу, что Пракосмос был именно таким, физически «кусочным», и что цивилизации могли возникнуть лишь в немногих очагах, значительно удаленных друг от друга. В представлении Ахеропулоса физическая картина Пракосмоса напоминала пчелиные соты; подобно ячейкам в сотах, в Пракосмосе должны были существовать области с временно стабилизированной физикой, которая отличалась от физики соседних областей. Каждая цивилизация, развиваясь обособленно, в изоляции от прочих, могла считать себя единственной во Вселенной и по мере накопления знаний и энергии старалась придавать окружению черты стабильности, последовательно раздвигая при этом границы своего влияния. Если ей это

удавалось, то по истечении довольно длительного времени такая цивилизация начинала сталкиваться – в удаленных сферах своей деятельности – с явлениями, которые уже не были только естественным проявлением стихийности окружающего нас пространственно-временного континуума, но были продуктом деятельности другой цивилизации. Согласно Ахеропулосу, именно так и закончилась первая фаза Игры – вступительная. Цивилизации не устанавливали друг с другом непосредственных контактов, все происходило так: разновидность физики, установленная одной из цивилизаций, в процессе экспансии наталкивалась на соседние разновидности физики.

Эти разновидности физики не могли плавно переходить одна в другую, поскольку они были нетождественны – потому, что нетождественными были и начальные условия существования каждой цивилизации в отдельности. Как полагал Ахеропулос, каждая из цивилизаций довольно долго не отдавала себе отчета в том, что в течение какого-то времени она уже не продвигается в глубь, казалось бы, совершенно нейтральной материальной среды, а сталкивается со сферами сознательной деятельности иных цивилизаций. Понимание сложившейся ситуации пришло не сразу. Осознание этого факта, наверняка не одновременное, открыло следующую, вторую фазу Игры. Стараясь сделать эту гипотезу более правдоподобной, Ахеропулос приводит в «Новой Космогонии» ряд воображаемых сцен, иллюстрирующих космическую эпоху, когда различные по исходным законам разновидности физики наталкивались друг на друга, а фронт столкновений представлял собой гигантские взрывы и пожары, в которых высвобождались колоссальные энергии различного рода аннигиляции и трансформаций. Это были столь мощные катастрофы, что отзвук их еще по сей день слышен во Вселенной в виде так называемого реликтового (остаточного) излучения, обнаруженного астрофизиками в шестидесятые годы и принятого ими за эхо ударных волн, порожденных взрывным характером возникновения Космоса из его почти точечного зародыша (ибо в те годы многие считали весьма правдоподобной именно такую модель сотворения мира). Но проходили века, и цивилизации независимо друг от друга пришли к пониманию того, что они ведут антагонистическую Игру не со стихийными силами Природы, а, сами того не ведая, с иными цивилизациями. И вот тем, что определило всю их последующую стратегию, был факт заведомой некоммуникабельности, отсутствия связи

друг с другом, поскольку из пределов действия одной разновидности физики нельзя переслать никакой информации в пределы действия другой.

Итак, каждая из них вынуждена была действовать в одиночку, продолжение прежней тактики было бесцельным, а то и просто губительным; вместо того чтобы понапрасну тратить силы в лобовых столкновениях, надлежало объединиться, однако без всякой предварительной договоренности. Эти решения, принятые тоже одновременно, в конце концов привели к переходу Игры в ее третью фазу, которая продолжается и теперь. Значит, Игра, в которой участвуют практически все высшие цивилизации Вселенной, является одновременно и единой, и естественной. Члены этой совокупности ведут себя подобно экипажам кораблей, которые во время бури льют масло на разбушевавшиеся волны; хоть они и не согласовали своих действий, тем не менее эти действия принесут пользу всем. Стало быть, каждый игрок действует согласно минимаксовой стратегии: он изменяет существующие условия так, чтобы добиться максимальной всеобщей выгоды при минимальном ущербе. Поэтому нынешний Космос является однородным и изотропным (в нем действуют одни и те же законы и отсутствуют выделенные направления). Свойства, которые Эйнштейн обнаружил в Мироздании, являются результатами решений, принятых порознь, но тем не менее тождественных ввиду тождественности ситуаций, в которых находились игроки. Однако тождественной в начале была стратегическая ситуация и не обязательно – физическая. Ведь не однородная физика породила стратегию Игры. Совсем наоборот: однородная минимаксовая стратегия породила единую физику. *Id fecit Universum, cui prodest* [Вселенную создал тот, кому это выгодно (лат.)].

Когда же мы вглядываемся в современный Космос, мы обнаруживаем зафиксированные в его структуре основные принципы той стратегии, которой придерживаются Игроки. Космос постоянно расширяется, он имеет предельную скорость, или световой барьер, законы его Физики симметричны, но симметрия эта не полная, он построен «коагуляционно и иерархично», поскольку состоит из звезд, которые собираются в скопления, те в свою очередь сгруппированы в местные сгущения и, наконец, все эти сгущения образуют Метагалактику. Кроме того, время в Космосе полностью асимметрично. Вот таковы основные черты строения Мироздания, и для каждой из них мы находим исчерпывающее объяснение в структуре Космогонической Игры, Игры,

позволяющей нам сразу понять, почему одним из ее основных принципов должно быть соблюдение *Silentium Universi*. Почему же Космос устроен именно так? Игроки знают, что в процессе эволюции звезд возникают новые планеты и новые цивилизации, а это вынуждает их позаботиться о том, чтобы молодые цивилизации, эти кандидаты на роль будущих Игроков, не могли нарушить равновесия Игры. Поэтому Космос расширяется, ибо только в таком Космосе, несмотря на возникновение в нем все новых цивилизаций, расстояние между ними остается величиной постоянной.

Взаимопонимание, которое может привести к «сговору», к возникновению местной коалиции новых Игроков, могло бы, однако, возникнуть и в таком, расширяющемся Космосе, если бы в него не был встроен барьер скорости взаимодействия на расстоянии. Представим себе Космос с Физикой, позволяющей увеличивать скорость распространения взаимодействия пропорционально вложенной энергии. В таком Космосе становится возможной монополизация власти над его Физикой и над всеми остальными участниками Игры. Такой Космос как бы поощряет соревнование, энергетическое соперничество, гонку энерговооружения. Поэтому в реальном Космосе для превышения скорости света требуется бесконечно большая энергия, – иначе говоря, этот барьер вообще нельзя преодолеть.

Таким образом, возрастание энергетического могущества не окупается. Причина асимметрии хода времени аналогична. Если бы время было обратимо и если бы, затрачивая необходимые средства и мощности, можно было бы изменять направление хода времени, то и в этом случае удалось бы подчинить себе партнеров, на сей раз благодаря возможности аннулировать любое их начинание. Следовательно, нерасширяющийся Космос, как и Космос без барьера скорости, и, наконец, Космос с обратимым временем – все это в одинаковой мере не позволяет полностью стабилизировать Игру. А ведь задача, собственно, в том и заключалась, чтобы стабилизировать Игру нормативно, именно к этому направлены все усилия Игроков, воплощенные в структуре материи. Ведь совершенно очевидно, что исключение всякой возможности любого осложнения и любой агрессии с помощью специально вводимых законов Физики является куда более надежным и радикальным, чем все другие средства безопасности (например, с помощью уже установившихся законов, угроз, контроля, принуждения, ограничений, штрафов).

Вследствие этого Космос представляет собой поглощающий экран для всех, кто достигает такого уровня, что может принимать полноценное участие в Игре. Ибо они получают правила, которым вынуждены подчиняться. Игроки сделали ненужной семантическую связь, поскольку они общаются методами, делающими невозможным нарушения правил Игры: об их согласии свидетельствует само установленное единство Физики. Игроки сделали ненужной действенную семантическую связь, поскольку они создали и поддерживают такие расстояния между собой, что время получения стратегически важной информации о состоянии других Игроков всегда больше, чем время действия избранной в данный момент тактики Игры. Если бы кто-нибудь из них даже и «разговаривал» с соседними Партнерами, то полученные сведения к моменту их получения всегда теряли бы актуальность. И именно поэтому в Космосе совершенно невозможно образование враждебных группировок, тайных союзов, создание центров местной власти, коалиций, заговоров и тому подобного. Поэтому Игроки и не общаются между собой: они сами сделали бесполезным всякое общение. Это был один из принципов стабилизации Игры, а следовательно, и Космогонии. Вот вам и частичное объяснение загадки *Silentium Universi*. Мы не можем подслушать разговоры Игроков, поскольку они молчат по стратегическим соображениям.

Внутренняя жизнь Игрока для нас так же непостижима, как внутренняя жизнь электрона. То, что электрон представляет собой мертвую частицу материального мира, а Игрок является мыслящим существом, стало быть, кем-то вроде нас, не имеет никакого значения. Я упомянул об изъяне системы Ахеропулоса, поскольку и сам Ахеропулос в другом месте «Новый Космогонии» четко сформулировал, что из наблюдений над собственной психикой нельзя делать выводы о намерениях Игроков. Он знал об этом и все же поддался тому стилю мышления, на котором был воспитан, ибо философ старается сначала понять, а потом обобщить; мне же с самого начала было ясно, что этим путем нельзя воспроизвести картину Игры. Для ее полного понимания необходимо взглянуть на всю Игру в целом со стороны, то есть с такого наблюдательного пункта, которого у нас никогда не было и не будет. Вообще не следует связывать намеренные действия с психологическими мотивами. Исследователь Игры не должен учитывать этику Игроков, подобно тому как военный историк, изучающий логику стратегии боевых действий во время войны, не должен принимать во внимание моральный

облик полководцев. Картина Игры является структурой вполне определенной, обусловленной состоянием Игры и состоянием окружающей среды, а не случайной комбинацией индивидуальных кодексов ценностей, капризов, желаний или моральных норм каждого из Игроков в отдельности. То, что они принимают участие в одной и той же Игре, еще не означает, что они должны быть подобны друг другу в любом другом отношении! Они могут быть похожи друг на друга не более, чем человек похож на машину, с которой играет в шахматы. Так что вовсе не исключено, что существуют Игроки в биологическом смысле мертвые, возникшие в ходе небиологического развития, а также Игроки, которые являются синтетическими продуктами искусственно вызванной эволюции, – однако рассуждениям такого рода воспрещен доступ в область теории Игры.

Самой сложной проблемой для Ахеропулоса была загадка *Silentium Universi*. Общеизвестны два его закона. Первый закон говорит, что ни одна цивилизация, находящаяся на низшем, чем у других, уровне развития, не может обнаружить Игроков не только потому, что Игроки молчат, но еще и потому, что их действия не выделяются на космическом фоне по той простой причине, что именно эти действия и есть космический фон.

Второй закон Ахеропулоса говорит, что Игроки не шлют более молодым цивилизациям посланий с поучениями либо советами, поскольку не знают, куда высылать такие сообщения, а слать их неведомо кому не хотят. Чтобы передать информацию в определенный адрес, необходимо сначала выяснить, в каком состоянии находится адресат, но именно это запрещает первый закон Игры, который устанавливает барьер взаимодействия в пространстве и времени. Как мы уже знаем, любая информация о состоянии другой цивилизации в момент ее получения окажется полностью устаревшей. Установив свои барьеры, Игроки тем самым исключили всякую возможность узнать что-либо о состоянии других цивилизаций. А от передачи безадресных сообщений всегда больше вреда, чем пользы. Ахеропулос показывает это на примере проведенного им эксперимента. Он брал две серии карточек, на карточках одной серии записывал последние научные открытия шестидесятых годов, а на карточках другой серии – даты исторического календаря на протяжении столетия (1860-1960). Далее он вынимал по карточке из каждой серии. Открытие связывалось с датой по воле слепого случая, и это должно было соответствовать безадресной передаче информации. В самом деле, такие послания редко когда имели бы для получателя позитивную

ценность. В большинстве случаев принятое сообщение оказалось бы непонятным (теория относительности в 1860 году), либо бесполезным (теория лазера в 1878 году), либо попросту опасным (теория атомной энергии в 1939 году). Поэтому Игроки и молчат, ибо – согласно Ахеропулосу – желают добра более молодым цивилизациям.

Стало быть, эта аргументация опирается на этику. Уже поэтому она не является безупречной. Утверждение, якобы цивилизация должна становиться тем более совершенной в этическом отношении, чем более она преуспела в развитии науки и техники, вводится в теорию Игры извне. Так строить теорию Космогонической Игры нельзя: либо принцип *Silentium Universi* неизбежно следует из структуры Игры, либо само существование Игры необходимо подвергнуть сомнению. Гипотезы *ad hoc* не могут спасти достоверности Игры.

Я же предположил, что современная физика представляет собою переходный этап на пути вполне определенных преобразований.

Так называемые «универсальные постоянные» вовсе не постоянны. В частности, не является неизменной константа Больцмана. Это значит, что хотя конечным состоянием любого исходного порядка в Космосе должен быть беспорядок, скорость возрастания хаоса может по воле Игроков меняться. Очевидно (и это единственное допущение, а не следствие теории!), что Игроки ввели асимметрию времени «на скорую руку», как если бы они торопились (в космическом масштабе, конечно). Эта спешка проявилась в том, что они сделали градиент роста энтропии слишком крутым. Они использовали тенденцию к быстрому возрастанию беспорядка для того, чтобы ввести в Космосе единый порядок. Поскольку с тех пор все стремится от порядка к беспорядку, общая картина оказывается однородной, подчиненной единым законам и поэтому в целом упорядоченной.

То, что процессы микромира в принципе обратимы, известно уже давно. Из теории следует удивительный вывод: если бы энергию, которую земная наука вкладывает в изучение элементарных частиц, увеличить в 10^{14} раз, то изучение это – выяснение существующего порядка вещей – превратилось бы в изменение этого порядка! Вместо того чтобы познавать законы Природы, мы бы их слегка изменяли.

Это и есть слабое место, ахиллесова пята Физики современного мироздания. В настоящее время микромир представляет собой главный плацдарм созидательной деятельности Игроков. Они сделали его

нестабильным и определенным образом управляют им. Мне кажется, что некоторую часть Физики, уже стабилизированную, Игроки как бы вновь сдвинули с места. Они пересматривают и приводят в движение уже установленные законы. Поэтому они и хранят молчание, это своего рода «стратегическое затишье». Игроки не сообщают никому из «соседей» о том, чем они занимаются, и даже о том, что Игра ведется. Ведь если Игра существует, то Физика представляется в совершенно ином свете. Игроки молчат, чтобы избежать ненужных помех, и, очевидно, будут молчать вплоть до завершения этой работы. Как долго будет длиться состояние *Silentium Universi*? Этого мы не знаем, но можно допустить, что по крайней мере сто миллионов лет.

Итак, Физика Космоса находится на перепутье. Чего добиваются Игроки столь монументальной перестройкой? Этого мы тоже не знаем. Из теории следует лишь, что постоянная Больцмана вместе с другими постоянными будет уменьшаться, пока не достигнет некоторой величины, которая необходима Игрокам, хотя нам и неизвестно зачем. Так тому, кто уже разобрался в теории гамбита, не обязательно понимать, к чему ведет гамбит в масштабе всей шахматной партии. То, что я еще хочу сказать, уже выходит за границы наших знаний. Мы располагаем поистине *embarras de richesses* [здесь: богатый выбор (фр.)] самых разнообразных гипотез, выдвинутых в течение последних нескольких лет. Бруклинская группа профессора Баумана считает, что Игроки хотят ликвидировать «щель обратимости явлений», которая еще «осталась» в глубине материи – в сфере элементарных частиц. Некоторые утверждают, что ослабление градиента энтропии призвано лучше приспособить Космос к феномену жизни и даже что Игроки намерены сделать всю Вселенную разумной. На мой взгляд, это слишком смелые гипотезы, особенно ввиду их сходства с вполне определенными антропоцентрическими представлениями.

Должен признаться, что, вполне понимая побуждения всех, кто сейчас выдвигает самые разнообразные предположения относительно целей Игры, намерений Игроков, основных принципов, которых они якобы придерживаются, и тому подобного, я вместе с тем весьма обеспокоен неточностью, а то и попросту сумбурным характером большинства таких, часто легкомысленных, идей. Теперь некоторые представляют себе Космос чем-то вроде квартиры, где в течение пары минут можно переставить мебель так, как жильцам заблагорассудится. О таком отношении к законам физики, к законам Природы не может быть и речи. В действительности

скорость преобразований по сравнению с продолжительностью нашей жизни чрезвычайно мала. Спешу добавить, что из этого нельзя сделать никаких выводов о природе Игроков, например об их возможном долголетии или даже бессмертии. Об этом нам также ничего не известно. Может быть, как я уже упоминал, Игроки вовсе не живые существа, то есть они возникли не биологическим путем; может быть, представители Первых Цивилизаций и вовсе с незапамятных времен не занимаются Игрой сами, а передали ее каким-нибудь гигантским автоматам – рулевым Космогонии. Может быть, большинства працивилизаций, которые основали Игру, уже нет, а их место заняли автоматические системы, и именно они составляют часть Партнеров в Игре. Все это возможно, и на эти вопросы мы не получим ответов не только через год, но, как мне кажется, и через сто лет.

Дамы и господа, я нарисовал кристально ясную картину Игры, которую ведут друг с другом разделенные миллиардами парсеков Разумы, спрятанные в туманных клубах звезд, потом решил исказить ее потоком неясностей, противоречивых домыслов и уж вовсе неправдоподобных гипотез. Но именно таков обычный путь познания. Теперь наука представляет Космос в виде наложения отдельных Игр, обладающих более глубокой памятью, чем каждый Игрок в отдельности. Этой памятью является вся совокупность Законов Природы, удерживающих Космос в однородности движения. Теперь мы рассматриваем Вселенную как поле миллиардолетней деятельности, направленной к целям, лишь малую и самую близкую часть которых мы в состоянии уловить Верна ли эта картина? Не сменит ли ее когда-нибудь другая, отличающаяся от прежней так же кардинально, как наша модель Игры Разумов от всех исторически сложившихся представлений? Вместо ответа я приведу слова моего учителя, профессора Эрнста Аренса. Много лет назад, когда еще совсем молодым человеком я пришел к нему с первыми набросками концепции Игры, чтобы узнать его мнение, Арене сказал: «Теория? Сразу теория? А может, это и не теория. Ведь человечество собирается лететь к звездам? Стало быть, если в действительности все не так, то, возможно, это не теория, а проект, возможно, когда-нибудь все произойдет именно так!» Этими – не совсем скептическими! – словами моего учителя я и хочу закончить свое выступление. Благодарю за внимание.

Хемингуэй Э. Старик и море.

Автор: Эрнест Хемингуэй (род. 21.07.1899 Оук-Парк, Иллинойс, США – ум. 02.07.1961 Кетчум, Айдахо, США)

Источник: Повесть «Старик и море» опубликована в 1952 г.

Вопросы для обсуждения

- 1) *Какое место занимает природа в жизни человека?*
- 2) *Почему отношения человека с природой чаще всего представляются как борьба? Почему человек стремится победить природу?*
- 3) *Возможно ли достижение гармоничного сосуществования человека со средой своего обитания? Возможен ли диалог человека с природой на равных условиях как уважающих друг друга?*

Старик заранее решил, что уйдет далеко от берега; он оставил позади себя запахи земли и греб прямо в свежее утреннее дыхание океана. Проплывая над той его частью, которую рыбаки прозвали «великим колодцем», он видел, как светятся в глубине водоросли. Дно в этом месте круто опускается на целых семьсот морских саженей, и здесь собираются всевозможные рыбы, потому что течение, натолкнувшись на крутые откосы океанского дна, образует водоворот. Тут скапливаются огромные стаи креветок и мелкой рыбешки, а на самых больших глубинах порою толпится множество каракатиц; ночью они поднимаются на поверхность и служат пищей для всех бродячих рыб.

В темноте старик чувствовал приближение утра; загребая веслами, он слышал дрожащий звук – это летучая рыба выходила из воды и уносилась прочь, со свистом рассекая воздух жесткими крыльями. Он питал нежную привязанность к летучим рыбам – они были его лучшими друзьями здесь, в океане. Птиц он жалел, особенно маленьких и хрупких морских ласточек, которые вечно летают в поисках пищи и почти никогда ее не находят, и он думал: «Птичья жизнь много тяжелее нашей, если не считать стервятников и больших, сильных птиц. Зачем птиц создали такими хрупкими и беспомощными, как вот эти морские ласточки, если океан порой бывает так жесток? Он добр и прекрасен, но иногда он вдруг становится таким жестоким, а птицы, которые летают над ним, ныряя за пищей и перекликаясь слабыми, печальными голосами, – они слишком хрупки для него».

Мысленно он всегда звал море *la mar*, как зовут его по-испански люди, которые его любят. Порою те, кто его любит, говорят о нем дурно, но всегда как о женщине, в женском роде. Рыбаки помоложе, из тех, кто пользуется буюми вместо поплавков для своих снастей и ходит на моторных лодках, купленных в те дни, когда акулья печенка была в большой цене, называют море *el mar*, то есть в мужском роде. Они говорят о нем как о пространстве, как о сопернике, а порою даже как о враге. Старик же постоянно думал о море как о женщине, которая дарит великие милости или отказывает в них, а если и позволяет себе необдуманные или недобрые поступки, – что поделаешь, такова уж ее природа. «Луна волнует море, как женщину», – думал старик.

Он мерно греб, не напрягая сил, потому что поверхность океана была гладкой, за исключением тех мест, где течение образовывало водоворот. Старик давал течению выполнять за себя треть работы, и когда стало светать, он увидел, что находится куда дальше, чем надеялся быть в этот час.

Он любил зеленых черепах за их изящество и проворство, а также за то, что они так дорого ценились, и питал снисходительное презрение к одетым в желтую броню неуклюжим и глупым биссам, прихотливым в любовных делах и поедающим с закрытыми глазами португальских физалии.

Он не испытывал к черепахам суеверного страха, хотя и плавал с охотниками за черепахами много лет кряду. Старик жалел их, даже огромных кожистых черепах, называемых луты, длиною в целую лодку и весом в тонну.

Большинство людей бессердечно относятся к черепахам, ведь черепашье сердце бьется еще долго после того, как животное убьют и разрежут на куски. «Но ведь и у меня, – думал старик, – такое же сердце, а мои ноги и руки так похожи на их лапы». Он ел белые черепашьи яйца, чтобы придать себе силы. Он ел их весь май, чтобы быть сильным в сентябре и октябре, когда пойдет по-настоящему большая рыба.

Каждый день старик выпивал также по чашке жира из акульей печенки, который хранился в большой бочке в том сарае, где многие рыбаки берегли свои снасти. Жиром мог пользоваться любой рыбак, кто бы ни захотел. Большинству рыбаков вкус этого жира казался отвратительным, но пить его было отнюдь не противнее, чем затемно

подниматься с постели, а он очень помогал от простуды и был полезен для глаз.

«Так далеко от берега, да еще в это время года, рыба, наверно, огромная. Ешь, рыба. Ешь. Ну, ешь же, пожалуйста. Сардины такие свеженькие, а тебе так холодно в воде, на глубине в шестьсот футов, холодно и темно. Поворотись еще разок в темноте, ступай назад и поешь!»

Он почувствовал легкий, осторожный рывок, а затем и более сильный, – видно, одну из сардин оказалось труднее сорвать с крючка. Потом все стихло.

– Ну же, – сказал старик вслух, – поворотись еще разок. Понюхай. Разве они не прелесть? Покушай хорошенько. А за ними, глядишь, настанет черед попробовать тунца! Он ведь твердый, прохладный, прямо объедение. Не стесняйся, рыба. Ешь, прошу тебя.

Он ждал, держа бечеву между большим и указательным пальцами, следя одновременно за ней и за другими лесками, потому что рыба могла переплыть с места на место. И вдруг он снова почувствовал легкое, чуть приметное подергивание лески.

– Клюнет, – сказал старик вслух. – Клюнет, дай ей бог здоровья!

Но она не клюнула. Она ушла, и леска была неподвижна.

– Она не могла уйти, – сказал старик. – Видит бог, она не могла уйти. Она просто поворачивается и делает новый заплыв. Может быть, она уже попадалась на крючок и помнит об этом.

Тут он снова почувствовал легкое подергивание лески; и у него отлегло от сердца.

– Я же говорил, что она только поворачивается, – сказал старик. – Теперь-то уж она клюнет!

Он был счастлив, ощущая, как рыба потихоньку дергает леску, и вдруг почувствовал какую-то невероятную тяжесть. Он почувствовал вес огромной рыбы и, выпустив бечеву, дал ей скользить вниз, вниз, вниз, разматывая за собой один из запасных мотков. Леска уходила вниз, легко скользя между пальцами, но хотя он едва придерживал ее, он все же чувствовал огромную тяжесть, которая влекла ее за собой.

– Что за рыба! – сказал он вслух. – Зацепила крючок губой и хочет теперь удрать вместе с ним подальше.

«Она все равно повернется и проглотит крючок», – подумал старик. Однако он не произнес своей мысли вслух, чтобы не сглазить. Он знал, как велика эта рыба, и мысленно представлял себе, как она уходит в темноте

все дальше с тунцом, застрявшим у нее поперек пасти. На какой-то миг движение прекратилось, но он по-прежнему ощущал вес рыбы. Потом тяга усилилась, и он снова отпустил бечеву. На секунду он придержал ее пальцами; напряжение увеличилось, и бечеву потянуло прямо вниз.

– Ключнула, – сказал старик. – Пусть теперь поест как следует.

Он позволил лесе скользнуть между пальцами, а левой рукой привязал свободный конец двух запасных мотков к петле двух запасных мотков второй удочки. Теперь все было готово. У него в запасе было три мотка леси по сорок сажень в каждом, не считая той, на которой он держал рыбу.

– Поешь еще немножко, – сказал он. – Ешь, не стесняйся.

«Ешь так, чтобы острие крючка попало тебе в сердце и убило тебя насмерть, – подумал он. – Всплыви сама и дай мне всадить в тебя гарпун. Ну вот и ладно. Ты готова? Насытилась вволю?»

– Пора! – сказал он вслух и, сильно дернув обеими руками лесу, выбрал около ярда, а потом стал дергать ее снова и снова, подтягивая бечеву поочередно то одной, то другой рукой и напрягая при каждом рывке всю силу рук и тела.

Усилия его были тщетны. Рыба медленно уходила прочь, и старик не мог приблизить ее к себе ни на дюйм. Леска у него была крепкая, рассчитанная на крупную рыбу, и он перекинул ее за спину и натянул так туго, что по ней запрыгали водяные капли. Затем леса негромко зашипела в воде, а он все держал ее, упершись в сиденье и откинув назад туловище. Лодка начала чуть заметно отходить на северо-запад.

Рыба плыла и плыла, и они медленно двигались по зеркальной воде. Другие наживки всё еще были закинута в море, но старик ничего не мог с этим поделать.

Ночью к лодке подплыли две морские свиньи, и старик слышал, как громко пыхтит самец и чуть слышно, словно вздыхая, пыхтит самка.

– Они хорошие, – сказал старик. – Играют, дурачатся и любят друг друга. Они нам родня, совсем как летучая рыба.

Потом ему стало жалко большую рыбу, которую он поймал на крючок. «Ну не чудо ли эта рыба, и один бог знает, сколько лет она прожила на свете. Никогда еще мне не попадалась такая сильная рыба. И подумать только, как странно она себя ведет! Может быть, она потому не прыгает, что уж очень умна. Ведь она погубила бы меня, если бы прыгнула или рванулась изо всех сил вперед. Но, может быть, она не раз уже

попадалась на крючок и понимает, что так ей лучше бороться за жизнь. Почему ей знать, что против нее всего один человек, да и тот старик. Но какая большая эта рыба и сколько она принесет денег, если у нее вкусное мясо! Она схватила наживку, как самец, тянет, как самец, и борется со мной без всякого страха. Интересно, знает она, что ей делать, или плывет очертя голову, как и я?»

Он вспомнил, как однажды поймал на крючок самку марлина. Самец всегда подпускает самку к пище первую, и, попавшись на крючок, самка со страха вступила в яростную, отчаянную борьбу, которая быстро ее изнурила, а самец, ни на шаг не отставая от нее, плавал и кружил вместе с ней по поверхности моря. Он плыл так близко, что старик боялся, как бы он не перерезал лесу хвостом, острым, как серп, и почти такой же формы. Когда старик зацепил самку багром и стукнул ее дубинкой, придерживая острую, как рапира, пасть с шершавыми краями, когда он бил ее дубинкой по черепу до тех пор, пока цвет ее не стал похож на цвет амальгамы, которой покрывают оборотную сторону зеркала, и когда потом он с помощью мальчика втаскивал ее в лодку, самец оставался рядом. Потом, когда старик стал сматывать лесу и готовить гарпун, самец высоко подпрыгнул в воздух возле лодки, чтобы поглядеть, что стало с его подругой, а затем ушел глубоко в воду, раскинув светло-сиреневые крылья грудных плавников, и широкие сиреневые полосы у него на спине были ясно видны. Старик не мог забыть, какой он был красивый. И он не покинул свою подругу до конца.

«Ни разу в море я не видал ничего печальнее, – подумал старик. – Мальчику тоже стало грустно, и мы попросили у самки прощения и быстро разделили ее тушу».

– Жаль, что со мной нет мальчика, – сказал он вслух и поудобнее примостился к округлым доскам носа, все время ощущая через бечеву, которая давила ему на плечи, могучую силу большой рыбы, неуклонно уходившей к какой-то своей цели.

– Подумать только, что благодаря моему коварству ей пришлось изменить свое решение!

«Ее судьба была оставаться в темной глубине океана, вдали от всяческих ловушек, приманок и людского коварства. Моя судьба была отправиться за ней в одиночку и найти ее там, куда не проникал ни один человек. Ни один человек на свете. Теперь мы связаны друг с другом с самого полудня. И некому помочь ни ей, ни мне».

– Рыба, – сказал он, – я тебя очень люблю и уважаю. Но я убью тебя прежде, чем настанет вечер.

«Будем надеяться, что это мне удастся», – подумал он.

С севера к лодке приблизилась маленькая птичка. Она летела низко над водой. Старик видел, что она очень устала.

Птица села на корму отдохнуть. Потом она покружилась у старика над головой и уселась на бечеву, где ей было удобнее.

– Сколько тебе лет? – спросил ее старик. – Наверно, это твое первое путешествие?

Птица посмотрела на него в ответ. Она слишком устала, чтобы проверить, достаточно ли прочна бечева, и лишь покачивалась, обхватив ее своими нежными лапками.

– Не бойся, веревка натянута крепко, – заверил ее старик. – Даже слишком крепко. Тебе не полагалось бы так уставать в безветренную ночь. Ах, не те нынче пошли птицы!

«А вот ястребы, – подумал он, – выходят в море вам навстречу». Но он не сказал этого птице, да она все равно его бы не поняла. Ничего, сама скоро все узнает про ястребов.

– Отдохни хорошенько, маленькая птичка, – сказал он. – А потом лети к берегу и борись, как борется каждый человек, птица или рыба.

Разговор с птицей его подбодрил, а то спина у него совсем одеревенела за ночь, и теперь ему было по-настоящему больно.

– Побудь со мной, если хочешь, птица, – сказал он. – Жаль, что я не могу поставить парус и привезти тебя на сушу, хотя сейчас и поднимается легкий ветер. Но у меня тут друг, которого я не могу покинуть.

В это мгновение рыба внезапно рванулась и повалила старика на нос; она стащила бы его за борт, если бы он не уперся в него руками и не отпустил бы лесу.

Когда бечева дернулась, птица взлетела, и старик даже не заметил, как она исчезла. Он пощупал лесу правой рукой и увидел, что из руки течет кровь.

– Верно, рыбе тоже стало больно, – сказал он вслух и потянул бечеву, проверяя, не сможет ли он повернуть рыбу в другую сторону. Натянув лесу до отказа, он снова замер в прежнем положении.

– Худо тебе, рыба? – спросил он. – Видит бог, мне и самому не легче.

Он поискал глазами птицу, потому что ему хотелось с кем-нибудь поговорить. Но птицы нигде не было.

Ему было хорошо, хотя боль и донимала его по-прежнему; только он не признавался себе в том, как ему больно.

– В бога я не верую, – сказал он. – Но я прочту десять раз «Отче наш» и столько же раз «Богородицу», чтобы поймать эту рыбу. Я дам обет отправиться на богомолье, если я ее и впрямь поймаю. Даю слово.

Старик стал читать молитву. По временам он чувствовал себя таким усталым, что забывал слова, и тогда он старался читать как можно быстрее, чтобы слова выговаривались сами собой. «Богородицу» повторять легче, чем «Отче наш», – думал он.

– Богородица дева, радуйся, благодатная Мария, господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси души наших. Аминь. – Потом он добавил: – Пресвятая богородица, помолись, чтобы рыба умерла. Хотя она и очень замечательная.

Прочтя молитву и почувствовав себя куда лучше, хотя боль нисколько не уменьшилась, а может быть, даже стала сильнее, он прислонился к обшивке носа и начал машинально упражнять пальцы левой руки. Солнце жгло, ветерок потихоньку усиливался.

– Пожалуй, стоит опять наживить маленькую удочку, – сказал старик. – Если рыба не всплывет и в эту ночь, мне нужно будет снова поесть, да и воды в бутылке осталось совсем немного. Не думаю, что здесь можно поймать что-нибудь, кроме макрели. Но если ее съесть сразу, она не так уж противна. Хорошо бы, ночью ко мне в лодку попалась летучая рыба. Но у меня нет света, которым я мог бы ее заманить. Сырая летучая рыба – отличная еда, и потрошить ее не надо. А мне теперь надо беречь силы. Ведь не знал же я, господи, что она такая большая!.. Но я ее все равно одолею, – сказал он. – При всей ее величине и при всем ее великолепии.

«Хоть это и несправедливо, – прибавил он мысленно, – но я докажу ей, на что способен человек и что он может вынести».

«Кое-чему я научился, – подумал он. – Пока что я с нею справляюсь. К тому же нельзя забывать, что она не ела с тех пор, как проглотила наживку, а она ведь большая, и ей нужно много пищи. Я-то съел целого тунца. Завтра я поем макрели. – Старик называл макрель dorado. – Пожалуй, я съем кусочек, когда буду ее чистить. Макрель есть труднее, чем тунца. Но ничто на свете не дается легко».

– Как ты себя чувствуешь, рыба? – спросил он громко. – Я себя чувствую прекрасно. Левая рука болит меньше, и пищи хватит на целую ночь и еще на день. Ладно, тащи лодку, рыба.

Старик совсем не так уж хорошо себя чувствовал, потому что боль, которую причиняла его спине веревка, почти перестала быть болью и превратилась в глухую ломоту, а это его беспокоило. «Со мной случались вещи и похуже, – утешал он себя. – Рука у меня поранена совсем легко, а другую больше не сводит судорога. Ноги у меня в порядке. Да и в смысле пищи мне куда лучше, чем рыбе».

Было темно; в сентябре темнота всегда наступает внезапно, сразу же после захода солнца. Он лежал, прислонившись к изъеденным солью доскам, и изо всех сил старался отдохнуть. На небе показались первые звезды. Он не знал названия звезды Ригель, но, увидев ее, понял, что скоро покажутся и все остальные и тогда эти далекие друзья будут снова с ним.

– Рыба – она тоже мне друг, – сказал он. – Я никогда не видел такой рыбы и не слышал, что такие бывают. Но я должен ее убить. Как хорошо, что нам не приходится убивать звезды!

«Представь себе: человек что ни день пытается убить луну! А луна от него убегает. Ну, а если человеку пришлось бы каждый день охотиться за солнцем? Нет, что ни говори, нам еще повезло», – подумал он.

Потом ему стало жалко большую рыбу, которой нечего есть, но печаль о ней нисколько не мешала его решимости ее убить. Сколько людей он насытит! Но достойны ли люди ею питаться? Конечно, нет. Никто на свете не достоин ею питаться: поглядите только, как она себя ведет и с каким великим благородством.

«Я многого не понимаю, – подумал он. – Но как хорошо, что нам не приходится убивать солнце, луну и звезды. Достаточно того, что мы вымогаем пищу у моря и убиваем своих братьев.

Солнце вставало уже в третий раз, с тех пор как он вышел в море, и тут-то рыба начала делать круги.

Он еще не мог определить по уклону, под которым леса уходила в море, начала ли рыба делать круги. Для этого еще было рано. Он только почувствовал, что тяга чуточку ослабела, и стал потихоньку выбирать лесу правой рукой. Леса натянулась до отказа, как и прежде, но в тот самый миг, когда она, казалось, вот-вот лопнет, она вдруг пошла свободно. Тогда старик, нагнувшись, высвободил плечи из давившей на них бечевы и начал выбирать лесу неторопливо и равномерно.

Он работал, взмахивая обеими руками поочередно. Его старые ноги и плечи помогали движению рук.

– Она делает очень большой круг, – сказал он, – но она его все-таки делает.

Внезапно движение лесы затормозилось, но он продолжал тянуть ее, покуда по ней не запрыгали блестящие на солнце водяные капли. Потом лесу потянуло прочь, и, став на колени, старик стал нехотя отпускать ее понемножку назад, в темную воду.

– Теперь рыба делает самую дальнюю часть своего круга, – сказал он.

«Надо держать ее как можно крепче. Натянута бечева будет всякий раз укорачивать круг. Может быть, через час я ее увижу. Сперва я должен убедить ее в моей силе, а потом я ее одолею».

Однако прошло два часа, а рыба все еще продолжала медленно кружить вокруг лодки. Со старика градом катился пот, и устал он сверх всякой меры. Правда, круги, которые делала рыба, стали гораздо короче, и по тому, как уходила в воду леса, было видно, что рыба постепенно поднимается на поверхность.

Вот уже целый час, как у старика перед глазами прыгали черные пятна, соленый пот заливал и жег глаза, жег рану над глазом и другую рану – на лбу. Черные пятна его не пугали. В них не было ничего удивительного, если подумать, с каким напряжением он тянул лесу. Но два раза он почувствовал слабость, и это встревожило его не на шутку.

«Неужели я оплошаю и умру из-за какой-то рыбы? – спрашивал он себя. – И главное – теперь, когда все идет так хорошо. Господи, помоги мне выдержать! Я прочту сто раз «Отче наш» и сто раз «Богородицу». Только не сейчас. Сейчас не могу».

«Считай, что я их прочел, – подумал он. – Я прочту их после».

В этот миг он почувствовал удары по бечеве, которую держал обеими руками, и рывок. Рывок был резкий и очень сильный.

«Она бьет своим мечом по проволоке, которой привязан крючок, – подумал старик, – Ну конечно. Так ей и полагалось поступить. Однако это может заставить ее выпрыгнуть, а я предпочел бы, чтобы сейчас она продолжала делать круги. Прыжки были ей нужны, чтобы набрать воздуха, но теперь каждый новый прыжок расширит рану, в которой торчит крючок, и рыба может сорваться».

– Не прыгай, рыба, – просил он. – Пожалуйста, не прыгай!

Рыба снова и снова ударяла по проволоке, и всякий раз, покачив головой, старик понемногу отпускал лесу.

«Я не должен причинять ей лишнюю боль, – думал он. – Моя боль – она при мне. С ней я могу совладать. Но рыба может обезуметь от боли».

У него снова закружилась голова, но он тянул лесу с большой рыбой изо всех сил. «Ведь мне все-таки удалось перевернуть ее на бок, – думал он. – Может быть, на этот раз я сумею перевернуть ее на спину. Тяните! – приказывал он своим рукам. – Держите меня, ноги! Послужи мне еще, голова! Послужи мне. Ты ведь никогда меня не подводила. На этот раз я переверну ее на спину».

Еще задолго до того, как рыба приблизилась к лодке, он напряг все свои силы и стал тянуть что было мочи. Но рыба лишь слегка повернулась на бок, потом снова выпрямилась и уплыла вдаль.

– Послушай, рыба! – сказал ей старик. – Ведь тебе все равно умирать. Зачем же тебе надо, чтобы и я тоже умер?

«Этак мне ничего не добиться», – подумал старик. Во рту у него так пересохло, что он больше не мог говорить, и не было сил дотянуться до бутылки с водой. «На этот раз я должен подтащить ее к лодке, – подумал он. – Надолго меня не хватит». – «Нет, хватит, – возразил он себе. – Тебя, старик, хватит навеки».

Во время следующего круга старик чуть было ее не достал, но рыба снова выпрямилась и медленно поплыла прочь.

«Ты губишь меня, рыба, – думал старик. – Это, конечно, твое право. Ни разу в жизни я не видел существа более громадного, прекрасного, спокойного и благородного, чем ты. Ну что же, убей меня. Мне уже все равно, кто кого убьет».

«Опять у тебя путается в голове, старик! А голова у тебя должна быть ясная. Приведи свои мысли в порядок и постарайся переносить страдания, как человек... Или как рыба», – мысленно добавил он.

– А ну-ка, голова, работай, – сказал он так тихо, что едва слышал свой голос. – Работай, говорят тебе.

Еще два круга все оставалось по-прежнему.

«Что делать? – думал старик. Всякий раз, когда рыба уходила, ему казалось, что он теряет сознание. – Что делать? Попробую еще раз».

Он сделал еще одну попытку и почувствовал, что теряет сознание, но он все-таки перевернул рыбу на спину. Потом рыба перевернулась обратно

и снова медленно уплыла прочь, помахивая в воздухе своим громадным хвостом.

«Попробую еще раз», – пообещал старик, хотя руки у него совсем ослабли и перед глазами стоял туман.

Он попробовал снова, и рыба снова ушла. «Ах, так? – подумал он и сразу же почувствовал, как жизнь в нем замирает. – Я попробую еще раз».

Он собрал всю свою боль, и весь остаток своих сил, и всю свою давно утраченную гордость и кинул их на поединок с муками, которые терпела рыба, и тогда она перевернулась на бок и тихонько поплыла на боку, едва-едва не доставая мечом до обшивки лодки; она чуть было не проплыла мимо, длинная, широкая, серебряная, перевитая фиолетовыми полосами, и казалось, что ей не будет конца.

Старик бросил лесу, наступил на нее ногой, поднял гарпун так высоко, как только мог, и изо всей силы, которая у него была и которую он сумел в эту минуту собрать, вонзил гарпун рыбе в бок, как раз позади ее громадного грудного плавника, высоко вздымавшегося над морем до уровня человеческой груди. Он почувствовал, как входит железо в мякоть, и, упершись в гарпун, всаживал его все глубже и глубже, помогая себе всей тяжестью своего тела.

И тогда рыба ожила, хоть и несла уже в себе смерть, – она высоко поднялась над водой, словно хвастая своей огромной длиной и шириной, всей своей красотой и мощностью. Казалось, что она висит в воздухе над стариком и лодкой. Потом она грохнулась в море, заливая потоками воды и старика, и всю его лодку.

Старика одолела слабость и дурнота; он почти ничего не видел. Но, опустив бечеву гарпуна, он стал медленно перебирать ее в изрезанных руках, а когда зрение вернулось, он увидел, что рыба лежит на спине, серебряным брюхом кверху. Рукоятка гарпуна торчала наискось из ее спины, а море вокруг было окрашено кровью ее сердца. Сначала пятно было темное, словно голубую воду на целую милю вглубь заполнила стая рыб. Потом пятно расплылось и стало похоже на облако. Серебристая рыба тихо покачивалась на волнах.

Старик не сводил с нее глаз, пока зрение у него опять не затуманилось. Тогда он дважды обмотал веревку гарпуна о битенг и опустил голову на руки.

«Что же это с моей головой? – сказал он, прижавшись лицом к обшивке носа. – Я старый человек, и я очень устал. Но я все-таки убил эту

рыбу, которая мне дороже брата, и теперь мне осталось сделать черную работу.

Теперь я должен приготовить веревку и связать ее в петли, чтобы принайтить рыбу к лодке. Даже если бы нас было двое и мы затопили бы лодку, чтобы погрузить в нее рыбу, а потом вычерпали воду, – все равно лодка не выдержала бы такой тяжести. Я должен подготовить все, что нужно, а потом подтянуть рыбу к борту, привязать ее накрепко к лодке, поставить парус и отправиться восвояси».

Он стал подтягивать рыбу к борту, чтобы, пропустив веревку через жабры и через пасть, привязать ее голову к носу.

«Мне хочется посмотреть на нее, – подумал он, – потрогать ее, почувствовать, что же это за рыба. Ведь она – мое богатство. Но я не поэтому хочу ее потрогать. Мне кажется, что я уже дотронулся до ее сердца, – думал он, – тогда, когда я вонзил в нее гарпун до самого конца. Ладно, подтяни ее поближе, привяжи, надень петлю ей на хвост, а другую перекинь вокруг туловища, чтобы лучше приладить ее к лодке».

– Ну, старик, за работу, – сказал он себе и отпил маленький глоток воды. – Теперь, когда битва окончена, осталась еще уйма черной работы.

Старик посмотрел на небо, потом на рыбу. Он глядел на солнце очень внимательно. «Сейчас едва перевалило за полдень. А пассат крепчает. Лесы чинить теперь бесполезно. Мы с мальчиком срастим их дома».

– Подойди-ка сюда, рыба!

Но рыба его не послушалась. Она безмятежно покачивалась на волнах, и старику пришлось самому подвести к ней лодку.

Когда он подошел к ней вплотную и голова рыбы пришлась вровень с носом лодки, старик снова поразился ее величиной. Но он отвязал гарпунную веревку от битенга, пропустил ее через жабры рыбы, вывел конец через пасть, обкрутил его вокруг меча, потом снова пропустил веревку через жабры, опять накрутил на меч и, связав двойным узлом, привязал к битенгу. Перерезав веревку, он перешел на корму, чтобы петлей закрепить хвост. Цвет рыбы из фиолетово-серебристого превратился в чистое серебро, а полосы стали такими же бледно-сиреневыми, как хвост. Полосы эти были шире растопыренной мужской руки, а глаз рыбы был таким же отрешенным, как зеркало перископа или как лики святых во время крестного хода.

– Я не мог ее убить по-другому, – сказал старик. Выпив воды, он почувствовал себя куда лучше. Теперь он знал, что не потеряет сознания, и

в голове у него прояснилось. «Она весит не меньше полутонны, – подумал он. – А может быть, и значительно больше». Сколько же он получит, если мяса выйдет две трети этого веса по тридцати центов за фунт?

Но он любил поразмыслить обо всем, что его окружало, и так как ему нечего было читать и у него не было радио, он много думал, в том числе и о грехе. «Ты убил рыбу не только для того, чтобы продать ее другим и поддержать свою жизнь, – думал он. – Ты убил ее из гордости и потому, что ты – рыбак. Ты любил эту рыбу, пока она жила, и сейчас любишь. Если кого-нибудь любишь, его не грешно убить. А может быть, наоборот, еще более грешно?»

– Ты слишком много думаешь, старик, – сказал он вслух.

«Но ты с удовольствием убивал dentuso, – подумал старик. – А она, как и ты, кормится, убивая рыбу. Она не просто пожирает падаль и не просто ненасытная утроба, как многие другие акулы. Она – красивое и благородное животное, которое не знает, что такое страх».

– Я убил ее, защищая свою жизнь, – сказал старик вслух. – И я убил ее мастерски.

«К тому же, – подумал он, – все так или иначе убивают кого-нибудь или что-нибудь. Рыбная ловля убивает меня точно так же, как и не дает мне умереть. Мальчик – вот кто не дает мне умереть. Не обольщайся, старик».

Он перегнулся через борт и оторвал от рыбы кусок мяса в том месте, где ее разгрызла акула. Он пожевал мясо, оценивая его качество и вкус. Мясо было твердое и сочное, как говядина, хоть и не красное. Оно не было волокнистым, и старик знал, что за него дадут на рынке самую высокую цену. Но его запах уносило с собой море, и старик не мог этому помешать. Он понимал, что ему придется нелегко.

Старик чувствовал, что вошел в теплое течение, и ему были видны огни прибрежных поселков. Он знал, где он находится, и добраться до дому теперь не составляло никакого труда.

«Ветер – он-то уж наверняка нам друг, – подумал он, а потом добавил: – Впрочем, не всегда. И огромное море – оно тоже полно и наших друзей, и наших врагов. А постель... – думал он, – постель – мой друг. Вот именно, обыкновенная постель. Лечь в постель – это великое дело. А как легко становится, когда ты побежден! – подумал он. – Я и не знал, что это

так легко... Кто же тебя победил, старик? – спросил он себя... – Никто, – ответил он. – Просто я слишком далеко ушел в море».

Пильняк Б.А. Целая жизнь.

Автор: Борис Андреевич Пильняк (Boгау) (род. 29.09.1894 Можайск, Российская империя – ум. 21.04.1938 Москва, СССР).

Источник: Рассказ «Целая жизнь» опубликован в 1915 г.

Вопросы для обсуждения

- 1) Как вы понимаете понятие естественной или природной гармонии?*
- 2) Насколько человеческая жизнь в мире общества и культуры, полная рациональности и сложных чувств, далека от природы, чужда ей?*
- 3) Какой смысл для природного целого имеет жизнь отдельного организма?*

I

Овраг был глубокий и глухой.

Его суглиняковые желтые скаты, поросшие красноствольными соснами, шли крутыми обрывами, по самому дну протекал ключ. Над оврагом, направо и налево, стоял сосновый лес, – глухой, старый, затянутый мхами и заросший ольшаником. Наверху было тяжелое, серое, низко спустившееся небо.

Тут редко бывал человек.

Грозами, водою, временем корчевались деревья, падали тут же, застилая землю, гнили, и от них шел густой, сладкий запах тлеющей сосны. Чертополохи, цикории, рябинки, полыни не срывались годами и колючей щетиной поросли землю. На дне оврага была медвежья берлога. В лесу было много волков.

На крутом, грязно-желтом скате оборвалась сосна, перекинулась и повисла на много лет корнями кверху. Корни ее, походившие на застывшего раскоряченного лешего, задравшегося вверх, обросли уже кукушечьим мхом и можжевельником.

И в этих корнях свили гнездо себе две большие серые птицы, самка и самец.

Птицы были большими, тяжелыми, с серо-желтыми и коричневыми перьями, густо растущими. Крылья их были коротки, широки и сильные; лапы с большими когтями заросли черным пухом. На коротких, толстых шеях сидели большие, квадратные головы с клювами, хищно изогнутыми и желтыми, и с круглыми, суровыми, тяжело глядящими глазами. Самка была меньше самца. Ее ноги казались тоньше и красивее, и была тяжелая и

грубая грациозность в движениях, в изгибах ее шеи, в наклоне головы. Самец был суров, угловат, и одно крыло его, левое, не складывалось как следует: так отвисало оно с тех пор, когда самец дрался с другими самцами за самку.

Гнездо поместилось между корней. Под ним с трех сторон падал отвес. Над ним стлалось небо и протягивалось несколько изломанных древесин корней. Кругом и внизу лежали кости, уже омытые дождями и белые. А само гнездо было уложено камнями и глиной и устлано пухом.

Самка всегда сидела в гнезде.

Самец же гомозился на лапе корня, над обрывом, одинокий, видящий своим тяжелым взглядом далеко кругом и внизу,— сидел, втянув в плечи голову и тяжело свесив крылья.

II

Встретились они, эти две большие птицы, здесь же, недалеко от оврага. Уже нарождалась весна. По откосам таял снег. В лесу и лощинах он стал серым и рыхлым. Тяжелым запахом курились сосны. На дне оврага проснулся ключ. Днем пригревало солнце. Сумерки были зелеными, долгими и гулками. Волки покидали стаи, и самки родили щенят.

Они встретились на поляне в лесу, в сумерки.

Эта весна, солнце, бестолковый ветер и лесные шумы вложили в тело самца весеннюю, земную тяготу. Раньше он летал или сидел, ухал или молчал, летел быстро или медленно, потому что кругом и внутри него были причины: когда он был голоден, он летел, чтобы найти зайца, убить его и съесть,— когда сильно слепило солнце или резок был ветер, он скрывался от них,— когда видел крадущегося волка, отлетал от него, чтобы спастись.

Теперь было не так.

Уже не ощущения голода и самосохранения заставляли его летать, сидеть, кричать или молчать. Им владело лежащее вне его и его ощущений. Когда наступали сумерки, он, как в тумане, не ведая зачем, снимался с своего места и летел от поляны к поляне, от откоса к откосу, бесшумно двигая большими своими крыльями и зорко вглядываясь в зеленую, насторожившуюся мглу.

И когда однажды он увидал на одной из полян себе подобных и самку среди них, он, не зная, почему так должно быть, бросился туда, почувствовал чрезмерную силу в себе и великую ненависть к тем остальным самцам.

Он ходил около самки медленно, сильно оттаптывая, распутив крылья и задрав голову. Он косо и злобно поглядывал на самцов. Один из них, тот, который до него был победителем, старался мешать ему, а потом бросился на него с приготовленным для удара клювом. И у них завязалась драка, долгая, молчаливая и жестокая. Они налетали друг на друга, бились клювами, грудями, когтями, крыльями, глухо вскрикивая и разрывая друг другу тело. Его противник оказался слабее и отстал. Он бросился снова к самке и ходил вокруг нее, прихрамывая и волоча на земле окровавленное свое левое крыло.

Сосны обстали поляну. Земля была засыпана хвоей. Синело, скованное звездами, ночное небо.

Самка была безразлична и к нему и ко всем. Она ходила спокойно по поляне, рыхлила землю, поймала мышь, съела ее спокойно. На самцов она, казалось, не обращала внимания.

Так было всю ночь.

Когда же ночь стала бледнеть, а у востока легла зелено-лиловая черта восхода, она подошла к нему, победившему всех, прислонилась к его груди, потрогала нежно клювом его больное крыло, лаская и исцеляя, и, медленно, отделяясь от земли, полетела к оврагу.

И он, тяжело двигая больным крылом, не замечая крыла, пьяный, пьяно вскрикивая, полетел за нею.

Она опустилась как раз у корней той сосны, где стало их гнездо. Самец сел рядом. Он стал нерешительным, смущенный счастьем.

Самка обошла несколько раз вокруг самца, снова исцеляя его. Потом, прижимая грудь к земле, опустив ноги и крылья, сожмутив глаза,— самка позвала к себе самца. Самец бросился к ней, хватая клювом ее перья, хлопая по земле тяжелыми своими крыльями, став дерзким, приказывающим,— и в его жилах потекла такая прекрасная мука, такая крепкая радость, что он ослеп, ничего не чуял, кроме этой сладкой муки, тяжело ухал, нарождая в овраге глухое эхо и всколыхивая пред-утро.

Самка была покорной.

На востоке уже ложилась красная лента восхода, и снега в лощинах стали лиловыми.

Зимою сосны стояли неподвижными, и стволы их бурели. Снег лежал глубокий, сметенный в насты, хмуро склонившиеся к оврагу. Небо стлалось серо. Дни были коротки, и из них не уходили сумерки. А ночью от мороза трещали стволы и лопались ветки. Светила в безмолвии луна, и казалось, что от нее мороз становится еще крепче. Ночи были мучительны

– морозом и этим фосфорическим светом луны. Птицы сидели, сбившись в гнезде, прижимаясь друг к другу, чтобы согреться, но все же мороз пробирался под перья, шарил по телу, захолаживал ноги, около клюва и спину. А блуждающий свет луны тревожил, страшил, точно вся земля состоит из одного огромного волчьего глаза и поэтому светится так страшно.

И птицы не спали.

Они тяжело ворочались в гнезде, меняли места, и большие глаза их были кругло открыты, светясь в свою очередь гнилушками. Если бы птицы умели думать, они больше всего хотели бы утра.

Еще за час до рассвета, когда уходила луна и едва-едва подходил свет, птицы начинали чувствовать голод. Во рту был неприятный желчный привкус и от времени до времени больно сжимался зоб.

И когда утро уже окончательно серело, самец улетал за добычей. Он летел медленно, раскинув широко крылья и редко взмахивая ими, зорко вглядываясь в землю перед собою. Охотился он обыкновенно за зайцами. Иногда добычи не встречалось долго. Он летал над оврагом, залетал очень далеко от гнезда, вылетал из оврага к широкому, белому пространству, где летом была Кама. Когда зайцев не было, он бросался и на молодых лисиц, и на сорок, хотя мясо их было невкусно. Лисицы защищались долго и упорно, кусаясь, царапаясь, и на них нападать надо было умело. Надо было сразу ударить клювом в шею, около головы, и сейчас же, вцепившись когтями в спину, взлететь на воздух. В воздухе лисица уже не сопротивлялась.

С добычей самец летел к себе в овраг, в гнездо. И здесь с самкой они съедали все сразу. Ели они один раз в день и наедались так, чтобы было тяжело двигаться и зоб тянуло вниз. Подъедали даже снег, замоченный кровью. А оставшиеся кости самка сбрасывала под обрыв. Самец садился на лапу корня, ежился и хохлился, чтобы было удобнее, и чувствовал, как тепло, после еды, бегают в нем кровь, переливается в кишках, доставляя наслаждение. Самка сидела в гнезде.

Перед вечером самец, неизвестно почему, ухал:

– У-гу-у!– кричал он так, будто звук в горле его проходит через воду.

Иногда его, одиноко сидящего наверху, замечали волки, и какой-нибудь изголодавшийся волк начинал карабкаться по отвесу вверх. Самка волновалась и испуганно клекотала. Самец спокойно глядел вниз своими широкими, подслеповатыми глазами, следил за волком,— как волк,

медленно карабкаясь, срывался и стремительно летел вниз, сметая собою комья снега, кувыркаясь и взвизгивая от боли.

Подползали сумерки.

IV

В марте вырастали дни, начинало греть солнце, бурел и таял снег, долго зеленели сумерки. Веснами добычи было больше, потому что все лесные жители чуяли уже тревогу предвесны, томящую и зачаровывающую, бродили полянами, откосами и лесами, не смея не бродить, безвольные во власти предвесенней земли,— и их легко было ловить. Всю добычу самец приносил самке, сам он ел мало: только то, что оставляла ему самка,— обыкновенно это были внутренности, мясо грудных мышц, шкура и голова, хотя у головы самка всегда съедала глаза, как самое вкусное.

Днем самец сидел на лапе корня.

Светило солнце. Слабый и мягкий шел ветер. На дне оврага шумел черный и поспешный теперь ключ, резко вычерченный белыми берегами снега.

Было голодно. Самец сидел с закрытыми глазами, втянув голову в шею. И в нем была покорность, истомное ожидание и виноватость, так не вяжущаяся с его суровостью.

В сумерки он оживлялся. В него вселялась бодрая тревога. Он поднимался на ногах, вытягивал голову, широко раскрыв круглые свои глаза, раскидывал крылья и снова складывал их, бил ими воздух. Потом, снова сжимаясь в комок, втягивая голову, жмурясь, ухал.

— У-гу-гу-гу-у!— кричал он, пугая лесных жителей. И эхо в овраге отвечало:

— У-у...

Были синие сумерки. Небо вымещивалось крупными, новыми звездами. Шел маслянистый запах сосен. В овраге стихал на ночь, в морозе, ручей. Где-то на токах кричали птицы, и все же было величественно тихо. Когда темнело окончательно и ночь становилась синей, самец, крадучись, бодро-виновато, осторожно расставляя большие свои ноги, не умеющие ходить по земле, шел в гнездо к самке. Он ликовал большой, прекрасной страстью. Он садился рядом с самкой, гладил клювом ее перья. Самка была доверчива и бессильна в нежности. На своем языке, языке инстинкта, самка говорила самцу:

— Да. Можно.

И самец бросался к ней, изнемогая блаженством страсти. И она отдавалась ему.

V

Так было с неделю, с полторы.

Потом же, когда ночью приходил к ней самец, она говорила:

– Нет. Довольно.

Говорила, инстинктом своим чувствуя, что довольно, ибо пришла другая пора – пора рождения детей.

И самец, смущенный, виноватый тем, что не предугадал веления самки, веления инстинкта, вложенного в самку, уходил от нее, чтобы прийти через год.

VI

И с весны все лето до сентября они, самец и самка, были поглощены большим, прекрасным и необходимым делом рождения, – до сентября, когда улетали птенцы.

Многоцветным ковром разворачивались весна и лето, сгорая горячими огнями. Сосны украшались свечками и маслянисто пахли. Полыни пахли. Цвели и отцветали: свирбига, цикорий, колокольчики, лютики, рябинки, иван-да-марья, чертополохи, многие другие травы.

В мае ночи были синими.

В июне – зелено-белыми.

Алым пламенем пожара горели зори, а от ночи по дну оврага, белыми, серебряными пластами, стирая очертания мира, шли туманы.

Сначала в гнезде было пять серых, с зелеными крапинками яиц. Потом появлялись птенцы: большеголовые, с чрезмерно большими и желтыми ртами, покрытые серым пухом. Они жалобно пищали, вытягивая длинные шеи из гнезда, и очень много ели. В июне они уже летали, все еще головастые, плачущие, нелепо дергая неумелыми крыльями. Самка была все время с ними, заботливая, нахохленная и сварливая. Самец не умел думать и едва ли чувствовал, но чувствовалось в нем, что он горд, у своего прямого дела, которое вершит с великой радостью.

И вся жизнь его была заполнена инстинктом, переносящим всю волю его и жизнеощущение на птенцов. Он рыскал за добычей. Надо было ее очень много добывать, потому что и птенцы и самка были прожорливы. Приходилось летать далеко, иногда на Каму, чтобы там ловить чаек, всегда роящихся около необыкновенно больших, белых, неведомых и многоглазых зверей, идущих по воде, странно шумящих и пахнущих так же, как лесные пожары, – около пароходов. Он сам кормил птенцов.

Разрывал куски мяса и давал им. И наблюдал внимательно своими круглыми глазами, как птенцы хватали эти куски целиком, широко раскрывая клювы, давились ими и, тараща глаза, покачиваясь от напряжения, глотали. Иногда кто-нибудь из птенцов, по глупости, вываливался из гнезда под откос. Тогда самец поспешно и заботливо летел вниз за ним, хлопотливо клекотал, ворчал; брал его осторожно и неумело когтями и приносил испуганного и недоумевающего обратно в гнездо. А в гнезде долго гладил его перья своим большим клювом, ходил вокруг него, из осторожности высоко поднимая ноги, и не переставал клекотать озабоченно. Ночами он не спал. Он сидел на лапе корня, зорко вглядываясь во мглу ночи, остерегая своих птенцов и мать от опасности. Над ним были звезды.

И он в полноте жизни, в ее красоте, грозно и жутко ухал, встряхивая эхо.

– У-гу-гу-гу-у!– кричал он, пугая ночь.

VII

Он жил зимы, чтобы жить. Весны и лето он жил, чтобы родить. Он не умел думать. Он делал это потому, что так велел тот инстинкт, который правил им. Зимами он жил, чтобы есть, чтобы не умереть. Зимы были холодны и страшны. Веснами – он родил. И тогда по жилам его текла горячая кровь, светило солнце и горели звезды, и ему все время хотелось потянуться, закрыть глаза, бить крыльями воздух и ухать радостно, на все овраги сразу.

VIII

Осенью улетали птенцы. Старики с молодыми прощались навсегда и прощались уже безразлично. Осенью шли дожди, волоклись туманы, низко спускалось небо. Ночи были тоскливы, мокры, черны. Старики сидели в мокром гнезде, двое, трудно засыпая, тяжело ворочаясь. И глаза их светились зелеными огоньками гнилушек. Самец уже не ухал.

IX

Так было тринадцать лет их жизни.

X

Потом самец умер.

В молодости у него было» испорчено крыло, с тех пор как он дрался за самку. С годами ему все труднее и труднее было охотиться за добычей, все дальше и дальше летал он за ней, а ночами не мог уснуть от большой и нудной боли по всему крылу. И это было очень страшно, ибо раньше он не чувствовал своего крыла, а теперь оно стало важным и мучительным. Ночами он не спал, свешивая крыло, отталкивая от себя. А утрами, едва владея им, он улетал за добычей.

И самка бросила его.

Предвесной, в сумерки она улетела из гнезда.

Самец искал ее всю ночь и на заре нашел. Она была с другим самцом, молодым и сильным, нежно всклекотывающим около нее. И старик почувствовал, что все, данное ему в жизни, кончено. Он бросился драться с молодым. Он дрался неуверенно и слабо. А молодой кинулся к нему сильно и страстно, рвал и грыз его тело. Самка же, как много лет назад, безразлично следила за схваткой. Старик был побежден. Окровавленный, изорванный, с вытекшим глазом, он улете, к себе в гнездо. Он сел на свою лапу корня. И было понятно, что с жизнью счета его кончены. Он жил, чтобы есть, чтобы родить. Теперь ему оставалось — умереть. Верно, он чувствовал это инстинктом, ибо два дня сидел тихо и недвижно на обрыве, втянув голову в шею. А потом, спокойно и незаметно для себя, умер. Упал под обрыв и лежал там с ногами, скрюченными и поднятыми вверх. Это было ночью. Новыми были звезды. Кричали в лесах, на токах птицы. Ухали филины. Самец пролежал пять дней на дне оврага. Он уже начал разлагаться и горько, скверно пахнул. Его нашел волк и съел.

Рязанов А.С. Поэма подсолнечника.

Автор: Алесь Степанович Рязанов (род. 5.12.1947, д. Селец, Беларусь).

Источник: Стихотворение в прозе «Поэма подсолнечника» написано в 1975 г.

Ибо они наследуют землю... И не заперты двери, и безголосо в хате – ау, Тэкля!.. Где-то близко, может, совсем рядом Тэкля, а не слышит, что я приехал...

Так уж сложилось и утвердилось: не замечалось, когда была рядом Тэкля, замечалось, когда не было... Кто удивляться станет, что у хаты есть двери, у неба – солнце, а у поля – подсолнечник? Удивляются, когда нет. С Тэклей все было на своем месте: солнце... подсолнечник... двери... – а без нее пусто.

И про кого языки не чесали в деревне? Хоть какие, а пересуды... – а про Тэклю? А что про Тэклю?.. Передернут плечами: Тэкля как Тэкля, ничего нового, – будто живою считалась, а взаправду и не жила...

Каждый что-то имел для себя и берег для себя: кто – имущество, а кто – деньги, наряды, кто – знанья... – держал, умножал, ревновал... Только Тэкля – ничего, каждый день и всегда; берегла не для себя, умножала не для себя, ревновала не для себя: просто так – для земли, для деревьев, для птиц, для животных, для хаты, для нас...

Чтобы утратить что-то, сдается, и того не имела: чужая, пришла на чужое и при чужом осталась... Но кого, приходя с выпаса, узнавала Красуля, кого обступали куры, кому подавал голос боров и из чьих рук поднимался подсолнечник?! Как бы все без нее обезроднело и потерялось!..

Неравнейшая доля у Тэкли в нашей жизни совместной: и всего имущества было бы мало, чтобы с ней рассчитаться... Обстоятельства изменились, и уже изменилось: не Тэкля на нашем, а мы на ее содержании... И все это словно бы понимали и забывали одновременно, и про нее забывали тоже.

Не платили ей изначально: мол, заплатится как-нибудь сразу... Посчитай, Тэкля, сколько должны мы тебе за все эти годы. А Тэкля не очень-то и считать умеет: переждется сегодня и тут же забудется – ибо их есть царство небесное, – и про себя забывала Тэкля тоже.

Что происходило в такой-то вот день летом, и позапрошлым летом, или еще раньше?.. Лучи тянулись и не возвращались, а коль возвращались – землею... Ни календарей, ни часов не существовало для Тэкли. Ее век был при ней: одна долгая ночь за спиной и один долгий день впереди, одна земля под ногами, одно солнце над головой.

У всех свои наделы, свои занятия, своя самостоятельность, она же – служила: сделай, Тэкля, погляди, Тэкля, подай, Тэкля... И делала, и глядела, и подавала, и мнения своего не имела.

Соглашалась только... Скажет кто-нибудь: "Душу вкладываешь, стараешься – дети вырастут, а потом, того гляди, и спасибо не скажут..." (Как будто зависело от людей, рождаться ли детям...) – Но не было и детей у Тэкли. А все, чему не стала матерью, что жило необъятно на земле и в мире, как чувствуя, приветствовало издалека и звало: ау, Тэкля!..

"...Бывай и прости, если что, и премногая благодарность", – на прощанье сказали хозяева-хуторяне и выехали в Америку. И когда своякам писали, вспоминали Тэклю неизменно, и родное поле, и солнце, и возле хаты подсолнечники... А Василь, что сказал ей: жди, что наказал ей ждать, – сам с войны не вернулся. А Тэкля ждала.

И, верно, – не Василя уже, но тогда кого?!. Никто не нашелся, чтоб вразумить ее, да и не спрашивала Тэкля ни у кого про то, о чем пела и плакала ее душа. Сама по себе – ибо они узрят... – будто сама без себя, открывала в жизни добро и ему открывалась; и, может, она, ничего не спрашивая, на все отвечала, ибо свет озаряющий был в добре.

И нет, чтобы Тэкле словчить где-нибудь или что-то смекнуть... Остальные ловчили, остальные смекали: вот как надо, учись, Тэкля... – остальные возвышались и падали, спешили и мельтешили, а у Тэкли на это и разума не было. Некое пространство ровнехонькое, некое поле живое в ней занялось и все заняло. Ни сорняков на нем, ни наделов каких – только солнечно, и задумчиво плывут ввысь подсолнечники и поднимают с собою поле.

Не умела злость таить и даже злиться-то не умела... Когда обидишь животное, птаху или растение – как они отзовутся?!. Но восставало – ибо они утешатся – что-то за них... Восставало и останавливало: не тронь!.. Не тронь, О, не троньте Тэклю!..

Большие и малые – все называли ее одинаково: Тэкля. И не оскорбится она, не загневается, – ответит. А иначе б назвали – и не поняла бы, наверно, что это ее зовут.

Менялись одежды, менялись деньги, менялись знания... – но до каких же пор?... Все приостанавливала бестрепетно и все схоронила смерть.

Как живется, как можется? Что б ни случилось, говорила всегда: «Помаленьку...» – будто самой малой себя ощущала в жизни, будто самую малую работу делала... Не рассказывать же про поле: что вдруг, как в обмороке, застывала на нем, заглядевшись, не рассказывать же, что ночью мычала корова, не рассказывать же, что думается без мыслей, а про что рассказывать – неизвестно. Как живется, как можется, Тэкля?... Кто его знает, как живется.

Корили меня – провинюсь когда или набедокурю – но не корила Тэкля. Все знали, зачем корят, а Тэкля не знала, зачем; все, сравнивая, видели одновременно теперь и потом, а Тэкля просто меня видела. Всегда прощала, Тэкля, прости и теперь тоже.

Что я в книгах вычитываю, не вычитавши до этого?... Будто знаю, Тэкля, что именно, а объяснить невозможно, будто знанием одним не сказать. Помоги, если можешь, неведением своим, ибо цветут, как и раньше, ибо цветут золотисто, цветут победоносно – ибо они наречены будут – подсолнечники... Но неведение Тэкли – она сама...

Никто и письма не прислал ей ни разу, разве что получила однажды, когда перепутала почта деревни, – и то было утешенье. Так долго ждала писем и человеческого тепла, а люди почему-то решили, что Тэкля без них обойдется.

Одно наказывали: учись. Я сначала морочил ей голову алфавитом – училась писать свою фамилию: Вовк, – а земля, как магнит, все забирала, и снова оставалась Тэкля без алфавита, без фамилии, без себя. Наподобие соли – ибо они насытятся – во всем растворялась, и все было насыщено ею. А вам почему-то надо было, чтоб Тэкля выявилась, чтобы была пригодна к любым обстоятельствам и на любой случай... О, какое событие: Тэкля уже умеет расписываться, и каждый месяц приносит ей почтальонша сельсоветскую пенсию. И смущалась сама, и удивлялась Тэкля своим способностям: а если бы училась...

И ни сказок, ни песен не знала, ни рассказать чего-нибудь про себя она не умела: ...родилась в темном лесу, росла в темном лесу, лес вырубили, а я так и осталась темной... И осталось лесное прозвище, а прозвище не сменили. Да обещала Тэкля: мы пойдем далеко-далеко, за лес предалекий...

Лес отступал за горизонт – и подступала пустошь. Отступали земля и солнце: чтобы ходить – мостовая, лампочка – чтобы светить... И отступала

куда-то Тэкля – ау, Тэкля!.. Каждый раз все равно выходила Тэкля на голос, усмехалась и вздыхала, и уже говорила все реже: пойдем далеко...

Взаимностью существует правда, и добро – взаимностью... Можно темным быть для себя, и можно – разумным, но добрым – ибо они помилованы будут – а добрым уже не для себя, и недоброе злобу прячет. Что подслушала Тэкля у земли и солнца и про себя повторяла невнятно?

Не по словам – кто что говорит про кого, не по людским промахам или удачам, а по ним самим относилась к людям. Есть главная книга, которую мы читаем – пишем, – мы сами, и главное поле, которое всю жизнь обрабатываем, – сами... Кто грамотный тут, а кто темный, – научи, Тэкля.

Слабеют легкие руки, тяжелеют ходкие ноги – земля все сильнее притягивает... Почти не хворала Тэкля, или, может, казалось так только – будто и боли своей, и болезни своей не разрешалось иметь Тэкле.

Длилось и исчезало: выращиванье... поенье... сеянье... – будто в ненасытную бездну исчезало живое и заботы ради живого. Снова встречается Тэкля – словно впервые – с землею: нескончаемая, о, нескончаемая земля!.. Что до этого не взяла – все равно возьмет, что до этого не вернула – все равно не вернет.

У жизни – земля, и люди – у жизни. Так откуда же несоответствие такое взялось, словно свое своего не признало и разошлись безрадостно?.. В каком таком отклонении я, в каком отклонении Тэкля, и остальные – в каком? Почему познаются медленно люди – ибо непознанными утрачиваются?

Ибо они утешатся... насытятся... узрят... наследуют землю... ибо их есть царство небесное... ибо они помилованы будут... Этого, даже этого, будто саму себя, не углядела и не распознала.

Заменится книга книгой, хлеб – хлебом и поле – полем: утомят жизнью – укрепят жизнью, спросят про жизнь – и про жизнь расскажут.

А где взять другую Тэклу?.. Не покидай нас, Тэкля: у меня одна мама – мама, другая – Тэкля... Ау, Тэкля!.. Тихо-тихо навстречу, медленно-медленно поворачивается подсолнечник.

Перевод Владимира Козаровецкого

ЧАСТЬ 2. ЧЕЛОВЕК КАК УНИКАЛЬНОЕ СУЩЕСТВО, ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И ЛИЧНОСТЬ

Философская антропология как раздел философского знания, посвященный человеку, занимает центральное место в философских исследованиях только в XX веке после так называемого «антропологического поворота». Человек начинает мыслиться как уникальное существо, бытие которого не сводимо ни к природным факторам, ни к социальным условиям, ни к сфере разума как его сущности. При этом акцент делается на своеобразие каждой отдельной личности, которая самостоятельно, благодаря своей свободе и самосознанию, актуализирует себя и свою сущность. В результате проблема человека вмещает в себя обширное тематическое пространство, характеризующее, с одной стороны, условия его существования, с другой, сложный процесс внутреннего духовного поиска себя и еще более сложный процесс реализации своего проекта в социальном окружении.

Центральной темой философской антропологии является вопрос «Что такое человек?», на который не было получено однозначного ответа, но который проясняет себя в размышлениях о смысле человеческой жизни, ее сущности, о происхождении человека и его предназначении, о связи человека с внешним, природным миром и другими людьми.

Традиционно осмысление сущности человеческого существования непосредственно связано с фундаментальным вопросом о смысле жизни, поскольку смысл жизни формируется исходя из понимания статуса человека в мире, его происхождения и предназначения. Смысл человеческой жизни является одной из центральных тем художественной литературы во все времена. При этом наиболее остро вопрос о смысле существования встает перед человеком в критической «пограничной» ситуации, перед лицом смерти. В такой момент все повседневные заботы отходят на второй план, и человек задумывается о самом главном, что было и есть в его жизни, о том, что составляет ее сущность и смысл.

В данной части пособия, посвященной антропологической проблематике, были использованы фрагменты произведений, в которых авторы очень красочно демонстрируют вселенскую силу любви и хрупкость человеческой жизни, неизбежность смерти и ее фундаментальную значимость для понимания основ и смысла бытия.

Платонов А.П. О любви.

Автор: Андрей Платонович Платонов (род. 28.08.1899 Воронеж, Российская империя – ум. 05.01.1951 Москва, СССР)

Вопросы для обсуждения

- 1) Как наука и религия отражают связь человека с миром?*
- 2) В чем заключается уникальность духовного опыта человека?*
- 3) Какое место занимает человек в мире как разумное, познающее существо?*

Есть в мире два знания: одно только удивляет, другое очаровывает. Ученые нашли, что скорость световых и электрических волн в эфире равна 300 000 километров в секунду; что человек в конце концов только животное, сумевшее передразнить своими действиями мир и тем приспособившееся к нему и отчасти победившее его.

Повторение, в течение веков и веков, скажем, такого процесса, как зажигание вулканической лавой или молнией лесов, самовозгорание торфа, степей и т. д., – повторение этих явлений родило в животном – предтече человека – чувство как бы вечной необходимости в огне. Раньше вся земля жила более лихорадочной, более юной, свирепой жизнью. Огонь, естественный огонь чаще видели животные. Если сейчас появление огня в природе пугает даже человека, то когда-то могло быть и наоборот – исчезнувшие лесные и болотные пожары могли ужаснуть животных, привыкших в течение веков к неугасимому огню на горизонте. И изобретателем огня было то животное, которое приволокло потухающее дерево из сгоревшего леса и зажгло им другой лес, чтобы успокоить этим себя и свою самку, т. к. они привыкли к пламени и отсутствие его для них ужасно и неестественно.

Это только, конечно, предположение, а не исторический факт. В прошлые времена, да и теперь, в большинстве случаев, сначала является вещь, а потом вырастает потребность в ней.

Такие области знания, как физика эфира, теория электричества – таят в себе такие глубокие тайны, что их открытие будет долго ослеплять и поражать человечество.

Наука – красавица, но только своими одеждами. Она – свет чистый и до конца прозрачный, но не теплый и не холодный. Этот неморгающий

глаз человечества смотрит и смотрит, но не любит, а думает, и, как глаз, наука нужна, чтобы только видеть и освещать.

И есть другое знание, которое очаровывает и перед которым благоговеют. Назвать его знанием в полном смысле нельзя. Это другое, и вы сами увидите что.

Я вам расскажу о силе, которая настолько сильна, что может обессилить себя и перестать быть силой, о красоте, которая может стать безобразием и чудовищем, если захочет, о свободе, для которой сладка и желанна бывает неволя, и об истине, которая одевается ложью и все-таки бывает истиной, настолько она всемогуща. Жизнь смеется и из гробов. Когда мне приходилось говорить об этом с маленьким мальчиком, я объяснял ему как можно понятней и проще мир и жизнь и что нужно делать, чтобы и мальчику и мне жилось хорошо, то на мой вопрос, как назвать ту ласковую силу, которая в нас бьется и ведет нас к счастью и силе, мальчик отвечал: моя мама.

Другой человек, писатель, после долгого разговора крикнул: так это же жизнь, как хорошо! И он сам сказал, как легко ему стало после того, как он понял жизнь, оказывается, он ее не понимал. А до этого он сидел угрюмый и бледный, со скорчившейся от тоски душой.

Над народом не надо смеяться, даже когда он по-язычески верит в свою богородицу. Сознание, что на небе есть благая богородица – роднее и ласковей матери, дает сердцу мужика любовь и силу, и он веками ходит за сохой и работает и живет как мученик. Если мы хотим разрушить религию и сознаем, что это надо сделать непременно, т. к. коммунизм и религия несовместимы, то народу надо дать вместо религии не меньше, а больше, чем религия. У нас же многие думают, что веру можно отнять, а лучшего ничего не дать. Душа нынешнего человека так организована, так устроена, что вынь только из нее веру, она вся опрокинется и народ выйдет из пространств с вилами и топорами и уничтожит, истребит пустые города, отнявшие у народа его утешение, бессмысленное и ложное, но единственное утешение.

Вы скажете: но мы дадим народу взамен религии науку. Этот подарок народ не *утешит* (слово обведено Платоновым). Наука в современном смысле и существует-то только 100–150 лет, религия же насчитывает десятки тысяч лет. Что же сильнее и что глубже въелось в нутро человека? Сами ученые, самые вожди почти все были верующими людьми.

Наука еще стоит на таком низком уровне, что не может быть руководительницей человека, силой, стоящей выше его. Жизнь пока еще мудрее и глубже всякой мысли, стихия неизмеримо сильнее сознания, и все попытки заменить религии наукой не приведут к полной победе науки.

Людям нужно другое, более высшее, более универсальное понятие, чем религия и чем наука. Люди хотят понять ту первичную силу, ту веселую буйную мать, из которой все течет и рождается, откуда вышла и где веселится сама эта чудесная бессмертная жизнь, откуда выросла эта маленькая веточка – религия, которая теперь засыхает, и на ее месте, на одном с ней стволе вырастает другой цветок – наука, память человечества о своем труде в прошлые времена. Сами мы должны прежде других проникнуться до конца этой силой, чтобы понять ее и передать это понятие другим.

Скажу все до конца. До сих пор человечество только и хотело ясного понимания, горячего ощущения той вольной пламенной силы, которая творит и творит и разрушает вселенные. Человек – соучастник этой силы, и его душа есть тот же огонь, каким зажжено солнце, и в душе человека такие же и еще большие пространства, какие лежат в межзвездных пустынях.

Человек хочет понять себя, чтобы освободиться от ложных понятий греха и долга, возможного и невозможного, правды и лжи, вреда и выгоды и т. д. Когда поймет человек себя, он поймет все и будет навсегда свободен. Все стены падут перед ним, и он наконец воскреснет, ибо настоящей жизни еще нет.

Что поймет человек вперед – себя или природу – это не важно, это все равно.

Почему же это так? Раз человек и вселенная – одно, и человек сам та же сила, которая бьется и дышит в звездах и траве, то что же ему не понятно, что его мучит и мешает жить, мешает быть вполне той вольной чудесной силой, которая ничем не ограничена и для которой нет невозможного, что живому человеку мешает быть жизнью, для чего ему потребовалось объяснение и понимание мира и жизни, чтобы жить? Ведь вон трава растет, пока ей растется, и не знает ни горя, ни радости в человеческом смысле. Ведь радость человек понял только после горя. Объяснить эту великую историческую работу всего человечества – значит объяснить все. Попробую же это сделать.

Вся задача и ее решения лежат в пределах самого человечества и не распространяются дальше. И вся разгадка лежит в *сознании* (слово

подчеркнуто А. Платоновым) человека, в его мысли — в этом новом молодом чувстве человека, присущем только человеку и больше никому и ничему.

В порядках борьбы за существование в каких-то организмах, предшествующих человеку, родилась мысль, как новая могучая органическая функция для жизни и победы. В человеке мысль достигла своего расцвета, высшей силы и совершенства. Этот новый орган жизни требует себе соответствия, равновесия с миром. Если чувства, которые гораздо древнее мысли, уже нашли общую, уравнивающую их в мире точку в форме наслаждения, то мысль еще не твердо стоит в мире, мысль, так сказать, не сбалансирована с природой, и от этого происходит всякая мука, отравы и порча жизни. Чувство расцветает в миге наслаждения — и чувство нашло себе пищу, уравнилось, усиливается и служит целям человека. Мысль не нашла себе еще ответа. Ответить же и удовлетворить мысль сможет только истина, и не осколки истины (часть истины — всегда ложь, только вся истина — истина), вся истина.

Ту трепетную силу, творящую вселенные, чувство назвало бы именем блага и наслаждения. Мысль назвала бы эту силу истиной, но еще назвала бы ее так; и до того момента, пока мысль не обнимет всю вселенную и не сознает ее как истину, человечеству нужны будут разные религии, разные науки и всякие другие условные значки, дымные образы, где как будто уже светится истина, найдены все концы, но этого еще нет на самом деле, раз идет время и сменяются, отвергаются и забываются веры и знания. Чувство родилось давно и уже слилось с душою мира. Мысль не слилась, не совпала еще, а только ищет этого слияния в полном познании мира.

Это неравновесие мысли и мира, т. е. отсутствие истины, произвело историю человечества, т. е. труд на протяжении веков.

Значит, религия и науки — это попытки слияния мысли с миром. Но мысль — чисто человеческое свойство, и весь вопрос о так называемой истине наш, так сказать, местный вопрос. Этот вопрос и мешает нам жить, мешает воскреснуть для полной, настоящей *всесильной жизни* (выделено Платоновым). Чтобы найти жизнь, надо решить этот вопрос, уравновесить истиной голодное человеческое сознание. Познанный же мир все равно что покоренный. А раз мы покорим мир, мы освободимся от него и возвысимся над ним, создадим иную вселенную.

Маленькая как будто вещь, мысль требует себе работы и удовлетворения — и родила своим существованием то мучительное

состояние, что человек ищет смысла, будучи сам смыслом, хочет изменить мир и не знает для того хорошего оружия, а всякое оружие находится в его же руках. Весь мир должен стать равен человеческой мысли — в этом истина.

Вот в чем вся суть.

До наших пор человек, стремясь овладеть истиной мира для его покорения, как требует его новая органическая сила — мысль, человек создавал только миражи истины, обманные видения ее в виде религий и наук. Теперь подошло время, когда человек действительно может познать мир, овладеть истиной о нем.

Толстой Л.Н. Смерть Ивана Ильича.

Автор: Лев Николаевич Толстой (род. 09.09.1828 Ясная Поляна, Российская Империя – ум. 20.11.1910 Астапово, Российская Империя).

Источник: Повесть «Смерть Ивана Ильича» опубликована в 1886 г.

Вопросы для обсуждения

1) Какие ориентиры и критерии чаще всего выбирает себе человек при создании проекта своей жизни и почему?

2) В чем заключается неподлинность существования? Когда она открывается человеку?

3) Почему смерть, являясь общеизвестным завершением жизни каждого, представляется чем-то внешним и чуждым, противоестественным?

4) Возможно ли рациональное принятие смерти?

5) Когда и как мы можем осознать истинность и смысл своей жизни?

Иван Ильич был le phenix de la famille («гордость семьи», франц.), как говорили. Он был не такой холодный и аккуратный, как старший, и не такой отчаянный, как меньшой. Он был середина между ними – умный, живой, приятный и приличный человек. Воспитывался он вместе с меньшим братом в Правоведении. Меньшой не кончил и был выгнан из пятого класса, Иван же Ильич хорошо кончил курс. В Правоведении уже он был тем, чем он был впоследствии всю свою жизнь: человеком способным, весело добродушным и общительным, но строго исполняющим то, что он считал своим долгом; долгом же он своим считал все то, что считалось таковым наивысше поставленными людьми. Он не был заискивающим ни мальчиком, ни потом взрослым человеком, но у него с самых молодых лет было то, что он, как муха к свету, тянулся к наивысше поставленным в свете людям, усваивал себе их приемы, их взгляды на жизнь и с ними устанавливал дружеские отношения. Все увлечения детства и молодости прошли для него, не оставив больших следов; он отдавался и чувственности и тщеславию, и – под конец, в высших классах -либеральности, но все в известных пределах, которые верно указывало ему его чувство.

Выйдя из Правоведения десятым классом и получив от отца деньги на обмундировку, Иван Ильич заказал себе платье у Шармера, повесил на

брелоки медальку с надписью: «*respice finem*» («предвидь конец», лат.), простился с принцем и воспитателем, пообедал с товарищами у Донона и с новыми модными чемоданом, бельем, платьем, бритвенными и туалетными принадлежностями и пледом, заказанными и купленными в самых лучших магазинах, уехал в провинцию на место чиновника особых поручений губернатора, которое доставил ему отец.

В провинции Иван Ильич сразу устроил себе такое же легкое и приятное положение, каково было его положение в Правоведении. Он служил, делал карьеру и вместе с тем приятно и прилично веселился; изредка он ездил по поручению начальства в уезды, держал себя с достоинством и с высшими и с низшими и с точностью и неподкупной честностью, которой не мог не гордиться, исполнял возложенные на него поручения, преимущественно по делам раскольников.

В служебных делах он был, несмотря на свою молодость и склонность к легкому веселью, чрезвычайно сдержан, официален и даже строг; но в общественных он был часто игрив и остроумен и всегда добродушен, приличен и *bon enfant* («добрый малый», франц.), как говорил про него его начальник и начальница, у которых он был домашним человеком. Была в провинции и связь с одной из дам, навязавшейся щеголеватому правоведе; была и модистка; были и попойки с приезжими флигель-адъютантами и поездки в дальнюю улицу после ужина; было и подслуживанье начальнику и даже жене начальника, но все это носило на себе такой высокий тон порядочности, что все это не могло быть называемо дурными словами: все это подходило только под рубрику французского изречения: *il faut que jeunesse se passe* («молодость должна перебеситься», франц.). Все происходило с чистыми руками, в чистых рубашках, с французскими словами и, главное, в самом высшем обществе, следовательно, с одобрением высоко стоящих людей.

Так прослужил Иван Ильич пять лет, и наступила перемена по службе. Явились новые судебные учреждения; нужны были новые люди. И Иван Ильич стал этим новым человеком. Ивану Ильичу предложено было место судебного следователями Иван Ильич принял его, несмотря на то, что место это было в другой губернии и ему надо было бросить установившиеся отношения и устанавливать новые. Ивана Ильича проводили друзья, сделали группу, поднесли ему серебряную папиросочницу, и он уехал на новое место.

Судебным следователем Иван Ильич был таким же *comme il faut*»ным, приличным, умеющим отделять служебные обязанности от

частной жизни и внушающим общее уважение, каким он был чиновником особых поручений. Сама же служба следователя представляла для Ивана Ильича гораздо более интереса и привлекательности, чем прежняя. В прежней службе приятно было свободной походкой в шармеровском вицмундире пройти мимо трепещущих и ожидающих приема просителей и должностных лиц, завидующих ему, прямо в кабинет начальника и сесть с ним за чай с папиросою; но людей, прямо зависящих от его произвола, было мало. Такие люди были только исправники и раскольники, когда его посылали с поручениями; и он любил учтиво, почти по-товарищески обходиться с такими, зависящими от него, людьми, любил давать чувствовать, что вот он, могущий раздавить, дружески, просто обходится с ними. Таких людей тогда было мало. Теперь же, судебным следователем, Иван Ильич чувствовал, что все, все без исключения, самые важные самодовольные люди – все у него в руках и что ему стоит только написать известные слова на бумаге с заголовком, и этого важного, самодовольного человека приведут к нему в качестве обвиняемого или свидетеля, и он будет, если он не захочет посадить его, стоять перед ним и отвечать на его вопросы. Иван Ильич никогда не злоупотреблял этой своей властью, напротив, старался смягчать выражения ее; но сознание этой власти и возможность смягчать ее составляли для него главный интерес и привлекательность его новой службы. В самой же службе, именно в следствиях, Иван Ильич очень быстро усвоил прием отстранения от себя всех обстоятельств, не касающихся службы, и облечения всякого самого сложного дела в такую форму, при которой бы дело только внешним образом отражалось на бумаге и при котором исключалось совершенно его личное воззрение и, главное, соблюдалась бы вся требуемая формальность. [...]

Жизнь Ивана Ильича и в новом городе сложилась очень приятно: фрондирующее против губернатора общество было дружное и хорошее; жалованья было больше, и немалую приятность в жизни прибавил тогда вист, в который стал играть Иван Ильич, имевший способность играть в карты весело, быстро соображая и очень тонко, так что в общем он всегда был в выигрыше.

После двух лет службы в новом городе Иван Ильич встретился с своей будущей женой. Прасковья Федоровна Михель была самая привлекательная, умная, блестящая девушка того кружка, в котором вращался Иван Ильич. В числе других забав и отдохновений от трудов следователя Иван Ильич установил игривые, легкие отношения с

Прасковьей Федоровной. Иван Ильич, будучи чиновником особых поручений, вообще танцевал; судебным же следователем он уже танцевал как исключение. Он танцевал уже в том смысле, что хоть и по новым учреждениям и в пятом классе, но если дело коснется танцев, то могу доказать, что в этом роде я могу лучше других. Так, он изредка в конце вечера танцевал с Прасковьей Федоровной и преимущественно во время этих танцев и победил Прасковью Федоровну. Она влюбилась в него.

Иван Ильич не имел ясного, определенного намерения жениться, но когда девушка влюбилась в него, он задал себе этот вопрос: «В самом деле, отчего же и не жениться?» – сказал он себе. Девушка Прасковья Федоровна была хорошего дворянского рода, недурна; было маленькое состояньице. Иван Ильич мог рассчитывать на более блестящую партию, но и эта была партия хорошая. У Ивана Ильича было его жалованье, у ней, он надеялся, будет столько же. Хорошее родство; она – милая, хорошенькая и вполне порядочная женщина. Сказать, что Иван Ильич женился потому, что он полюбил свою невесту и нашел в ней сочувствие своим взглядам на жизнь, было бы так же несправедливо, как и сказать то, что он женился потому, что люди его общества одобряли эту партию. Иван Ильич женился по обоим соображениям: он делал приятное для себя, приобретая такую жену, и вместе с тем делал то, что наивысше поставленные люди считали правильным.

И Иван Ильич женился. Самый процесс женитьбы и первое время брачной жизни, с супружескими ласками, новой мебелью, новой посудой, новым бельем, до беременности жены прошло очень хорошо, так что Иван Ильич начинал уже думать, что женитьба не только не нарушит того характера жизни легкой, приятной, веселой и всегда приличной и одобряемой обществом, который Иван Ильич считал свойственным жизни вообще, но еще усугубит его. Но тут, с первых месяцев беременности жены, явилось что-то такое новое, неожиданное, неприятное, тяжелое и неприличное, чего нельзя было ожидать и от чего никак нельзя было отделаться. Жена без всяких поводов, как казалось Ивану Ильичу, *de gaité de coeur* («из каприза», франц.), как он говорил себе, начала нарушать приятность и приличие жизни: она без всякой причины ревновала его, требовала от него ухаживанья за собой, придиралась ко всему и делала ему неприятные и грубые сцены.

Сначала Иван Ильич надеялся освободиться от неприятности этого положения тем самым легким и приличным отношением к жизни, которое выручало его прежде, – он пробовал игнорировать расположение духа

жены, продолжал жить по-прежнему легко и приятно: приглашал к себе друзей составлять партию, пробовал сам уезжать в клуб или к приятелям. Но жена один раз с такой энергией начала грубыми словами ругать его и так упорно продолжала ругать его всякий раз, когда он не исполнял ее требований, очевидно, твердо решившись не переставать до тех пор, пока он не покорится, то есть не будет сидеть дома и не будет так же, как и она, тосковать, что Иван Ильич ужаснулся. Он понял, что супружеская жизнь – по крайней мере, с его женою – не содействует всегда приятностям и приличию жизни, а, напротив, часто нарушает их, и что поэтому необходимо оградить себя от этих нарушений. И Иван Ильич стал отыскивать средства для этого. Служба было одно, что импонировало Прасковье Федоровне, и Иван Ильич посредством службы и вытекающих из нее обязанностей стал бороться с женой, выгораживая свой независимый мир. [...]

Очень скоро, не далее как через год после женитьбы, Иван Ильич понял, что супружеская жизнь, представляя некоторые удобства в жизни, в сущности есть очень сложное и тяжелое дело, по отношению которого, для того чтобы исполнять свой долг, то есть вести приличную, одобряемую обществом жизнь, нужно выработать – определенное отношение, как и к службе. И такое отношение к супружеской жизни выработал себе Иван Ильич. Он требовал от семейной жизни только тех удобств домашнего обеда, хозяйки, постели, которые она могла дать ему, и, главное, того приличия внешних форм, которые определялись общественным мнением. В остальном же он искал веселой приятности и, если находил их, был очень благодарен; если же встречал отпор и ворчливость, то тотчас же уходил в свой отдельный, выгороженный им мир службы и в нем находил приятности. [...]

После семи лет службы в одном городе Ивана Ильича перевели на место прокурора в другую губернию. Они переехали, денег было мало, и жене не понравилось то место, куда они переехали. Жалованье было хоть и больше прежнего, но жизнь была дороже; кроме того, умерло двое детей, и потому семейная жизнь стала еще неприятнее для Ивана Ильича. Прасковья Федоровна во всех случавшихся невзгодах в этом новом месте жительства упрекала мужа. Большинство предметов разговора между мужем и женой, особенно воспитание детей, наводило на вопросы, по которым были воспоминания ссор, и ссоры всякую минуту готовы были разгораться. Оставались только те редкие периоды влюбленности, которые находили на супругов, но продолжались недолго. Это были островки, на

которые они приставали на время, но потом опять пускались в море затаенной вражды, выражавшейся в отчуждении друг от друга. Отчуждение это могло бы огорчать Ивана Ильича, если бы он считал, что это не должно так быть, но он теперь уже признавал это положение не только нормальным, но и целью всей деятельности в семье. Цель его состояла в том, чтобы все больше и больше освобождать себя от этих неприятностей и придать им характер безвредности и приличия; и он достигал этого тем, что он все меньше и меньше проводил время с семьей, а когда был вынужден это делать, то старался обеспечивать свое положение присутствием посторонних лиц. Главное же то, что у Ивана Ильича была служба.

IV

Все были здоровы. Нельзя было назвать нездоровьем то, что Иван Ильич говорил иногда, что у него странный вкус во рту и что-то неловко в левой стороне живота. Но случилось, что неловкость эта стала увеличиваться и переходить не в боль еще, но в сознание тяжести постоянной в боку и в дурное расположение духа. Дурное расположение духа это, все усиливаясь и усиливаясь, стало портить установившуюся было в семействе Головиных приятность легкой и приличной жизни. Муж с женой стали чаще и чаще ссориться, и скоро отпала легкость и приятность, и с трудом удерживалось одно приличие. Сцены опять стали чаще. Опять остались одни островки, и тех мало, на которых муж с женою могли сходиться без взрыва. И Прасковья Федоровна теперь не без основания говорила, что у ее мужа тяжелый характер. [...]

После одной сцены, в которой Иван Ильич был особенно несправедлив и после которой он и при объяснении сказал, что он точно раздражителен, но что это от болезни, она сказала ему, что если он болен, то надо лечиться, и потребовала от него, чтобы он поехал к знаменитому врачу. Он поехал. Все было, как он ожидал; все было так, как всегда делается. И ожидание, и важность напускная, докторская, ему знакомая, та самая, которую он знал в себе в суде, и постукиванье, и выслушиванье, и вопросы, требующие определенные вперед и, очевидно, ненужные ответы, и значительный вид, который внушал, что вы, мол, только подвергнитесь нам, а мы все устроим, — у нас известно и несомненно, как все устроить, все одним манером для всякого человека, какого хотите. Все было точно так же, как в суде. Как он в суде делал вид над подсудимыми, так точно над ним знаменитый доктор делал тоже вид.

Доктор говорил: то-то и то-то указывает, что у вас внутри то-то и то-то; но если это не подтвердится по исследованиям того-то и того-то, то у вас надо предположить то-то и то-то. Если же предположить то-то, тогда... и т. д. Для Ивана Ильича был важен только один вопрос: опасно ли его положение или нет? Но доктор игнорировал этот неуместный вопрос. С точки зрения доктора, вопрос этот был праздный и не подлежал обсуждению; существовало только взвешивание вероятностей – блуждающей почки, хронического катара и болезней слепой кишки. Не было вопроса о жизни Ивана Ильича, а был спор между блуждающей почкой и слепой кишкой. И спор этот на глазах Ивана Ильича доктор блестящим образом разрешил в пользу слепой кишки, сделав оговорку о том, что исследование мочи может дать новые улики и что тогда дело будет пересмотрено. Все это было точь-в-точь то же, что делал тысячу раз сам Иван Ильич над подсудимыми таким блестящим манером. Так же блестяще сделал свое резюме доктор и торжествуя, весело даже, взглянув сверху очков на подсудимого. Из резюме доктора Иван Ильич вывел то заключение, что плохо, а что ему, доктору, да, пожалуй, и всем все равно, а ему плохо. И это заключение болезненно поразило Ивана Ильича, вызвав в нем чувство большой жалости к себе и большой злобы на этого равнодушного к такому важному вопросу доктора.

V

Вдруг он почувствовал знакомую старую, глухую, ноющую боль, упорную, тихую, серьезную. Во рту та же знакомая гадость. Засосало сердце, помутилось в голове. «Боже мой, Боже мой! – проговорил он. – Опять, опять, и никогда не перестанет». И вдруг ему дело представилось совсем с другой стороны. «Слепая кишка? Почка, – сказал он себе. – Не в слепой кишке, не в почке дело, а в жизни и... смерти. Да, жизнь была и вот уходит, уходит, и я не могу удержать ее. Да. Зачем обманывать себя? Разве не очевидно всем, кроме меня, что я умираю, и вопрос только в числе недель, дней – сейчас, может быть. То свет был, а теперь мрак. То я здесь был, а теперь туда! Куда?» Его обдало холодом, дыхание остановилось. Он слышал только удары сердца.

«Меня не будет, так что же будет? Ничего не будет. Так где же я буду, когда меня не будет? Неужели смерть? Нет, не хочу». Он вскочил, хотел зажечь свечку, пошарил дрожащими руками, уронил свечу с подсвечником на пол и опять повалился назад, на подушку. «Зачем? Все равно, – говорил он себе, открытыми глазами глядя в темноту. – Смерть, Да, смерть. И они никто не знают, и не хотят знать, и не жалеют. Они

играют. (Он слышал дальние, из-за двери, раскат голоса и ритурнели.) Им все равно, а они также умрут. Дурачье. Мне раньше, а им после; и им то же будет. А они радуются. Скоты!» Злоба душила его. И ему стало мучительно, невыносимо тяжело. Не может же быть, чтоб все всегда были обречены на этот ужасный страх.

VI

Иван Ильич видел, что он умирает, и был в постоянном отчаянии. В глубине души Иван Ильич знал, что он умирает, но он не только не привык к этому, но просто не понимал, никак не мог понять этого.

Тот пример силлогизма, которому он учился в логике Кизеветера: Кай – человек, люди смертны, потому Кай смертен, казался ему во всю его жизнь правильным только по отношению к Каю, но никак не к нему. То был Кай-человек, вообще человек, и это было совершенно справедливо; но он был не Кай и не вообще человек, а он всегда был совсем, совсем особенное от всех других существо; он был Ваня с мама, папа, с Митей и Володей, с игрушками, кучером, с няней, потом с Катенькой, со всеми радостями, горестями, восторгами детства, юности, молодости. Разве для Кая был тот запах кожаного полосками мячика, который так любил Ваня! Разве Кай целовал так руку матери и разве для Кая так шуршал шелк складок платья матери? Разве он бунтовал за пирожки в Правоведении? Разве Кай так был влюблен? Разве Кай так мог вести заседание? И Кай точно смертен, и ему правильно умирать, но мне, Ване, Ивану Ильичу, со всеми моими чувствами, мыслями, – мне это другое дело. И не может быть, чтобы мне следовало умирать. Это было бы слишком ужасно. Так чувствовалось ему. «Если б и мне умирать, как Каю, то я так бы и знал это, так бы и говорил мне внутренний голос, но ничего подобного не было во мне; и я и все мои друзья – мы понимали, что это совсем не так, как с Каем. А теперь вот что! – говорил он себе. – Не может быть. Не может быть, а есть. Как же это? Как понять это?»

И он не мог понять и старался отогнать эту мысль, как ложную, неправильную, болезненную, и вытеснить ее другими, правильными, здоровыми мыслями. Но мысль эта, не только мысль, но как будто действительность, приходила опять и становилась перед ним. И он призывал по очереди на место этой мысли другие мысли, в надежде найти в них опору. Он пытался возвратиться к прежним ходам мысли, которые заслоняли для него прежде мысль о смерти. Но – странное дело – все то, что прежде заслоняло, скрывало, уничтожало сознание смерти, теперь уже не могло производить этого действия.

VII

Главное мучение Ивана Ильича была ложь, — та, всеми почему-то признанная ложь, что он только болен, а не умирает, и что ему надо только быть спокойным и лечиться, и тогда что-то выйдет очень хорошее. Он же знал, что, что бы ни делали, ничего не выйдет, кроме еще более мучительных страданий и смерти. И его мучила эта ложь, мучило то, что не хотели признаться в том, что все знали и он знал, а хотели лгать над ним по случаю ужасного его положения и хотели и заставляли его самого принимать участие в этой лжи. Ложь, ложь эта, совершаемая над ним накануне его смерти, ложь, долженствующая низвести этот страшный торжественный акт его смерти до уровня всех их визитов, гардин, осетрины к обеду... была ужасно мучительна для Ивана Ильича. И — странно — он много раз, когда они над ним проделывали свои штуки, был на волоске от того, чтобы закричать им: перестаньте врать, и вы знаете и я знаю, что я умираю, так перестаньте, по крайней мере, врать. Но никогда он не имел духа сделать этого. Страшный, ужасный акт его умирания, он видел, всеми окружающими его был низведен на степень случайной неприятности, отчасти неприличия (вроде того, как обходятся с человеком, который, войдя в гостиную, распространяет от себя дурной запах), тем самым «приличием», которому он служил всю свою жизнь; он видел, что никто не пожалеет его, потому что никто не хочет даже понимать его положения.

X

Прошло еще две недели. Иван Ильич уже не вставал с дивана. Он не хотел лежать в постели и лежал на диване. И, лежа почти все время лицом к стене, он одиноко страдал все те же неразрешающиеся страдания и одиноко думал все ту же неразрешающуюся думу. Что это? Неужели правда, что смерть? И внутренний голос отвечал: да, правда. Зачем эти муки? И голос отвечал: а так, ни зачем. Дальше и кроме этого ничего не было.

С самого начала болезни, с того времени, как Иван Ильич в первый раз поехал к доктору, его жизнь разделилась на два противоположные настроения, сменившие одно другое: то было отчаяние и ожидание непонятной и ужасной смерти, то была надежда и исполненное интереса наблюдение за деятельностью своего тела. То перед глазами была одна почка или кишка, которая на время отклонилась от исполнения своих обязанностей, то была одна непонятная ужасная смерть, от которой ничем нельзя избавиться. Эти два настроения с самого начала болезни сменяли

друг друга; но чем дальше шла болезнь, тем сомнительнее и фантастичнее становились соображения о почке и тем реальнее сознание наступающей смерти. Стоило ему вспомнить о том, чем он был три месяца тому назад, и то, что он теперь; вспомнить, как равномерно он шел под гору, – чтобы разрушилась всякая возможность надежды.

В последнее время того одиночества, в котором он находился, лежа лицом к спинке дивана, того одиночества среди многолюдного города и своих многочисленных знакомых и семьи, – одиночества, полнее которого не могло быть нигде: ни на дне моря, ни в земле, – последнее время этого страшного одиночества Иван Ильич жил только воображением в прошедшем. Одна за другой ему представлялись картины его прошедшего. Начиналось всегда с ближайшего по времени и сводилось к самому отдаленному, к детству, и на нем останавливалось. Вспоминал ли Иван Ильич о вареном черносливе, который ему предлагали есть нынче, он вспоминал о сыром сморщенном французском черносливе в детстве, об особенном вкусе его и обилии слюны, когда дело доходило до косточки, и рядом с этим воспоминанием вкуса возникал целый ряд воспоминаний того времени: няня, брат, игрушки. «Не надо об этом... слишком больно», – говорил себе Иван Ильич и опять переносился в настоящее.

И опять тут же, вместе с этим ходом воспоминания, у него в душе шел другой ход воспоминаний – о том, как усиливалась и росла его болезнь. То же, что дальше назад, то больше было жизни. Больше было и добра в жизни, и больше было и самой жизни. И то и другое сливалось вместе. «Как мучения все идут хуже и хуже, так и вся жизнь шла все хуже и хуже», – думал он. Одна точка светлая там, назади, в начале жизни, а потом все чернее и чернее и все быстрее и быстрее. «Обратно пропорционально квадратам расстояний от смерти», – подумал Иван Ильич. И этот образ камня, летящего вниз с увеличивающейся быстротой, запал ему в душу. Жизнь, ряд увеличивающихся страданий, летит быстрее и быстрее к концу, страшнейшему страданию. «Я лечу...» Он вздрагивал, шевелился, хотел противиться; но уже он знал, что противиться нельзя, и опять усталыми от смотрения, но не могущими не смотреть на то, что было перед ним, глазами глядел на спинку дивана и ждал, – ждал этого страшного падения, толчка и разрушения. «Противиться нельзя, – говорил он себе. – Но хоть бы понять, зачем это? И того нельзя. Объяснить бы можно было, если бы сказать, что я жил не так, как надо. Но этого-то уже невозможно признать», – говорил он сам себе, вспоминая всю законность, правильность и приличие своей жизни. «Этого-то допустить уж

невозможно, – говорил он себе, усмехаясь губами, как будто кто-нибудь мог видеть эту его улыбку и быть обманутым ею. – Нет объяснения! Мучение, смерть... Зачем?»

XI

Доктор оговорил, что страдания его физические ужасны, и это была правда; но ужаснее его физических страданий были его нравственные страдания, и в этом было главное его мучение. Нравственные страдания его состояли в том, что в эту ночь, глядя на сонное, добродушное скуластое лицо Герасима, ему вдруг пришло в голову: а что, как и в самом деле вся моя жизнь, сознательная жизнь, была «не то». Ему пришло в голову, что то, что ему представлялось прежде совершенной невозможностью, то, что он прожил свою жизнь не так, как должно было, что это могло быть правда. Ему пришло в голову, что те его чуть заметные поползновения борьбы против того, что наивысше поставленными людьми считалось хорошим, поползновения чуть заметные, которые он тотчас же отгонял от себя, – что они-то и могли быть настоящие, а остальное все могло быть не то. И его служба, и его устройства жизни, и его семья, и эти интересы общества и службы – все это могло быть не то. Он попытался защитить пред собой все это. И вдруг почувствовал всю слабость того, что он защищает. И защищать нечего было. «А если это так, – сказал он себе, – и я уйду из жизни с сознанием того, что погубил все, что мне дано было, и поправить нельзя, тогда что ж?»

Он лег навзничь и стал совсем по-новому перебирать всю свою жизнь. Когда он увидал утром лакея, потом жену, потом дочь, потом доктора, – каждое их движение, каждое их слово подтверждало для него ужасную истину, открывшуюся ему ночью. Он в них видел себя, все то, чем он жил, и ясно видел, что все это было не то, все это был ужасный огромный обман, закрывающий и жизнь и смерть. Это сознание увеличило, удесятило его физические страдания. Он стонал и метался и обдергивал на себе одежду. Ему казалось, что она душила и давила его. И за это он ненавидел их.

XII

С этой минуты начался тот три дня не перестававший крик, который так был ужасен, что нельзя было за двумя дверями без ужаса слышать его. В ту минуту, как он ответил жене, он понял, что он пропал, что возврата нет, что пришел конец, совсем конец, а сомнение так и не разрешено, так и остается сомнением.

- У! Уу! У! – кричал он на разные интонации. Он начал кричать: «Не хочу!» – и так продолжал кричать на букву «у».

Все три дня, в продолжение которых для него не было времени, он барахтался в том черном мешке, в который просовывала его невидимая непреодолимая сила. Он бился, как бьется в руках палача приговоренный к смерти, зная, что он не может спастись; и с каждой минутой он чувствовал, что, несмотря на все усилия борьбы, он ближе и ближе становился к тому, что ужасало его. Он чувствовал, что мученье его и в том, что он всовывается в эту черную дыру, и еще больше в том, что он не может пролезть в нее. Пролезть же ему мешает признание того, что жизнь его была хорошая. Это-то оправдание своей жизни цепляло и не пускало его вперед и больше всего мучало его.

Вдруг какая-то сила толкнула его в грудь, в бок, еще сильнее сдавила ему дыхание, он провалился в дыру, и там, в конце дыры, засветилось что-то. С ним сделалось то, что бывало с ним в вагоне железной дороги, когда думаешь, что едешь вперед, а едешь назад, и вдруг узнаешь настоящее направление.

- Да, все было не то, – сказал он себе, – но это ничего. Можно, можно сделать «то». Что ж «то»? – опросил он себя и вдруг затих. Это было в конце третьего дня, за час до его смерти. В это самое время гимназистик тихонько прокрался к отцу и подошел к его постели. Умирающий все кричал отчаянно и кидал руками. Рука его попала на голову гимназистика. Гимназистик схватил ее, прижал к губам и заплакал. В это самое время Иван Ильич провалился, увидел свет, и ему открылось, что жизнь его была не то, что надо, но что это можно еще поправить. Он спросил себя: что же «то», и затих, прислушиваясь. Тут он почувствовал, что руку его целует кто-то. Он открыл глаза и взглянул на сына. Ему стало жалко его. Жена подошла к нему. Он взглянул на нее. Она с открытым ртом и с неотертыми слезами на носу и щеке, с отчаянным выражением смотрела на него. Ему жалко стало ее.

«Да, я мучаю их, – подумал он. – Им жалко, но им лучше будет, когда я умру». Он хотел сказать это, но не в силах был выговорить. «Впрочем, зачем же говорить, надо сделать», – подумал он. Он указал жене взглядом на сына и сказал:

- Уведи... жалко... и тебя... – Он хотел сказать еще «прости», но сказал «пропусти», и, не в силах уже будучи поправиться, махнул рукою, зная, что поймет тот, кому надо.

И вдруг ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, что вдруг все выходит сразу, и с двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон. Жалко их, надо сделать, чтобы им не больно было. Избавить их и самому избавиться от этих страданий. «Как хорошо и как просто, – подумал он. – А боль? – спросил он себя, – Ее куда? Ну-ка, где ты, боль?» Он стал прислушиваться.

«Да, вот она. Ну что ж, пускай боль».

«А смерть? Где она?»

Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страху никакого не было, потому что и смерти не было. Вместо смерти был свет.

- Так вот что! – вдруг вслух проговорил он. – Какая радость!

Для него все это произошло в одно мгновение, и значение этого мгновения уже не изменялось. Для присутствующих же агония его продолжалась еще два часа. В груди его клокотало что-то; изможденное тело его вздрагивало. Потом реже и реже стало клокотанье и хрипенье.

- Кончено! – сказал кто-то над ним.

Он услышал эти слова и повторил их в своей душе. «Кончена смерть, – сказал он себе. – Ее нет больше». Он втянул в себя воздух, остановился на половине вдоха, потянулся и умер.

Сартр Ж.-П. Стена.

Автор: Жан-Поль Сартр (род. 21.06.1905, Париж, Франция – ум. 15.04.1980, там же)

Источник: Рассказ «Стена» опубликован в 1939 г.

Вопросы для обсуждения

- 1) Какие изменения могут происходить с человеком, когда он осознает свою неожиданную и скорую смерть?*
- 2) О чем думает человек в последние часы своей жизни? Как он представляет смерть?*
- 3) Меняется ли его восприятие жизни, других людей и предметов?*
- 4) Каким видится смысл жизни перед лицом смерти?*

Около восьми часов в камеру вошли комендант и два фалангиста. У коменданта в руках был список. Он спросил у охранника:

– Фамилии этих трех?

Тот ответил:

– Стейнбок, Иббиета, Мирбаль.

Комендант надел очки и поглядел в список.

– Вы приговорены к расстрелу. Приговор будет приведен в исполнение завтра утром. [...]

– Ну, что я тебе говорил, – сказал Том. – Не поскупились.

– Это уж точно, – ответил я. – Но мальчика-то за что? Подонки!

Я сказал это из чувства справедливости, хотя, по правде говоря, паренек не вызывал у меня ни малейшей симпатии. У него было слишком тонкое лицо, и страх смерти исковеркал его черты до неузнаваемости. Еще три дня назад это был хрупкий мальчуган – такой мог бы и понравиться, но сейчас он казался старой развалиной, и я подумал, что, если б даже его отпустили, он таким бы и остался на всю жизнь. Вообще-то мальчишку следовало пожалеть, но жалость внушала мне отвращение, да и парень был мне почти противен.

Хуан не проронил больше ни слова, он сделался землисто-серым: серыми стали руки, лицо. Он снова сел и уставился округлившимися глазами в пол. Том был добряк, он попытался взять мальчика за руку, но тот яростно вырвался, лицо его исказила гримаса.

– Оставь его, – сказал я Тому. – Ты же видишь, он сейчас разревется.

Том послушался с неохотой: ему хотелось как-то приласкать парнишку – это отвлекло бы его от мыслей о собственной участи. Меня раздражали оба. Раньше я никогда не думал о смерти – не было случая, но теперь мне ничего не оставалось, как задуматься о том, что меня ожидает.

– Послушай, – спросил Том, – ты хоть кого-нибудь из них ухлопал?

Я промолчал. Том принялся расписывать, как он подстрелил с начала августа шестерых. Он определенно не отдавал себе отчета в сложившемся положении, и я прекрасно видел, что он этого не хочет. Да и сам я покуда толком не осознавал случившегося, однако я уже думал о том, больно ли умирать, и чувствовал, как град жгучих пуль проходит сквозь мое тело. И все же эти ощущения явно не касались сути. Но тут я мог не волноваться: для ее уяснения впереди была целая ночь. И вдруг Том замолчал. Я искоса взглянул на него и увидел, что и он посерел. Он был жалок, и я подумал: «Ну вот, начинается!» А ночь подступала, тусклый свет сочился сквозь отдушины, через люк, растекался на куче угольной пыли, застывал бесформенными пятнами на полу. Над люком я заприметил звезду: ночь была морозной и ясной.

Дверь отворилась, в подвал вошли два охранника. За ними – белокурый человек в бельгийской военной форме.

*** Я пристально посмотрел на него, он явно смутился. Я сказал ему:

– Вы явились сюда отнюдь не из милосердия. Я вас узнал. В тот день, когда меня взяли, я видел вас во дворе казармы. Вы были с фалангистами.

Я собирался выложить ему все, но, к своему удивлению, не стал этого делать: бельгиец внезапно перестал меня интересовать. Раньше если уж я к кому-нибудь цеплялся, то не оставлял его в покое так просто. А тут желание говорить бесследно исчезло. Я пожал плечами и отвел глаза. Через несколько минут поднял голову и увидел, что бельгиец с любопытством наблюдает за мной. Охранники уселись на циновки. Долговязый Педро не знал, куда себя деть от скуки, другой то и дело вертел головой, чтобы не уснуть.

– Принести лампу? – неожиданно спросил Педро.

Бельгиец кивнул головой, и я подумал, что интеллигентности в нем не больше, чем в деревянном чурбане, но на злодея он похож все-таки не был. Взглянув в его холодные голубые глаза, я решил, что он подличает от недостатка воображения. Педро вышел и вскоре вернулся с керосиновой лампой и поставил ее на край скамьи. Она светила скудно, но все же это было лучше, чем ничего. Накануне мы сидели в потемках. Я долго

вглядывался в световой круг на потолке. Вглядывался как замороженный. Вдруг все это исчезло, круг света погас. Я очнулся и вздрогнул, как под невыносимо тяжелой ношей. Нет, это был не страх, не мысль о смерти. Этому просто не было названия. Скулы мои горели, череп раскалывался от боли.

Я поежился и взглянул на своих товарищей. Том сидел, упрятав лицо в ладони, я видел только его белый тучный загривок. Маленькому Хуану становилось все хуже: рот его был полуоткрыт, ноздри вздрагивали. Бельгиец подошел и положил ему руку на плечо: казалось, он хотел мальчугана подбодрить, но глаза его оставались такими же ледяными. Его рука украдкой скользнула вниз и замерла у кисти. Хуан не шевельнулся. Бельгиец сжал ему запястье тремя пальцами, вид у него был отрешенный, но при этом он слегка отступил, чтобы повернуться ко мне спиной. Я подался вперед и увидел, что он вынул часы и, не отпуская руки, с минуту глядел на них. Потом он отстранился, и рука Хуана безвольно упала. Бельгиец прислонился к стене, затем, как если бы он вспомнил о чем-то важном, вынул блокнот и что-то в нем записал. «Сволочь! – в бешенстве подумал я. – Пусть только попробует щупать у меня пульс, я ему тут же харю разворочу». Он так и не подошел ко мне, но когда я поднял голову, то поймал на себе его взгляд. Я не отвел глаз. Каким-то безынтонационным голосом он сказал мне:

– Вы не находите, что тут прохладно?

Ему и в самом деле было зябко: физиономия его стала фиолетовой.

– Нет, мне не холодно, – ответил я.

Но он не сводил с меня своего жесткого взгляда. И вдруг я понял, в чем дело. Я провел рукой по лицу: его покрывала испарина. В этом промозглом подвале, в самый разгар зимы, на ледяных сквозняках я буквально истекал потом. Я потрогал волосы: они были совершенно мокрые. Я почувствовал, что рубашку мою хоть выжимай, она плотно прилипла к телу. Вот уже не меньше часа меня заливало потом, а я этого не замечал. Зато скотина-бельгиец все прекрасно видел. Он наблюдал, как капли стекают по моему лицу, и наверняка думал: вот свидетельство страха, и страха почти патологического. Он чувствовал себя нормальным человеком и гордился, что ему сейчас холодно, как всякому нормальному человеку. Мне захотелось подойти и дать ему в морду. Но при первом же движении мой стыд и ярость исчезли, и я в полном равнодушии опустил голову на скамью. Я ограничился тем, что снова вынул платок и стал вытирать им шею. Теперь я явственно ощущал, как пот стекает с волос, и это было

неприятно. Впрочем, вскоре я перестал утираться: платок промок насквозь, а пот все не иссякал. Мокрым был даже зад, и штаны мои прилипали к скамейке. И вдруг заговорил маленький Хуан:

– Вы врач?

– Врач, – ответил бельгиец.

– Скажите... а это больно и... долго?

– Ах, это... когда... Нет, довольно быстро, – ответил бельгиец отеческим тоном. У него был вид доктора, который успокаивает своего платного пациента.

– Но я слышал... мне говорили... что иногда... с первого залпа не выходит.

Бельгиец покачал головой:

– Так бывает, если первый залп не поражает жизненно важных органов.

– И тогда перезаряжают ружья и целются снова?

Он помедлил и добавил охрипшим голосом:

– И на это нужно время?

Его терзал страх перед физическим страданием: в его возрасте это естественно. Я же о подобных вещах не думал и обливался потом вовсе не из страха перед болью. Я встал и направился к угольной куче. Том вздрогнул и взглянул на меня с ненавистью: мои башмаки скрипели, это раздражало. Я подумал: неужели мое лицо стало таким же серым?

Небо было великолепно, свет не проникал в мой угол, стоило мне взглянуть вверх, как я увидел созвездие Большой Медведицы. Но теперь все было по-другому: раньше, когда я сидел в карцере архиепископства, я мог видеть клочок неба в любую минуту, и каждый раз оно пробуждало во мне различные воспоминания. Утром, когда небеса были пронзительно-голубыми и невесомыми, я представлял атлантические пляжи. В полдень, когда солнце было в зените, мне вспоминался севильский бар, где я когда-то попивал мансанилью, закусывая анчоусами и оливками. После полудня, когда я оказывался в тени, припоминалась глубокая тень, покрывающая половину арены, в то время как другая половина была залита солнцем; и мне грустно было видеть таким способом землю, отраженную в крохотном клочке неба. Но теперь я глядел в небо так, как хотел: оно не вызывало в памяти решительно ничего. Мне это больше нравилось. Я вернулся на место и сел рядом с Томом. Помолчали.

Через некоторое время он вполголоса заговорил. Молчать он просто не мог: только произнося слова вслух, он осознавал себя. По-видимому, он

обращался ко мне, хотя и смотрел куда-то в сторону. Он, несомненно, боялся увидеть меня таким, каким я стал, — потным и пепельно-серым: теперь мы были похожи друг на друга и каждый из нас стал для другого зеркалом. Он смотрел на бельгийца, на живого.

— Ты в состоянии это понять? — спросил он. — Я нет.

Я тоже заговорил вполголоса. И тоже поглядел на бельгийца.

— О чем ты?

— О том, что вскоре с нами произойдет такое, что не поддается пониманию. — Я почувствовал, что от Тома странно пахнет. Кажется, я стал ощущать запахи острее, чем обычно. Я съязвил:

— Ничего, скоро поймешь.

Но он продолжал в том же духе:

— Нет, это непостижимо. Я хочу сохранить мужество до конца, но я должен по крайней мере знать... Значит, так, скоро нас выведут во двор. Эти гады выстроятся против нас. Как, по-твоему, сколько их будет?

— Не знаю, может, пять, а может, восемь. Не больше.

— Ладно. Пусть восемь. Им крикнут: «На прицел!» — и я увижу восемь винтовок, направленных на меня. Мне захочется отступить к стене, я прислонюсь к ней спиной, изо всех сил попытаюсь в нее втиснуться, а она будет отталкивать меня, как в каком-то ночном кошмаре. Все это я могу представить. И знал бы ты, до чего ярко!

— Знаю, — ответил я. — Я представляю это не хуже тебя.

— Это, наверно, чертовски больно. Ведь они метят в глаза и рот, чтобы изуродовать лицо, — голос его стал злобным. — Я ощущаю свои раны, вот уже час, как у меня болит голова, болит шея. И это не настоящая боль, а хуже: это боль, которую я почувствую завтра утром. А что будет потом?

Я прекрасно понимал, что он хочет сказать, но мне не хотелось, чтобы он об этом догадался. Я ощущал такую же боль во всем теле, я носил ее в себе, как маленькие рубцы и шрамы. Я не мог к ним привыкнуть, но так же, как он, не придавал им особого значения.

— Потом? — сказал я сурово. — Потом тебя будут жрать черви.

Дальше он говорил как бы с самим собой, но при этом не сводил глаз с бельгийца. Тот, казалось, ничего не слышал. Я понимал, почему он здесь, — наши мысли его не интересовали: он пришел наблюдать за нашими телами, еще полными жизни, но уже агонизирующими.

— Это как в ночном кошмаре, — продолжал Том. — Пытаешься о чем-то думать, и тебе кажется, что у тебя выходит, что еще минута — и ты что-

то поймешь, а потом все это ускользает, испаряется, исчезает. Я говорю себе: «Потом? Потом ничего не будет». Но я не понимаю, что это значит. Порой мне кажется, что я почти понял... но тут все снова ускользает, и я начинаю думать о боли, о пулях, о залпе. Я материалист, могу тебе в этом поклясться, и, поверь, я в своем уме, и все же что-то у меня не сходится. Я вижу свой труп: это не так уж трудно, но вижу его все-таки Я, и глаза, вззирающие на этот труп, МОИ глаза. Я пытаюсь убедить себя в том, что больше ничего не увижу и не услышу, а жизнь будет продолжаться – для других. Но мы не созданы для подобных мыслей. Знаешь, мне уже случалось бодрствовать ночи напролет, ожидая чего-то. Но то, что нас ожидает, Пабло, совсем другое. Оно наваливается сзади, и быть к этому готовым попросту невозможно.

– Заткнись, – сказал я ему. – Может, позвать к тебе исповедника?

Он промолчал. Я уже заметил, что он любит пророчествовать, называть меня по имени и говорить глухим голосом. Всего этого я не выносил, но что поделаешь: ирландцы все таковы. Мне показалось, что от него разит мочой. По правде говоря, я не испытывал к Тому особой симпатии и не собирался менять своего отношения только потому, что нам предстояло умереть вместе, – мне этого было недостаточно. Я знал людей, с которыми все было бы иначе. К примеру, Рамона Гриса. Но рядом с Хуаном и Томом я чувствовал себя одиноким. Впрочем, меня это устраивало: будь тут Рамон, я бы, вероятно, раскис. А так я был тверд и рассчитывал остаться таким до конца. Том продолжал рассеянно жевать слова. Было совершенно очевидно: он говорил только для того, чтобы помешать себе думать. Теперь от него несло мочой, как от старого простатика. Но вообще-то я был с ним вполне согласен; все, что он сказал, наверняка мог бы сказать и я: умирать противоестественно. С той минуты, как я понял, что мне предстоит умереть, все вокруг стало мне казаться противоестественным: и гора угольной крошки, и скамья, и паскудная рожа Педро. Тем не менее я не хотел об этом думать, хотя прекрасно понимал, что всю эту ночь мы будем думать об одном и том же, вместе дрожать и вместе истекать потом. Я искоса взглянул на него, и впервые он показался мне странным: лицо его было отмечено смертью. Гордость моя была уязвлена: двадцать четыре часа я провел рядом с Томом, я его слушал, я с ним говорил и все это время был уверен, что мы с ним совершенно разные люди. А теперь мы стали похожи друг на друга, как близнецы, и только потому, что нам предстояло вместе подохнуть. Том взял меня за руку и сказал, глядя куда-то мимо:

– Я спрашиваю себя, Пабло... я спрашиваю себя ежеминутно: неужели мы исчезнем бесследно?

Я высвободил руку и сказал ему:

– Погляди себе под ноги, свинья.

У ног его была лужа, капли стекали по штанине.

– Что это? – пробормотал он растерянно.

– Ты напустил в штаны, – ответил я.

– Вранье! – прокричал он в бешенстве. – Вранье! Я ничего не чувствую.

Подошел бельгиец, лицемерно изображая сочувствие:

– Вам плохо?

Том не ответил. Бельгиец молча смотрел на лужу.

– Не знаю, как это вышло, – голос Тома стал яростным. – Но я не боюсь. Клянусь чем угодно, не боюсь!

Бельгиец молчал. Том встал и отправился мочиться в угол. Потом он вернулся, застегивая ширинку, снова сел на скамью и больше не проронил ни звука. Бельгиец принялся за свои записи.

Мы смотрели на него. Все трое. Ведь он был живой! У него были жесты живого, заботы живого: он дрожал от холода в этом подвале, как и подобает живому, его откормленное тело повиновалось ему беспрекословно. Мы же почти не чувствовали наших тел, а если и чувствовали, то не так, как он. Мне захотелось пощупать свои штаны ниже ширинки, но я не решался это сделать. Я смотрел на бельгийца, хозяина своих мышц, прочно стоящего на своих гибких ногах, на человека, которому ничто не мешает думать о завтрашнем дне. Мы были по другую сторону – три обескровленных призрака, мы глядели на него и высасывали его кровь, как вампиры. Тут он подошел к маленькому Хуану. Трудно сказать, отчего ему вздумалось погладить мальчика по голове, возможно, из каких-то профессиональных соображений, а может, в нем проснулась инстинктивная жалость. Если так, то это случилось единственный раз за ночь. Он потрепал Хуана по голове и шее, мальчик не сопротивился, не сводя с него глаз, но внезапно схватил его руку и уставился на нее с диким видом. Он зажал руку бельгийца между ладонями, и в этом зрелище не было ничего забавного: пара серых щипцов, а между ними холеная розоватая рука. Я сразу понял, что должно произойти, и Том, очевидно, тоже, но бельгиец видел в этом лишь порыв благодарности и продолжал отечески улыбаться. И вдруг мальчик поднес эту пухлую розовую руку к губам и попытался укунить ее. Бельгиец резко вырвал руку и,

споткнувшись, отскочил к стене. С минуту он глядел на нас глазами, полными ужаса: наконец-то до него дошло, что мы не такие люди, как он. Я расхохотался, один из охранников так и подскочил от неожиданности. Другой продолжал спать, через полузакрытые веки поблескивали белки. Я чувствовал себя усталым и перевозбужденным. Мне больше не хотелось думать о том, что произойдет на рассвете, не хотелось думать о смерти. Все равно ее нельзя было соотнести ни с чем, а слова были пусты и ничего не значили. Но как только я попытался думать о чем-то стороннем, я отчетливо увидел нацеленные на меня ружейные дула. Не менее двадцати раз я мысленно пережил свой расстрел, а один раз мне даже почудилось, что это происходит наяву: видимо, я слегка прикорнул. Меня тащили к стене, я отбивался и молил о пощаде. Тут я разом проснулся и взглянул на бельгийца: я испугался, что мог во сне закричать. Но бельгиец спокойно поглаживал свои усики, он явно ничего не заметил. Если бы я захотел, то мог бы малость вздремнуть: я не смыкал глаз двое суток и был на пределе. Но мне не хотелось терять два часа жизни: они растолкают меня на рассвете, выведут обалдевшего от сна во двор и прихлопнут так быстро, что я не успею даже пикнуть. Этого я не хотел, я не хотел, чтоб меня прикончили, как животное, сначала я должен уяснить, в чем суть. И потом — я боялся кошмаров. Я встал, прошелся взад-вперед, чтобы переменить мысли, попытался припомнить прошлое. И тут меня беспорядочно обступили воспоминания. Они были всякие: и хорошие и дурные. Во всяком случае, такими они мне казались до. Мне припомнились разные случаи, промелькнули знакомые лица. Я снова увидел лицо молоденького новильеро, которого вскинул на рога бык во время воскресной ярмарки в Валенсии, я увидел лицо одного из своих дядюшек, лицо Рамона Гриса. Я вспомнил, как три месяца шатался без работы в двадцать шестом году, как буквально подыхал с голоду. Я вспомнил скамейку в Гранаде, на которой однажды переночевал: три дня у меня не было ни крохи во рту, я бесился, я не хотел умирать. Припомнив все это, я улыбнулся. С какой ненасытной жадностью охотился я за счастьем, за женщинами, за свободой. К чему? Я хотел быть освободителем Испании, преклонялся перед Пи-и-Маргалем, я примкнул к анархистам, выступал на митингах; все это я принимал всерьез, как будто смерти не существовало. В эти минуты у меня было такое ощущение, как будто вся моя жизнь была передо мной как на ладони, и я подумал: какая гнусная ложь! Моя жизнь не стоила ни гроша, ибо она была заранее обречена. Я спрашивал себя: как я мог слоняться по улицам, волочиться за женщинами; если б я только мог предположить, что

сгину подобным образом, я не шевельнул бы и мизинцем. Теперь жизнь была закрыта, завязана, как мешок, но все в ней было не закончено, не завершено. Я уже готов был сказать: и все же это была прекрасная жизнь. Но как можно оценивать набросок, черновик – ведь я ничего не понял, я выписывал векселя под залог вечности. Я ни о чем не сокрушался, хотя было множество вещей, о которых я мог бы пожалеть, к примеру мансанилья или купанье в крохотной бухточке неподалеку от Кадиса, но смерть лишила все это былого очарования.

Внезапно бельгийцу пришла в голову блестящая мысль.

– Друзья мои, – сказал он, – я готов взять на себя обязательство – если, конечно, военная администрация будет не против – передать несколько слов людям, которые вам дороги...

Том пробурчал:

– У меня никого нет.

Я промолчал. Том выждал мгновение, потом с любопытством спросил:

– Как, ты ничего не хочешь передать Конче?

– Нет.

Я не выносил подобных разговоров. Но тут, кроме себя, мне некого было винить: я говорил ему о Конче накануне, хотя обязан был сдержаться. Я пробыл с ней год. Еще вчера я положил бы руку под топор ради пятиминутного свидания с ней. Потому-то я и заговорил о ней с Томом – это было сильнее меня. Но сейчас я уже не хотел ее видеть, мне было бы нечего ей сказать. Я не хотел бы даже обнять ее: мое тело внушало мне отвращение, потому что оно было землисто-серым и липким, и я не уверен, что такое же отвращение мне не внушило бы и ее тело. Узнав о моей смерти, Конча заплачет, на несколько месяцев она утратит вкус к жизни. И все же умереть должен именно Я. Я вспомнил ее прекрасные нежные глаза: когда она смотрела на меня, что-то переходило от нее ко мне. Но с этим было покончено: если бы она взглянула на меня теперь, ее взгляд остался бы при ней, до меня он бы просто не дошел. Я был одинок.

Том тоже был одинок, но совсем по-другому. Он присел на корточки и с какой-то удивленной полуулыбкой стал разглядывать скамью. Он прикоснулся к ней рукой так осторожно, как будто боялся что-то разрушить, потом отдернул руку и вздрогнул. На месте Тома я не стал бы развлекаться разглядыванием скамьи, скорее всего, это была все та же ирландская комедия. Но я тоже заметил, что предметы стали выглядеть

как-то странно: они были более размытыми, менее плотными, чем обычно. Стоило мне посмотреть на скамью, на лампу, на кучу угольной крошки, как становилось ясно, — меня не будет. Разумеется, я не мог четко представить свою смерть, но я видел ее повсюду, особенно в вещах, в их стремлении отдалиться от меня и держаться на расстоянии — они это делали неприметно, тишком, как люди, говорящие шепотом у постели умирающего. И я понимал, что Том только что нащупал на скамье СВОЮ смерть. Если бы в ту минуту мне даже объявили, что меня не убьют и я могу преспокойно отправиться восвояси, это не нарушило бы моего безразличия: ты утратил надежду на бессмертие, какая разница, сколько тебе осталось ждать — несколько часов или несколько лет. Теперь меня ничто не привлекало, ничто не нарушало моего спокойствия. Но это было ужасное спокойствие, и виной тому было мое тело: глаза мои видели, уши слышали, но это был не я — тело мое одиноко дрожало и обливало потом, я больше не узнавал его. Оно было уже не мое, а чье-то, и мне приходилось его ощупывать, чтобы узнать, чем оно стало. Временами я его все же ощущал, меня охватывало такое чувство, будто я куда-то соскальзываю, падаю, как пикирующий самолет, я чувствовал, как бешено колотится мое сердце. Это меня отнюдь не утешало: все, что было связано с жизнью моего тела, казалось мне каким-то липким, мерзким, двусмысленным. Но в основном оно вело себя смирно, и я ощущал только странную тяжесть, как будто к груди моей прижалась какая-то странная гадина; мне казалось, что меня обвивает гигантский червяк. Я пощупал штаны и убедился, что они сырые: я так и не понял, пот это или моча, но на всякий случай помочился на угольную кучу.

Бельгиец вынул из кармана часы и взглянул на них. Он сказал:

— Половина четвертого.

Сволочь, он сделал это специально! Том так и подпрыгнул — мы как-то забыли, что время идет: ночь обволакивала нас своим зыбким сумраком, и я никак не мог вспомнить, когда она началась.

Маленький Хуан начал голосить. Он заламывал руки и кричал:

— Я не хочу умирать, не хочу умирать!

Простирая руки, он бегом пересек подвал, рухнул на циновку и зарыдал. Том взглянул на него помутневшими глазами: чувствовалось, что у него нет ни малейшего желания утешать. Да это было и ни к чему: хотя мальчик шумел больше нас, его страдание было менее тяжким. Он вел себя как больной, который спасается от смертельной болезни лихорадкой. С нами было куда хуже.

Он плакал, я видел, как ему было жалко себя, а о самой смерти он, в сущности, не думал. На мгновение, на одно короткое мгновение мне показалось, что я заплачу тоже, и тоже от жалости к себе. Но случилось обратное: я взглянул на мальчика, увидел его худые вздрагивающие плечи и почувствовал, что стал бесчеловечным — я был уже не в состоянии пожалеть ни себя, ни другого. Я сказал себе: ты должен умереть достойно.

Том поднялся, стал как раз под открытым люком и начал всматриваться в светлеющее небо. Я же продолжал твердить: умереть достойно, умереть достойно, больше я ни о чем не думал. Но с того момента, как бельгиец напомнил нам о времени, я невольно ощущал, как оно течет, течет и утекает капля за каплей. [...]

Я остался один. Мне было не ясно, что происходит, я предпочел бы, чтоб они покончили со всем этим сразу. До меня доносились залпы, промежутки между ними были почти одинаковы. И каждый раз я вздрагивал. Хотелось выть и рвать на себе волосы. Но я стиснул зубы и сунул руки в карманы: надо держаться. Через час за мной пришли и провели на первый этаж в маленькую комнату, где пахло сигарами и было так душно, что я едва не задохся. Два офицера покуривали, развалиясь в креслах, на коленях у них были разложены бумаги.

— Твоя фамилия Иббиета?

— Да.

— Где скрывается Рамон Грис?

— Не знаю.

Тот, что меня спрашивал, был толстенький коротышка. Глаза его жестко всматривались в меня из-под очков. Он сказал:

— Подойди.

Я подошел. Он поднялся и посмотрел на меня так свирепо, будто хотел, чтоб я провалился в преисподнюю, и начал выкручивать мне руки. Он делал это вовсе не потому, что желал причинить мне боль, он просто играл: ему было необходимо ощущать себя властелином. Он приблизил свое лицо и обдавал меня гнилостным дыханием. Это продолжалось с минуту, и я едва удерживался от смеха. Для того чтобы испугать человека, который сейчас умрет, нужно что-нибудь посильнее, так что тут он сыграл довольно слабо. Потом он резко оттолкнул меня и снова сел. Он сказал:

— Или ты, или он. Если скажешь, где он, будешь жить.

И все же этим типам в их галстуках и сапожищах тоже предстояло помереть. Правда, позже, чем мне, но, в сущности, не намного. Они выуживали из своих бумаг какие-то имена, они гонялись за людьми, чтобы

посадить их или расстрелять; у них были свои взгляды на будущее Испании и на многое другое. Их деловитая прыть корбила меня и казалась комичной, они выглядели спятившими, и я не хотел бы оказаться на их месте.

Смехотворный толстяк-коротышка неотрывно смотрел на меня, похлопывая хлыстом по сапогу. Все его движения были точно рассчитаны – ему хотелось производить впечатление лютого зверя.

– Ну что, ты понял?

– Мне неизвестно, где сейчас Грис, – ответил я. – Может, в Мадриде.

Другой офицер вяло поднял руку. И эта вялость тоже была рассчитанной. Я отлично видел все их загодя продуманные приемы и поражаюсь, что находятся люди, которым все это доставляет удовольствие.

– Мы даем вам четверть часа на размышление, – сказал он, – отведите его в бельевую, через четверть часа приведите обратно. Если будет запереться, расстреляйте немедленно.

Сволочи, они знали, что делают: я провел в ожидании ночь, потом меня заставили просидеть еще час в подвале, пока расстреливали Хуана и Тома, а теперь они намеревались запереть меня в бельевой – несомненно, они подготовили эту штуку еще вчера. Они решили, что нервы мои не выдержат всех этих проволочек и я сломаюсь. Но тут они дали маху. Разумеется, я знал, где скрывается Грис. Он прятался у своих двоюродных братьев, в четырех километрах от города. Так же хорошо я знал, что не выдам его убежище, если только они не начнут меня пытаться (но, кажется, они об этом не помышляли). Все это было для меня стопроцентно ясно, не вызывало сомнений и, в общем,нисколько не интересовало. И все же мне хотелось понять, почему я веду себя так, а не иначе. Почему я предпочитаю сдохнуть, но не выдать Рамона Гриса? Почему? Ведь я больше не любил Рамона. Моя дружба к нему умерла на исходе ночи – тогда же, когда умерли моя любовь к Конче и мое желание жить. Конечно, я всегда его уважал: это был человек стойкий. И все-таки вовсе не потому я согласился умереть вместо него: его жизнь стоила мне дороже моей – любая жизнь не стоит ни гроша. Когда человека толкают к стене и палат по нему, пока он не издохнет, кто бы это ни был – я, или Рамон Грис, или кто-то третий, – все в принципе равноценно. Я прекрасно знал, что он был нужнее Испании, но теперь мне было начхать и на Испанию, и на анархизм: ничто больше не имело значения. И все-таки я здесь, я могу спасти свою шкуру, выдав Рамона Гриса, но я этого не делаю. Мое ослиное упрямство казалось мне почти забавным. Я подумал: «Ну можно ли быть

таким болваном!» Я даже как-то развеселился. За мной снова пришли и повели в ту же комнату. У ног моих прошмыгнула крыса, это меня тоже позабавило. [...]

– Ну что, – спросил толстяк, – ты надумал?

Я взглянул на него с любопытством, как смотрят на редкостное насекомое, и ответил:

– Да, я знаю, где он. Он прячется на кладбище. В склепе или в домике сторожа.

Мне захотелось напоследок разыграть их. Я хотел поглядеть, как они вскочат, нацепят свои портупей и станут с деловым видом сыпать приказами. Они действительно повскакивали с мест.

Они с грохотом выскочили из комнаты, а я остался мирно сидеть под охраной фалангистов. Время от времени я ухмылялся: забавно было представлять, как они мчатся во весь опор к кладбищу. Мне казалось, что я поступил очень остроумно. Я живо представлял, как они распахивают двери склепов, приподымают могильные камни. Я видел все это сторонним взглядом: упрямый арестант, вздумавший корчить из себя героя, солидные усатые фалангисты и люди в военной форме, шныряющие среди могил, – поистине уморительная картина. Через полчаса толстяк вернулся. Я подумал: сейчас он прикажет меня расстрелять. Остальные, очевидно, остались на кладбище. Но офицер внимательно поглядел на меня. Он вовсе не выглядел одураченным.

– Отведите его на главный двор, к остальным, – сказал он. – После окончания боевых действий его судьбу решит трибунал. [...]

Он молча передернул плечами, солдаты увели меня. На общем дворе толпилось около сотни арестованных: старики, дети. В полном недоумении я принялся бродить вокруг центральной клумбы. В полдень нас повели в столовую. Двое или трое пытались со мной заговорить. Очевидно, мы были знакомы, но я им не отвечал: я больше не понимал, где я и что. К вечеру во двор втолкнули дюжину новых арестантов. Среди них я узнал булочника Гарсиа. Он крикнул мне:

– А ты везучий! Вот уж не думал увидеть тебя живым.

– Они приговорили меня к расстрелу, – отозвался я, – а потом передумали. Не могу понять почему.

Он понизил голос: – Грис попался.

Я вздрогнул. – Когда?

– Сегодня утром. Он свалил дурака. В среду вдрызг разругался с братцем и ушел от него. Желających его приютить было хоть отбавляй, но

он никого не захотел ставить под удар. Он сказал мне: «Я бы спрятался у Иббиеты, но раз его арестовали, спрячусь на кладбище».

– На кладбище?

– Да. Нелепая затея. А сегодня утром они туда нагрянули. Накрыли его в домике сторожа. Грис отстреливался, и они его прихлопнули.

«На кладбище!». Перед глазами у меня все поплыло, я рухнул на землю. Я хохотал так неудержимо, что из глаз хлынули слезы.

Камю А. Миф о Сизифе.

Автор: Альберт Камю (род 07.11.1913 Мондови, ныне Дреан, Алжир – ум. 04.01.1960 Вильблевен, Франция).

Источник: Рассказ «Миф о Сизифе» опубликован в 1943 г.

Вопросы для обсуждения

- 1) *Почему человеческое существование часто представляется абсурдным?*
- 2) *Как абсурдность человеческой жизни связана с ее осознанностью?*
- 3) *Что такое судьба?*
- 4) *Возможно ли совместить в жизни предопределение и свободу?*

Боги приговорили Сизифа поднимать огромный камень на вершину горы, откуда эта глыба неизменно скатывалась вниз. У них были основания полагать, что нет кары ужасней, чем бесполезный и безнадешный труд. Если верить Гомеру, Сизиф был мудрейшим и осмотрительнейшим из смертных. Правда, согласно другому источнику, он промышлял разбоем. Я не вижу здесь противоречия. Имеются различные мнения о том, как он стал вечным тружеником ада. Его упрекали прежде всего за легкомысленное отношение к богам. Он разглашал их секреты. Эгипа, дочь Асона, была похищена Юпитером. Отец удивился этому исчезновению и пожаловался Сизифу. Тот, зная о похищении, предложил Асопу помощь, при условии, что Асоп даст воду цитадели Коринфа. Небесным молниям он предпочел благословение земных вод. Наказанием за это стали адские муки. Гомер рассказывает также, что Сизиф заковал в кандалы Смерть. Плутон не мог вынести зрелища своего опустевшего и затихшего царства. Он послал бога войны, который вызволил Смерть, из рук ее победителя.

Говорят также, что, умирая, Сизиф решил испытать любовь жены и приказал ей бросить его тело на площади без погребения. Так Сизиф оказался в аду. Возмущившись столь чуждым человеколюбию послушанием, он получил от Плутона разрешение вернуться на землю, дабы наказать жену. Но стоило ему вновь увидеть облик земного мира, ощутить воду, солнце, теплоту камней и море, как у него пропало желание возвращаться в мир теней. Напоминания, предупреждения и гнев богов были напрасны. Многие годы он продолжал жить на берегу залива, где

шумело море, и улыбалась земля. Потребовалось вмешательство богов. Явился Меркурий, схватил Сизифа за шиворот и силком утащил в ад, где его уже поджидал камень.

Уже из этого понятно, что Сизиф – абсурдный герой. Такой он и в своих страстях, и в страданиях. Его презрение к богам, ненависть к смерти и желание жить стоили ему несказанных мучений – он вынужден бесцельно напрягать силы. Такова цена земных страстей. Нам неизвестны подробности пребывания Сизифа в преисподней. Мифы созданы для того, чтобы привлекать наше воображение. Мы можем представить только напряженное тело, силящееся поднять огромный камень, покатить его, взобраться с ним по склону; видим сведенное судорогой лицо, прижатую к камню щеку, плечо, удерживающее покрытую глиной тяжесть, оступающуюся ногу, вновь и вновь поднимающие камень руки с измазанными землей ладонями. В результате долгих и размеренных усилий, в пространстве без неба, во времени без начала и до конца, цель достигнута. Сизиф смотрит, как в считанные мгновения камень скатывается к подножию горы, откуда его опять придется поднимать к вершине. Он спускается вниз. Сизиф интересуется меня во время этой паузы. Его изможденное лицо едва отличимо от камня! Я вижу этого человека, спускающегося тяжелым, но ровным шагом к страданиям, которым нет конца. В это время вместе с дыханием к нему возвращается сознание, неотвратимое, как его бедствия. И в каждое мгновение, спускаясь с вершины в логово богов, он выше своей судьбы. Он тверже своего камня.

Этот миф трагичен, поскольку его герой наделен сознанием. О какой каре могла бы идти речь, если бы на каждом шагу его поддерживала надежда на успех? Сегодняшний рабочий живет так всю свою жизнь, и его судьба не менее трагична. Но сам он трагичен лишь в те редкие мгновения, когда к нему возвращается сознание. Сизиф, пролетарий богов, бессильный и бунтующий, знает о бесконечности своего печального удела; о нем он думает вовремя спуска. Ясность видения, которая должна быть его мукой, обращается в его победу. Нет судьбы, которую не превозмогло бы презрение.

Иногда спуск исполнен страданий, но он может проходить и в радости. Это слово уместно. Я вновь представляю себе Сизифа, впускающегося к своему камню. В начале были страдания. Когда память наполняется земными образами, когда непереносимым становится желание счастья, бывает, что к сердцу человека подступает печаль: это победа камня, это сам камень. Слишком тяжело нести безмерную ношу скорби.

Таковы наши ночи в Гефсиманском саду. Но сокрушающие нас истины отступают, как только мы распознаем их. Так Эдип сначала подчинялся судьбе, не зная о ней. Трагедия начинается вместе с познанием. Но в то же мгновение слепой и отчаявшийся Эдип сознает, что единственной связью с миром остается для него нежная девичья рука. Тогда-то и раздается его высокомерная речь: «Несмотря на все невзгоды, преклонный возраст и величие души заставляют меня сказать, что все Хорошо» . Эдип у Софокла, подобно Кириллову у Достоевского, дает нам формулу абсурдной победы. Античная мудрость соединяется с современным героизмом.

Перед тем, кто открыл абсурд, всегда возникает искушение написать нечто вроде учебника счастья. «Как, следуя, по столь узкому пути?..». Но мир всего лишь один, счастье и абсурд являются порождениями одной и той же земли. Они неразделимы. Было бы ошибкой утверждать, что счастье рождается непременно из открытия абсурда. Может случиться, что чувство абсурда рождается из счастья. «Я думаю, что все хорошо», – говорит Эдип, и эти слова священны. Они раздаются в суровой и конечной вселенной человека. Они учат, что это не все, еще не все исчерпано. Они изгоняют из этого мира бога, вступившего в него вместе с неудовлетворенностью и тягой к бесцельным страданиям. Они превращают судьбу в дело рук человека, дело, которое должно решаться среди людей.

В этом вся тихая радость Сизифа. Ему принадлежит его судьба. Камень – его достояние. Точно так же абсурдный человек, глядя на свои муки, заставляет умолкнуть идолов. В неожиданно притихшей вселенной слышен шепот тысяч тонких восхитительных голосов, поднимающихся от земли. Это бессознательный, тайный зов всех образов мира – такова изнанка и такова цена победы. Солнца нет без тени, и необходимо познать ночь. Абсурдный человек говорит «да» – и его усилиям более нет конца. Если и есть личная судьба, то это отнюдь не предопределение свыше, либо, в крайнем случае, предопределение сводится к тому, как о нем судит сам человек: оно фатально и достойно презрения. В остальном он сознает себя властелином своих дней. В неумолимое мгновение, когда человек оборачивается и бросает взгляд на прожитую жизнь, Сизиф, вернувшись к камню, созерцает бессвязную последовательность действий, ставшую его судьбой. Она была сотворена им самим, соединена в одно целое его памятью и скреплена смертью. Убежденный в человеческом происхождении всего человеческого, желающий видеть и знающий, что

ночи не будет конца, слепец продолжает путь. И вновь скатывается камень.

Я оставляю Сизифа у подножия его горы! Ноша всегда найдется. Но Сизиф учит высшей верности, которая отвергает богов и двигает камни. Он тоже считает, что все хорошо. Эта вселенная, отныне лишенная властелина, не кажется ему ни бесплодной, ни ничтожной. Каждая крупинка камня, каждый отблеск руды на полночной горе составляет для него целый мир. Одной борьбы за вершину достаточно, чтобы заполнить сердце человека. Сизифа следует представлять себе счастливым.

Маяковский В.В. Лиличка! Вместо письма.

Автор: Владимир Владимирович Маяковский (род. 7.07.1893, г. Багдати, Грузия – 14.04.1930, Москва).

Источник: Стихотворение «Лиличка! Вместо письма» написано в 1916 г.

Дым табачный воздух выел.
Комната –
глава в крученыховском аде.
Вспомни –
за этим окном
впервые
руки твои, исступленный, гладил.
Сегодня сидишь вот,
сердце в железе.
День еще –
выгонишь,
может быть, изругав.
В мутной передней долго не влезет
сломанная дрожью рука в рукав.
Выбегу,
тело в улицу брошу я.
Дикий,
обезумлюсь,
отчаяньем иссечась.
Не надо этого,
дорогая,
хорошая,
дай простимся сейчас.
Все равно
любовь моя –
тяжкая гиря ведь –
висит на тебе,
куда ни бежала б.
Дай в последнем крике выреветь
горечь обиженных жалоб.
Если быка трудом уморят –

он уйдет,
разляжется в холодных водах.
Кроме любви твоей,
мне
нету моря,
а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых.
Захочет покоя уставший слон –
царственный ляжет в опожаренном песке.
Кроме любви твоей,
мне
нету солнца,
а я и не знаю, где ты и с кем.
Если б так поэта измучила,
он
любимую на деньги б и славу выменял,
а мне
ни один не радостен звон,
кроме звона твоего любимого имени.
И в пролет не брошусь,
и не выпью яда,
и курок не смогу над виском нажать.
Надо мною,
кроме твоего взгляда,
не властно лезвие ни одного ножа.
Завтра забудешь,
что тебя короновал,
что душу цветущую любовью выжег,
и суетных дней взметенный карнавал
растреплет страницы моих книжек...
Слов моих сухие листья ли
заставят остановиться,
жадно дыша?
Дай хоть
последней нежностью выстелить
твой уходящий шаг.

ЧАСТЬ 3. ПОЗНАНИЕ И ИСТИНА. СТАТУС НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

В данной части пособия представлена проблематика двух больших и очень сложных разделов философского знания: классической гносеологии и философии науки, появившейся только в XX веке. В гносеологии центральное место занимает феномен познания, специфика познавательной деятельности человека, анализ многообразия форм, видов и уровней познания, и, конечно, особое значение придается проблеме истины. Философия науки основное внимание уделяет специфике научного познания, проблеме демаркации, разграничению научного и ненаучного знания, выявлению критериев научности, а также анализу механизмов динамики научного знания, рассмотрению науки как социального института, ее социальных функций. На современном этапе одной из наиболее дискуссионных тем, выходящих далеко за пределы философии науки, является социально-этическая ответственность ученых, роль науки в решении глобальных проблем, стоящих перед человечеством.

На наш взгляд в художественной литературе наиболее интересно и полезно для философии (с методической точки зрения) представлены, прежде всего, проблемы границ познания и истины, которые находятся в центре внимания всех мыслящих людей на протяжении тысячелетий, и роль науки, ученых в социально-историческом процессе (особенное место здесь занимает научно-фантастическая литература). Для иллюстрации данных тематических областей были выбраны работы К. Кастанеды, М. Турнье, У. Эко и О. Хаксли.

Кастанеда К. Особая реальность.

Автор: Карлос Кастанеда (род. 25.12.1935? , Бразилия? – ум. 27.04.1998 Лос-Анджелес, США)

Источник: «Особая реальность» опубликована в 1971 г.

Вопросы для обсуждения

1) Может ли быть познание самодостаточной ценностью и смыслом человеческой жизни?

2) Как «углубленное» познания влияют на нашу жизнь, наше отношение к людям и миру в целом?

3) В чем заключается разница между знанием и пониманием?

4) Возможно ли нерациональное / внерациональное познание?

– Дон Хуан, сколько раз ты говорил: колдун не может позволять себе глупостей. Я не предполагал, что ты способен на них.

Дон Хуан пристально глянул на меня, встал, посмотрел на Элихио, потом на Лусио и нахлобучил шляпу.

– Видишь ли, иногда есть смысл упорствовать, даже когда понимаешь, что это бесполезно, – сказал он улыбаясь. – Но сперва надо понять, что твои действия бесполезны, а потом поступать так, будто этого не знаешь. Мы, брухо, называем это управляемой глупостью. [...]

– Дон Хуан, – спросил я, – не мог бы ты подробнее рассказать об управляемой глупости?

– Что именно ты хочешь узнать?

– Пожалуйста, расскажи, что это такое.

Дон Хуан громко рассмеялся и хлопнул себя по ляжке.

– Ведь мы как раз об этом и говорим! – И снова хлопнул.

– Извини, я не понял.

– Очень рад, что через столько лет ты наконец захотел узнать, что такое управляемая глупость.

А ведь не спроси ты о ней, я бы ничуть не огорчился. И все же я рад – как будто мне в самом деле важно, спросишь ты или нет. Вот это и есть управляемая глупость!

Мы оба расхохотались. Я обнял дону Хуана. Его объяснение привело меня в восторг, хотя я не совсем его понял.

Мы сидели, как обычно, возле дома, у двери. Было около девяти утра. Высыпав перед собой кучу семян, дон Хуан выбирал из них сор. Я

вызвался ему помочь, но он решительно отказался. Объяснил, что это подарок для приятеля из Центральной Мексики и я не должен прикасаться к семенам, потому что не обладаю достаточной силой. После долгого молчания я спросил:

– Дон Хуан, а к кому ты применяешь управляемую глупость?

– К кому угодно, – улыбнулся он.

– И когда же ею пользуешься?

– Только ею и пользуюсь. Всегда.

Мне нужно было разобраться во всем, и я спросил, не означает ли это, что поступки дона Хуана – не вполне искренни, нечто вроде актерской игры.

– Мои поступки искренни, – ответил он, – но они всего лишь актерская игра.

– Выходит, все, что ты делаешь, – управляемая глупость? – удивился я.

– Именно так, – подтвердил он.

– Не верю, – запротестовал я. – Не верю, что все твои поступки – лишь управляемая глупость.

– Почему бы и нет? – загадочно взглянул он на меня.

– Потому что тогда тебе было бы на все наплевать, в том числе и на меня. Разве тебя не волнует, стану я человеком знания или нет, буду жить или умру?

– Представь себе, не волнует! Мои отношения с тобой, с Лусио, с кем угодно – все это управляемая глупость.

Я вдруг почувствовал полную опустошенность. В самом деле, с какой стати я должен волновать дона Хуана? Но, с другой стороны, если я не интересую его как личность, зачем он уделяет мне столько внимания? Может быть, он высказался так потому, что сердится на меня? Как-никак я бросил ученичество.

– Кажется, мы говорим о разных вещах, – сказал я. – Зря я привел себя в качестве примера. Я хотел сказать, что должно существовать нечто такое, к чему ты относишься абсолютно серьезно. По-моему, если все безразлично, то и жить незачем.

– Это верно для тебя, – сказал дон Хуан. – Ты различаешь важное и неважное. Ты спросил, что такое управляемая глупость, и я ответил: все мои поступки – глупость, потому что все безразлично.

– Но если все безразлично, как же ты живешь?

Он улыбнулся. Помолчал, словно решая, отвечать или нет, встал и направился на задний двор. Я двинулся следом.

– Погоди, дон Хуан, – настаивал я. – Мне бы хотелось, чтобы ты объяснил свои слова.

– Вряд ли это объяснишь, – сказал он. – Для тебя значение того или иного в жизни определяется тем, насколько это, по-твоему, важно. А для меня ничто не важно; я не придаю значения ни своим действиям, ни действиям других. А жить продолжаю потому, что у меня есть воля. Я закалял ее всю жизнь. Теперь моя воля стала цельной и безупречной, и мне не важно, что нет ничего важного. Моя воля управляет глупостью моей жизни.

Он присел на корточки и стал перебирать траву, разложенную на куске рогожи.

Я был сбит с толку. Такого направления разговора я никак не мог предвидеть. Поразмыслив немного, я сказал дону Хуану, что, по-моему, некоторые человеческие поступки имеют огромную важность. Самый впечатляющий пример – атомная война. Уничтожение жизни на Земле – разве это безумие ничего не значит?

– Это по-твоему, – сказал дон Хуан. – Ты о жизни думаешь, но не видишь.

– А если бы видел, то воспринимал бы все иначе?

– Научившись видеть, человек обнаруживает, что он в мире – один, и у него ничего, кроме глупости, нет.

Дон Хуан замолчал и взглянул на меня так, словно хотел узнать, какое впечатление произвели его слова.

– Твои поступки, как и поступки твоих ближних, представляются тебе важными потому, что ты научился думать, будто они важны.

Он произнес слово «научился» с такой интонацией, что мне снова пришлось просить разъяснений.

Дон Хуан оторвался от растений и посмотрел на меня.

– Сначала мы учимся обо всем думать, – сказал он, – а потом приучаемся смотреть на вещи так, как мы о них думаем. Мы думаем о своей значительности – и в результате начинаем ощущать ее. Но если человек научился видеть, ему не надо учиться думать о вещах, он воспринимает их непосредственно. А раз он о них не думает, они утрачивают для него свою важность.

Заметив мой удивленный взгляд, дон Хуан трижды повторил свои слова, чтобы их смысл лучше дошел до меня. Сказанное показалось мне

чепухой, но после некоторого размышления представилось изощренным высказыванием об определенном аспекте восприятия. Я попытался подыскать вопрос, который заставил бы Дона Хуана выразиться понятнее, но так ничего и не придумал. Я выдохся и не мог сформулировать свои мысли четко. [...]

– Твои слова об управляемой глупости лишили меня покоя. Я так и не могу понять, что ты имел в виду.

– Неудивительно, – согласился он. – Ты думаешь об этом, и мои слова не соответствуют твоим мыслям.

– Конечно, думаю, – сказал я. – А как еще можно что-либо понять? Что, например, значат твои слова: если человек научился видеть, все для него становится никчемным.

– Я не говорил – никчемным, я сказал – неважным. Все уравнивается, одно оказывается не важнее другого. Я не могу, например, сказать, что мои действия важнее твоих, или что одна вещь необходимее другой. Все они равны, а значит, и ничего нет важного.

Я спросил, следует ли понимать его слова так: то, что он называет «видеть», – намного лучше, чем просто «смотреть».

Дон Хуан ответил: наши глаза способны и на то, и на другое, и одно не лучше другого. Но, по его мнению, приучать глаза только смотреть – значит обкрадывать себя.

– Например, чтобы смеяться, надо смотреть, – сказал он, – потому что, только когда мы смотрим, мы способны воспринимать смешные стороны вещей. Когда же видим, все становится равнозначным и потому – не смешным.

– Значит, тот, кто видит, вообще не смеется?

Старик помолчал.

– Быть может, и есть люди знания, которые никогда не смеются, – сказал он, – но я таких не знаю. Те, кого я знаю, могут и видеть, и смотреть, и поэтому способны смеяться.

– А может человек знания плакать?

– Почему бы и нет? Раз наши глаза смотрят, значит, мы можем смеяться, плакать, веселиться, грустить, быть счастливыми. Сам я грустить не люблю, и если встречаю что-то, способное меня опечалить, то просто меняю зрение: не смотрю, а вижу. Но если сталкиваюсь с чем-то смешным, тогда смотрю – и смеюсь.

– В таком случае ты смеешься искренне, и, значит, твой смех – не есть управляемая глупость.

Дон Хуан пристально посмотрел на меня. [...]

– Мой смех, как и все, что я делаю, – настоящий, – сказал дон Хуан. – Но он тоже – управляемая глупость, потому что бесполезен. Смех ничего не меняет, тем не менее я смеюсь.

– Дон Хуан, но ведь твой смех не без пользы, тебе от него хорошо.

– Отнюдь. Мне хорошо потому, что я предпочитаю смотреть на вещи, которые доставляют мне удовольствие. Тогда я вижу их смешные стороны и смеюсь. Я не раз говорил тебе: чтобы достичь совершенства, человек должен выбрать путь, у которого есть сердце, и тогда он сможет часто смеяться.

Я понял это так, что плач хуже смеха; во всяком случае, он ослабляет нас. Дон Хуан ответил, что между тем и другим нет существенной разницы: плач и смех – равны. Но он предпочитает смех: посмеявшись, он чувствует себя лучше.

Я возразил: если существует предпочтение, равенства быть не может. Если он предпочитает смеяться, а не плакать, значит, смех важнее, чем слезы.

Но дон Хуан упрямо твердил, что его предпочтение вовсе не означает различия между тем и другим. Тогда я сказал, что, придерживаясь этой логики, можно задаться вопросом: если все безразлично, то почему бы не выбрать смерть?

– Многие люди знания так и поступают, – сказал дон Хуан. – Просто исчезают в один прекрасный момент. Окружающие думают, что их кто-то подкараулил и убил. Ничего подобного. Они сами выбрали смерть, – им все равно. Но я предпочитаю жить и смеяться, и не потому, что это имеет значение, а потому, что такова моя природа. Я сказал «предпочитаю», потому что вижу, но это не значит, что я выбрал; моя воля заставляет меня жить независимо от того, что я вижу. Ты не поймешь меня, ты привык мыслить так, как смотришь, и идти на поводу у мысли.

Это утверждение меня заинтересовало, и я попросил дон Хуана объяснить его смысл.

Он повторил фразу несколько раз, но по-разному, а потом пояснил, что, говоря о мышлении, он имел в виду застывшие представления обо всем на свете. «Видение» избавляет от этого, и, пока я сам не научусь «видеть», я не пойму его слов вполне.

– Но если все не важно, почему важно учиться видению? – спросил я.

– Я уже говорил тебе, – ответил он, – что предназначение человека – учиться, будь это на пользу ему или во вред. Я научился видеть и говорю:

нет ничего важного. Теперь твой черед. Возможно, когда-нибудь ты увидишь, и тогда сам узнаешь, так это или не так. Для меня ничто не важно, а для тебя, быть может, все будет важно. Пора бы усвоить: человек знания живет действием, а не размышлением о действии и не размышлением о том, что он будет думать, когда совершит действие. Человек знания избирает путь, у которого есть сердце, и идет по нему: он смотрит, радуется, смеется, он видит и познает. Он знает, что жизнь коротка, и знает, что, как и всякий другой, этот путь никуда не ведет. Он знает – ибо видит: нет ничего, что было бы важнее прочего. Иными словами, у человека знания нет ни чести, ни достоинства, ни семьи, ни родины, – есть только жизнь. И единственное, что связывает его с окружающими, – это управляемая глупость. Он тоже к чему-то стремится, пыхтит, потеет от натуги и с виду ничем не отличается от других. Кроме одного: глупость его жизни ему подвластна. Ничто для него не важно. Человек знания выбирает для себя дело и делает его так, будто действительно им увлечен. Глупость, которой он управляет, определяет то, как он говорит и как действует; но он-то знает, как все обстоит на самом деле, и потому, завершив свои дела, удаляется с миром, и ему все равно, хороши они или плохи, вышло из них что-нибудь или нет. С другой стороны, человек знания может предпочесть полное спокойствие и вообще ничего не делать, вести себя так, будто бездействие для него важнее всего. И опять же он будет прав, потому что и это – управляемая глупость. [...]

Наконец он вернулся, сел на прежнее место у огня, и я излил ему свои страхи. Я боюсь, признался я, что уже не смогу измениться. Я сказал, что не только питал к нему доверие, но и научился уважать его образ жизни, признал его более разумным, чем свой собственный, но теперь его слова повергли меня в состояние полной растерянности. Чтобы он лучше понял меня, я поведал ему об одном знакомом старике. Когда-то тот был преуспевающим юристом, поддерживал консерваторов и жил с уверенностью, что борется за правду. В начале 30-х годов, с установлением «нового курса», он с головой ринулся в политическую неразбериху того времени, полагая, что перемены вредны стране. Верный своему образу жизни и убежденный в своей правоте, он поклялся бороться с тем, что считал политическим злом. Но поток событий оказался слишком мощным. Он боролся со злом десять лет: и в сфере политики, и в своей личной жизни, – но безуспешно. Вторая мировая война нанесла ему полное поражение. Потерпев политический и идеологический крах, этот человек двадцать пять лет провел в добровольном изгнании. Когда мы встретились,

ему было восемьдесят четыре. Он вернулся в родной город, где доживал свои последние дни в доме для престарелых. Казалось невероятным, что он так много прожил, если учесть, что его жизнь была растрачена на горечь и жалость к самому себе. Почему-то ему понравилось мое общество, и мы часто и подолгу беседовали.

Наш последний разговор он закончил словами: «У меня было достаточно времени, чтобы оглянуться и оценить свою жизнь. События прежних лет превратились в историю, к тому же неинтересную. Я впустую потратил годы в погоне за нелепыми фантазиями. Они того не стоили, теперь я прекрасно это понимаю. Но сорок потерянных лет не вернешь».

Я объяснил дону Хуану, что мое смятение вызвано его словами об управляемой глупости.

– Если ничто не важно, – сказал я, – то человек знания волей-неволей приходит к той же пустоте, что и мой знакомый.

– Ничего подобного, – резко возразил дон Хуан. – Твой знакомый одинок потому, что состарился, так и не научившись видеть. Единственное, что он сделал в жизни, – это дожил до старости. Сейчас, вероятно, он жалеет себя еще больше, чем раньше. Он решил, что потратил впустую сорок лет, ибо искал победу, а нашел поражение. Но он никогда не поймет, что победа и поражение – одно и то же. Тебя испугали мои слова: «ты такой же, как прочие». Так чем же ты лучше ребенка? Предназначение человека – учиться, а к знанию идут так же, как идут на войну. Об этом я говорил сотни раз. И к знанию, и на войну человек идет со страхом, но и с полной уверенностью в себе. Доверяй себе, а не мне! Тебя испугала пустота жизни твоего знакомого. В жизни человека знания нет пустоты. Поверь мне, все в ней полно до краев.

Дон Хуан встал и протянул руки, словно ощупывая что-то невидимое.

– Все полно до краев, – повторил он, – и все равнозначно, Я не таков, как твой знакомый, который сумел лишь состариться. Когда я говорю: ничто не важно, то имею в виду совсем не то, что он. Для него борьба оказалась бессмысленной, потому что он проиграл. Для меня же не существует ни победы, ни поражения, ни пустоты – все полно до краев, все равнозначно, и потому моя борьба не напрасна. Чтобы стать человеком знания, надо быть воином, а не хнычущим ребенком. Нужно напрячь все силы и не сдаваться, идти без жалоб, не отступая, пока не научишься видеть. И тогда поймешь: ничто не важно.

Дон Хуан помешал варево деревянной ложкой. Похлебка была готова. Он снял горшок с огня и поставил на глиняную тумбу, встроенную в стену, которая служила ему и столом, и полкой; подтолкнул к ней пару ящиков, пригласил меня сесть и налил миску похлебки. Он смотрел на меня с такой радушной улыбкой, будто мое присутствие доставляет ему огромное удовольствие. Придвинул миску. В этом жесте было столько доброты и тепла, что казалось – это призыв к прежнему доверию. Стараясь заглушить в себе ответный порыв, я стал искать ложку, но не нашел. Похлебка была слишком горячей, чтобы хлебать через край. Пока она остывала, я спросил: не приводит ли управляемая глупость к тому, что человек знания не может никого любить.

Дон Хуан перестал есть и засмеялся.

– Тебя чересчур волнует твоя любовь к людям и их любовь к тебе, – сказал он. – Человек знания любит – что-то или кого-то, – если хочет. Но благодаря управляемой глупости не позволяет этому чувству овладеть им полностью. У тебя же все наоборот. Любить и быть любимым – это еще не все, на что способен человек. [...]

– По-моему, я понял, чего добивался вчера дон Хенаро, – сказал я дону Хуану. Я хотел вызвать его на разговор, упорное молчание старика меня раздражало.

Дон Хуан улыбнулся и кивнул головой, что можно было принять за внимание к моим словам, если бы не насмешливые искорки в его глазах.

– Ты мне не веришь?

– Ну почему же? Ты понял, что Хенаро все время был позади тебя. Но понять – это еще не самое главное.

Слова о том, что дон Хенаро все время был позади, поразили меня, и я попросил объяснений.

– Твой ум, – сказал дон Хуан, – устроен так, что ты воспринимаешь лишь одну сторону происходящего...

Дон Хуан подобрал с земли прутик и провел им по воздуху так, словно легонько протыкал воздух или выбирал из кучки семян сор. Обернулся ко мне. Я пожал плечами, выражая недоумение. Он подвинулся ближе и, повторив прежние движения, обозначил на земле восемь точек. Первую из них обвел.

– Ты находишься вот здесь, – указал он. – Да и все мы тоже. Это сознание; мы движемся отсюда – сюда. – Он обвел вторую точку, расположенную над первой, и стал водить прутиком от точки к точке, изображая интенсивное движение.

– А между тем есть еще шесть точек, которые человек способен достичь, – продолжал дон Хуан. – Большинству людей они неизвестны.

Он пошевелил прутиком между первыми двумя точками.

– Движение между этими двумя точками ты называешь пониманием и занимаешься им всю жизнь.

Дон Хуан соединил точки между собой; получилась вытянутая трапеция с пересекающимися внутри линиями.

– Каждая из шести точек – целый мир, подобно двум твоим мирам – сознанию и пониманию, – сказал он.

– А почему их всего восемь? – спросил я. – Почему не бесконечное число, как в окружности?

Я нарисовал на земле круг. Дон Хуан улыбнулся.

– Насколько мне известно, человек способен овладеть только этими восемью точками. Видимо, больше ему не дано. «Овладеть», а не «понять», улавливаешь разницу?

Я рассмеялся: дон Хуан пародировал мое пристрастие к точному словоупотреблению.

– Главное для тебя – все понять, а это невозможно. Настаивая на понимании, ты забываешь о своем человеческом предназначении. Твой камень где лежал, там и лежит. За все эти годы ты почти ничего не сделал. Только пробудился от спячки; но это лишь начало.

Дон Хуан сказал, что мы поедem к каньону с высохшим родником. Когда мы сели в машину, из-за дома вышел дон Хенаро и присоединился к нам. Проехав часть пути, мы пошли пешком через овраг. Дон Хуан предложил отдохнуть в тени большого дерева.

– Однажды ты рассказывал, – начал он, когда мы сели, – что наблюдал со своим другом, как с верхушки клена падал лист. Твой друг сказал, что один и тот же лист с дерева дважды не падает, даже если пройдет вечность.

Я вспомнил, что действительно рассказывал этот случай.

– Мы сидим у корней дерева, – продолжал дон Хуан. – Взгляни на дерево напротив, и ты увидишь, как с его верхушки упадет лист.

На краю оврага росло высокое дерево с сухими пожелтевшими листьями. Дон Хуан кивнул головой в его сторону. Я посмотрел и увидел, как с верхушки дерева сорвался лист и стал медленно падать на землю. Он несколько раз ударился о ветки и скрылся в подлеске.

– Ну как, видел?

– Да.

– Ты утверждаешь, что один лист дважды не падает?

– А как же иначе?

– Вот видишь, для тебя иначе и быть не может. А теперь гляди еще раз.

Я глянул на дерево и увидел, как с его верхушки упал лист. Он задел точно те же ветки, что и предыдущий, словно это был повтор на телеэкране. Я внимательно следил за волнообразным падением листа, пока тот не достиг земли. Поднялся, чтобы проверить, не два ли там листа, но подлесок мешал разглядеть, куда они упали.

Дон Хуан засмеялся и велел мне сесть.

– Гляди, – кивнул он на верхушку дерева, – снова падает тот же лист.

Я проследил за падением еще одного листа, точь-в-точь повторившего движение двух предыдущих. Не успел он приземлиться, как, догадавшись, что дон Хуан снова предложит посмотреть на верхушку, я глянул вверх – лист падал опять. Я обратил внимание на то, что только в первый раз видел, как лист отломился, а когда поднимал голову остальные три раза, лист уже падал. Я сказал об этом дону Хуану и попросил объяснения.

– Не понимаю, – сказал я, – каким образом тебе удастся повторить то, что я уже видел. Как ты это делаешь?

Он засмеялся, но ничего не ответил, а я продолжал настаивать на объяснении. Я сказал, что с точки зрения моего разума это невозможно.

– С точки зрения моего – тоже, – согласился дон Хуан. – Но ведь ты сам видел, как лист падал. Верно я говорю? – обратился он к дону Хенаро. Тот посмотрел на меня, но ничего не ответил.

– Это невозможно! – почти закричал я.

– Ты прикован к собственному разуму, – сказал дон Хуан. – Все очень просто: один и тот же лист падает снова и снова. Но тебе этого мало, тебе нужно еще понять: как, зачем и почему. А здесь понимать нечего, да и все равно не понять.

Турнье М. Пятница, или Тихоокеанский лимб.

Автор: Мишель Турнье (род. 19.12.1924 Париж, Франция)

Источник: Роман «Пятница, или Тихоокеанский лимб» опубликован в 1967 г.

Вопросы для обсуждения

- 1) *В чем выражается социальная сущность человека? Может ли она быть потеряна?*
- 2) *Насколько непреодолимым является противостояние рационального порядка, установленного человеком, и природной иррациональной, хаотичной непосредственности?*
- 3) *Какое значение в познании играют «другие»?*
- 4) *В чем заключается «порочность» выделения и противопоставления в процессе познания субъекта и объекта?*
- 5) *Как соотносятся в человеке внутреннее и внешнее, субъективное и объективное?*

Робинзон не хотел вести счет бегущим дням. К чему? Он всегда сможет узнать от своих спасителей, сколько времени прошло с момента кораблекрушения. Он так и не определил точно, через сколько дней, недель или месяцев бездействие и ленивое созерцание горизонта начали угнетать его. Бескрайняя поблескивающая, слегка выпуклая поверхность океана завораживала, притягивала взгляд, и Робинзона охватывал страх: уж не становится ли он жертвой галлюцинаций? Поначалу он просто-напросто забыл, что у ног его – лишь жидкая субстанция, находящаяся в вечном движении. Перед ним, чудилось ему, простиралась твердая упругая поверхность, по которой ничего не стоило пройти, передвигаясь прыжками. Дальше – больше: он вообразил, будто видит спину какого-то сказочного зверя, чья голова уходит за горизонт. И наконец, ему показалось, что остров с его скалами и лесами не что иное, как зрачок и ресницы гигантского глаза, влажного голубого ока, обращенного вверх, в бездну небес. Этот последний образ преследовал его так упорно, что он вынужден был отказаться от своего созерцательного ожидания. Он встряхнулся и решил предпринять что-нибудь. Впервые страх потерять рассудок задел Робинзона своим мрачным крылом. И отныне этот страх больше не покидал его никогда. [...]

Наконец он решился приступить к спуску «Избавления», хотя неясные страхи так долго заставляли его откладывать это событие. Сперва

он даже не очень удивился, когда понял, что невозможно протащить по песку до моря судно, весящее более тысячи фунтов. Но эта первая неудача обнаружила перед ним всю сложность проблемы, над которой он доселе не задумывался всерьез. Вот тут-то ему и представился случай постичь ту важную метаморфозу, какую претерпел его разум под влиянием одиночества. Похоже было, что область его мыслительной деятельности одновременно и сузилась, и углубилась. Ему становилось все труднее думать о нескольких вещах разом, все труднее переходить от одного предмета размышления к другому. Так, он понял, что окружающее служит для нас постоянным раздражителем не только оттого, что будоражит нашу мысль, мешая вариться в собственном соку, а еще и потому, что одна лишь возможность вторжения «чужих» приоткрывает нам завесу над целым миром явлений, расположенных на периферии нашего внимания, но в любой момент способных стать его центром. И вот это-то периферийное, почти призрачное присутствие вещей, которые нынче перестали заботить Робинзона, постепенно исчезло из его сознания. Теперь он жил в окружении предметов и явлений, подчинявшихся простому непреложному закону: «все или ничего», – потому-то, поглощенный строительством «Избавления», он упустил из виду проблему спуска на воду. [...]

Дневник. Отныне, сплю я или бодрствую, пишу или готовлю пищу, время мое размечено этим звуком «кап-кап» – автоматическим, неизменным, неуправляемым, неподкупным, точным, выверенным. О, какое пиршество духа для меня все эти эпитеты – свидетельство славных побед над силами зла! Я хочу, я требую, чтобы все вокруг меня теперь было измерено, доказано, зафиксировано математически точно и рационально. Нужно будет заняться межеванием острова, составить его топографическую карту, занести эти данные в кадастр. Мне хотелось бы снабдить табличкой каждое здешнее растение, окольцевать каждую птицу, пометить клеймом каждое животное. Я не успокоюсь до тех пор, пока этот загадочный, непроницаемый остров с его скрыто бродящими соками и колдовскими чарами не будет очищен и преображен мною в светлый и строгий дом, знакомый мне от погреба до крыши. Но достанет ли у меня сил довести до конца этот титанический труд? Я намерен лечить Сперанца горьким снадобьем рациональности, но найду ли в себе достаточно богатый источник ее? Мерный голос клепсидры, всего лишь миг назад баюкавший меня своей песней, успокаивающей, размеренной, как звук метронома, вдруг вызвал в моем воображении совсем иной, пугающий образ: гранитная скала, которую неумолимо подтачивают падающие капли

воды. Бесполезно обманывать себя: мои умственные способности угасают. И первое тому свидетельство – расстройство речи.

Тщетно заставляю я себя непрерывно говорить вслух, выражая каждую мысль, каждое наблюдение, пусть даже слова мои обращены всего лишь к деревьям или облакам; все равно я замечаю, как изо дня в день неостановимо рушатся стены языковой цитадели, в которой мысли живет так же удобно и уютно, как кроту – в запутанном лабиринте своих ходов. Те островки речи, на которые мысль опирается для развития и движения вперед (так человек прыгает по камням, перебираясь через бурный ручей), разрушаются, бесследно исчезают. Я то и дело недоуменно бьюсь над смыслом того или иного слова, особенно из области абстрактных понятий. Мне доступен лишь конкретный, буквальный язык. Метафоры, литоты (фигура умаления, намеренно ослабленное выражение, подразумевающее больше того, что сказано), гиперболы требуют от меня невероятного умственного напряжения, без которого мне не выразить все то абсурдное, неявное, что содержат эти элементы риторики. Я думаю, этот горестный спектакль распада моей души доставил бы немало радости филологам, живущим в окружении людей; для меня же это излишняя роскошь, одновременно и бесполезная и убийственная. Таково, например, понятие «глубины», над которым я никогда не размышлял в сочетании его с другими словами, «глубокий ум», «глубокая любовь»...

Странное, однако, предубеждение – оно слепо соотносит глубину с поверхностью, согласно чему «поверхностное» – это не нечто «больших размеров», а просто «неглубокое», тогда как «глубокое», напротив, обозначает нечто «большой глубины», но не «малой поверхности». И, однако, такое чувство, как любовь, на мой взгляд, гораздо лучше измерять ее широтой, нежели глубиной. Ибо я мерю свою любовь к женщине тем, что одинаково люблю ее руки, глаза, походку, повседневную одежду, предметы, коими она пользуется, коих случайно коснулась, пейзаж, на фоне которого видел ее, море, где она купалась... Все перечисленное, кажется мне, лежит именно на поверхности! Тогда как посредственное, примитивно плотское чувство направлено только в глубину, оставляя все прочее в безликом сером полумраке.

Аналогичный принцип (хотя мне уже трудновато рассуждать на эту тему) справедлив и в отношении внутреннего и внешнего. Человек есть сокровище, заключенное в грубую, дешевую оболочку: чем больше углубляешься внутрь, тем больше скрытых доселе богатств обнаруживаешь в нем. Да, но что, если их там нет? Если перед вами струя

не полная, но заполненная однообразной аморфной сердцевинкой, подобно тряпичной кукле, набитой отрубями? Кому, как не мне, знать, что ныне я не достоин звания человека, мыслящего существа со своим лицом, со своими тайнами, что я всего лишь черная прореха на Сперанце, еле видная точка обзора посреди острова, а точка – она и есть точка, и ничего более. Я думаю, что душа начинает обретать подлинную ценность лишь за пределами жалкой оболочки тела – кожи, отделяющей внутреннее от внешнего, и что она способна бесконечно обогащаться лишь по мере объединения с тем, что окружает одинокую точку во вселенной – меня. Робинзон станет сказочно богат в тот миг, когда полностью сольется со Сперанцем. [...]

Он встал и, подойдя к двери, приостановился на пороге. Ослепительное сияние солнца, ударившее в глаза, вынудило его пошатнуться и опереться плечом о косяк. Позже, размышляя над опьянением, одурманившим его в тот миг, и пытаясь подыскать ему имя, он назвал его мгновением невинности. Сперва он решил, что остановка клепсидры всего лишь разрушила строгие каноны его распорядка дня и отодвинула неотложные дела. Но теперь он заметил, что пауза эта менее всего была его личным делом – она касалась всего острова в целом. Иными словами, вещи, стоило им вдруг прекратить соотноситься меж собой, в зависимости от их назначения и применения, вновь вернулись к своей первоначальной сути, обогатились в свойствах, зажили для самих себя – наивно, невинно, не ища своему бытию иных оправданий, кроме собственного совершенства. Небеса сияли кротко и приветливо, словно Создатель, во внезапном порыве любви, решил благословить земные свои творения. Воздух был напоен невыразимо счастливым блаженством, и Робинзону, вдруг охваченному непонятным экстазом, почудилось, будто за этим островом, где он столь долго влачит одинокое свое существование, встает другой – более юный, более жаркий, более гостеприимный, доселе скрытый от него заурядностью повседневных дел.

Потрясающее открытие: оказывается, возможно уклониться от неумолимых оков времени и строгого распорядка жизни и при этом не угодить в кабанье болото! Возможно измениться и при этом не пасть! Нарушить столь тщательно установленное равновесие своего уклада и не деградировать! Сомнений не было: он поднялся ступенью выше в той метаморфозе, которая вершилась в самой глубине его души. Но то было лишь краткое озарение, мгновенный экстаз личинки, которой открылось,

что в один прекрасный день она сможет вспорхнуть в небо пестрой бабочкой. Опыняющее, но преходящее видение!

С тех пор Робинзон частенько останавливал клепсидру, чтобы вновь и вновь повторить опыт, который позволит ему когда-нибудь высвободиться из кокона, где он вел свое дремотное существование, и стать новым Робинзоном. Но его час еще не пробил. Другой остров ни разу больше не возникал в розовом мареве рассвета, как в тот памятный день. И Робинзон, облачившись в старую одежду, вернулся к прежней игре в работу, позабыв за множеством мелких и скучных занятий, за правилами своего этикета о том, что он мог некогда мечтать об ином.

Дневник. Я совершенно не сведущ в философии, но долгие размышления, к коим приводит жестокая необходимость и особенно некие нарушения мыслительных процессов, проистекающие из вынужденного моего одиночества, наталкивают меня на определенные заключения, касающиеся древней проблемы познания. Скажу коротко: мне кажется, что присутствие других людей – и их незаметное вмешательство во все существующие теории – есть веская причина путаницы и неясности в отношениях познающего к объекту познания. Нельзя сказать, чтобы другим отводилась в этих отношениях ведущая роль, – просто им нужно выступать на сцену в свое время и только при полной ясности, а не когда заблагорассудится и как бы украдкой.

Свеча, зажженная в темной комнате и поднесенная к тем или иным предметам, освещает их, оставляя другие во мраке. На один миг они выныривают из потемок, затем вновь погружаются в черное ничто. Но тот факт, освещены они или нет, ровно ничего не меняет ни в природе их, ни в существовании. Какими они являются в момент, когда их залил яркий свет, такими они были до и будут после этого момента. Примерно так же выглядит для нас и процесс познания, где орудием его является свеча, а предметом – освещаемые вещи. И вот чему научило меня одиночество: подобная схема приложима лишь к познанию мира другими, иначе говоря, она касается лишь весьма узкого и специфического аспекта проблемы познания. Предположим, чужой человек, введенный в мой дом, видит там те или иные предметы, разглядывает их, затем отворачивается, чтобы посмотреть на другие, – вот точное соответствие мифу о зажженной свече в темной комнате. Общая же проблема познания должна ставиться на предшествующей, гораздо более фундаментальной стадии – ведь для того, чтобы можно было говорить о незнакомце, проникшем в мой дом и

изучающем находящиеся там вещи, нужно и мне при том присутствовать, держа в поле зрения всю комнату и следя за действиями чужака.

Итак, существуют две проблемы познания или, вернее, два вида познания, которые крайне важно четко различать и которые я, без всякого сомнения, продолжал бы путать, если бы не странная моя участь, подарившая мне абсолютно новый взгляд на вещи: познание через других и познание через самого себя. Смешивая их под тем предлогом, что другой есть другой я, мы ничего не достигаем. Однако же именно это и происходит, когда воображаешь себе орудие познания в виде некоего индивидуума, который, войдя в комнату, смотрит, трогает, нюхает, короче сказать, изучает природу вещей, там находящихся. Но ведь индивидуум этот – другой человек, предметы же знакомы мне, наблюдателю сей сцены. Чтобы вполне корректно поставить задачу, нужно, следовательно, описать ситуацию не от лица пришельца, проникшего в комнату, а от моего собственного, то есть говорящего и наблюдающего владельца данной комнаты. Что я и попытаюсь сделать.

Вот первый вывод, который приходит на ум: стоит начать описывать понятие «я», не сливая его с понятием «другие», как убеждаешься, что оно – это «я» – существует лишь урывками и, в общем-то, встречается достаточно редко. Присутствие его соотносится со способом вторичного, как бы рефлексивного познания. Что же происходит при первичном, непосредственном знакомстве с внешним миром? А вот что: все предметы имеются в наличии, они блестят на солнце или упрятаны в тень, они тверды или мягки, тяжелы или легки, они обследованы, измерены, взвешены, более того: сварены, или обструганы, или согнуты пополам и так далее, – но при том сам я – тот, кто обследует, измеряет, взвешивает, варит и так далее, – не существую никоим образом, если акт рефлексии, позволяющий мне возникнуть из небытия, не имел места, а происходит этот акт крайне редко. На первичной стадии познания то впечатление, что я получаю от предмета, и есть сам предмет; его можно увидеть, пощупать, понюхать и так далее, – можно, хотя при этом и нет человека, который смотрит, щупает, нюхает и прочее. Здесь не следует говорить о свече, озаряющей своим пламенем некие вещи; уместнее воспользоваться другим сравнением: самопроизвольно светящиеся предметы, которые не нуждаются в освещении извне.

Эту примитивную, первичную, чисто импульсивную стадию познания, которая и являет собою наш обычный способ существования, отличает, счастливое одиночество познанного, девственность вещи в себе,

обладающей всеми внешними свойствами – цветом, запахом, вкусом и формой, – равно как и атрибутами своей скрытой сути. Отсюда неизбежный вывод: Робинзон – это Сперанца. Он осознает самого себя лишь в трепете миртовых ветвей, пронизанных огненными стрелами солнца, лишь в шепоте пенной волны, ласкающей золотистый песок.

И внезапно словно включается некий сигнал. Субъект отрывается от объекта, от предмета, лишая его части веса и цвета. Что-то треснуло в незыблемом доселе здании мира, и целая глыба вещей обрушивается, превращаясь в меня. Каждый объект лишается своих качеств в пользу соответствующего субъекта. Свет превращается в глаз и более не существует как свет – теперь это лишь раздраженная сетчатка. Запах становится носом – и весь мир тут же перестает пахнуть. Музыка ветра в мангровых корнях более не достойна упоминания: это просто колебания барабанной перепонки. В конечном счете весь мир собирается в моей душе – она же одновременно и душа Сперанцы, вырванная из груди острова, который умирает без нее под моим скептическим взглядом.

Конвульсия, сотрясающая мир... Объект внезапно деградировал, превратившись в субъект. Разумеется, он того и заслуживал, ибо всякий механизм наделен неким смыслом. Узел противоречий, источник разногласий, он был вычленен из тела острова, отброшен, растоптан. Некий сигнал свидетельствует о процессе рационализации мира. Мир доискивается собственной рационализации и, делая это, избавляется от ненужного старого хлама – субъекта.

Однажды к Сперанце приблизился испанский галион. Казалось бы, что может быть правдоподобнее? Но такие галионы уже более века не бороздят воды океана. Но на борту отмечался какой-то праздник. Но судно, вместо того чтобы бросить якорь и спустить шлюпку, следовало вдоль берега, как будто находилось в тысяче миль от острова. И молодая девушка в старомодном платье смотрела на меня из кормового портика, и это была моя сестра, умершая много лет тому назад... Столько странностей разом – нет, это невероятно! Сигнал... и галион мгновенно утратил все шансы на реальное существование. Он стал галлюцинацией Робинзона. Он воплотился в этот субъект – обезумевшего Робинзона в нервной горячке.

В другой раз я брел по лесу. На тропинке, в сотне шагов от меня, торчал огромный пенёк. Странный косматый пенёк, смутно похожий на стоящего боком ко мне зверя. А потом пенёк шевельнулся. Но ведь это нелепость, пни шевелиться не могут! А потом пенёк превратился в козла.

Но каким же образом пень мог бы превратиться в козла? Требовался тот самый сигнал. И он прозвучал. Пень исчез окончательно и даже ретроактивно. Здесь всегда стоял козел. Ну а пень? Он стал оптической иллюзией, обманом зрения Робинзона.

Итак, субъект есть дисквалифицированный объект. Мои глаза – это труп света, цвета. Мой вес – все, что осталось от запахов, после того как их нереальность точно доказана. Моя рука опровергает вещь, которую держит. И с этих пор проблема познания рождается из анахронизма. Она утверждает одновременность субъекта и объекта, чьи таинственные отношения хотела бы выяснить. Но субъект и объект не могут сосуществовать, поскольку они и есть одно и то же явление, сперва интегрированное в реальный мир, затем выброшенное из него на свалку. Робинзон – это отбросы Сперанцы.

Сие ядовитое, вызывающее неприязнь определение наполняет меня мрачной радостью. Ибо оно указывает на тяжкий тернистый путь к спасению, по крайней мере к частичному спасению плодородного и гармоничного острова, великолепно обработанного и управляемого, могущественного в идеальном равновесии всех своих атрибутов, живущего своей жизнью – но без меня, именно оттого, что в нем и так слишком много меня, – меня, которого следовало бы свести к тому скрытому сиянию, что делает каждую вещь познаваемой без того, чтобы ее кто-то познавал... О это хрупкое, чистое равновесие, столь нежное, столь драгоценное! [...]

Дневник. Теперь я знаю, что окружение людей, при том, что оно есть основное условие существования человеческой личности, вовсе не жизненно важно. Да, оно необходимо, но не обязательно, как смиренно говорят о себе самих Друзья Джорджа Факса, ибо другие люди могут быть заменены тем одним, кому обстоятельства отказывают в общении с окружающими. Заменить данное на созданное есть всеобщая, чисто человеческая задача; верно ведь говорится: главное отличие человека от животного состоит в том, что он лишь от трудов рук своих может ожидать всего, чем природа одаривает зверя, – покрова от холода, орудия защиты и нападения, пищи. Оторванный от общества, я мог либо опуститься на этом острове до животного состояния, ничего не строя и не создавая (с чего я, собственно, и начал свою жизнь здесь), либо, напротив, сделаться эдаким сверхчеловеком, строя и создавая, – тем более что общество этого для меня не делало. Итак, я строил и буду строить, но, по правде говоря, созидание мое идет в двух различных планах и даже в противоположных

направлениях. Ибо, если на поверхности острова я продолжаю свой труд по созданию всех сторон цивилизации – земледелия, скотоводства, возведения зданий, управления, законотворчества и так далее, – скопированных с жизнедеятельности человеческого общества и тем самым как бы ретроспективных, – то душа моя претерпевает метаморфозу куда более решительную, рождающую на месте разрушений, причиненных одиночеством, новые, непривычные решения, еще непрочные, еще несмелые, но все менее подходящие под обычные человеческие мерки, послужившие им отправной точкой. Чтобы покончить с противоречием этих двух планов, скажу, что мне кажется невозможным бесконечное его углубление. Неизбежно наступит такое время, когда Робинзон, все более и более дегуманизируясь, утратит право быть губернатором и архитектором все более и более гуманизирующегося острова. Уже сейчас я ловлю себя на некоторых внутренних несообразностях во время моей внешней деятельности. Мне случается работать, совершенно не веря в то, что я делаю, хотя это даже не отражается на качестве и количестве моего труда. Напротив, некоторые усилия приятны именно в силу опьянения бессмысленной монотонностью: ему, этому дурману, нетрудно завоевать поле битвы, покинутое разумом, – поле работы ради работы, без всякого представления о конечном результате. А ведь опасно опустошать здание изнутри до бесконечности: когда-нибудь оно да рухнет. Вполне возможно, что в один прекрасный день этот управляемый, возделанный и застроенный остров совершенно перестанет меня интересовать. И тогда он лишится последнего своего обитателя...[...]

Существовать – что это означает? Это означает быть вне, *sistere ex* (находиться вне). Все, что находится вовне, существует. Все, что находится внутри, не существует. Мои мысли, мои образы, мои сны – не существуют. Если Сперанца – только ощущение или совокупность ощущений, она не существует. И сам я существую лишь тогда, когда убегаю от себя к другим.

Но тут возникает одно затруднение: то, что не существует, упорно старается доказать обратное. Все несуществующее отличается мощным и дружным стремлением к существованию. Какая-то центробежная сила выталкивает наружу живущие во мне мечты, видения, планы, фантазии, желания, навязчивые идеи. Ибо то, что не существует, – претендует. Претендует на существование. Этот ничтожный призрачный мирок ломится в двери большого реального мира. Но ключ от дверей в руках у других. Дома, когда я во сне мучился кошмарами, жена трясла меня за

плечо, чтобы разбудить и отогнать страшный сон, претендующий на существование. Тогда как нынче... Но к чему постоянно возвращаться к этой теме?

Дневник. Все, кого я знал, давно считают меня погибшим. Моя убежденность в том, что я существую, наталкивается на их единодушное отрицание. И, что бы я ни делал, во всеобщем представлении упрочился образ мертвого Робинзона. Одного этого уже достаточно, чтобы – не убить меня, конечно, но оттолкнуть, изгнать за пределы жизни, туда, где ад смыкается с небом, – короче сказать, в лимб. Сперанца – вот он, этот Тихоокеанский лимб...

Эко У. Оно.

Автор: Умберто Эко (род. 05.01.1932 Алессандрия, Италия).

Источник: Рассказ «Оно» опубликован в 1963 г.

Вопросы для обсуждения

1) *Можно ли сказать, ученый занимает какое-то особенное место в системе общественных отношений?*

2) *Имеет ли истина как идеал научного познания нравственно-этическое измерение?*

3) *Должна ли истина подчиниться другим общечеловеческим ценностям, таким как свобода личности, человеческая жизнь и т.д.?*

4) *Как вы оцениваете опасность использования достижений современной науки во вред людям?*

– Как успехи, Профессор? – Генерал с трудом сдерживал нетерпение.

– Какие успехи? – переспросил Профессор Ка, он явно медлил с ответом.

– Целых пять лет вы работаете здесь внизу, и никто вас ни разу не побеспокоил. Мы доверяем вам. Но сколько же можно верить на слово?! Пора предъявить работу.

В голосе генерала слышалась угроза, и Ка устало махнул рукой, потом улыбнулся:

– Вы попали в точку, Генерал. Я намеревался еще подождать. Но вы меня раззадорили. Я сделал Его, – Профессор перешел на шепот, – и, клянусь Солнцем, пора показать Его миру!

Он жестом пригласил Генерала в пещеру. Ка провел гостя в самую глубину, туда, где сквозь узкое отверстие в стене пробивался тонкий луч света. Там на ровном и гладком уступе лежало Оно.

По форме Оно напоминало миндальный орех, имело множество мелких граней и блестело.

– Но ведь это... – Генерал растерялся. – Это камень.

В голубых глазах Профессора, спрятанных под густыми косматыми бровями, мелькнули лукавые искорки:

– Да, – подтвердил он. – Камень. Но не такой, как все. Мы не станем попирать его ногами. Лучше возьмем его в руку.

– В руку?

– Именно, Генерал. В этом камне сосредоточена великая сила, о которой до сих пор и не смело мечтать человечество, мощь, равная мощи миллиона людей. Смотрите...

Он положил руку на камень; сжал пальцы и крепко обхватил его, затем поднял. Рука плотно обнимала камень, широкая часть лежала на ладони, а острый конец торчал наружу и смотрел то вверх, то вниз, то на Генерала – в зависимости от движений руки Профессора. Профессор сделал резкий выпад, и конец камня прочертил в воздухе траекторию. Профессор рубанул сверху вниз, на пути острия оказалась хрупкая порода уступа и – о чудо! – камень вошел в нее, врезался, сделал трещину. Профессор ударил еще и еще раз – образовалась выемка, потом глубокая воронка, он дробил, крошил породу, превращал ее в порошок.

Генерал следил широко раскрытыми глазами, затаив дыхание.

– Невероятно, – проговорил он, сглатывая слюну.

– Это что, – торжествовал Профессор, – сущие пустяки! Хотя пальцами вы ничего подобного все равно бы не сделали. Теперь смотрите! – Ученый взял большой кокосовый орех, лежавший в углу, шершавый, крепкий – не подступишься! – и протянул его Генералу:

– Ну же, сожмите обеими руками, раздавите его.

– Перестаньте, Ка, – голос Генерала дрогнул. – Вы прекрасно знаете, что это невозможно, никто из нас не способен сделать этого... Только динозавр – ударом лапы, и только динозавр лакомится мякотью и пьет сок...

– Хорошо, а теперь, – Профессор пришел в возбуждение, – а теперь смотрите!

Он взял орех, положил на уступ в только что выбитую выемку, и схватил камень, но по-другому, за острый конец, так, что широкая часть оказалась снаружи. Потом быстро ударил по ореху – казалось, без большого усилия – и разбил его вдребезги. Кокосовое молоко растеклось по уступу, а в углублении остались куски скорлупы с белой сочной мякотью, свежей и аппетитной. Генерал схватил кусок и с жадностью впился в него зубами. Он смотрел на камень, на Ка, на остатки кокосового ореха. Он был ошеломлен.

– Клянусь Солнцем, Ка! Это замечательная вещь. Сила человека возросла в сотни раз, теперь ему не страшен никакой динозавр. Он стал хозяином скалы и деревьев. У него появилась еще одна рука, да что я говорю... сотня рук! Где вы нашли Его.

Ка самодовольно усмехнулся:

– Я не нашел Его. Я Его сделал.

– Сделали? Что вы хотите этим сказать?

– Это значит, что раньше Его не существовало.

– Вы сошли с ума, Ка, – генерал задрожал. – Должно быть, Оно упало с неба; наверное, Его принес гонец Солнца, один из духов воздуха... Как можно сделать то, чего раньше не существовало?!

– Можно! – твердо сказал Ка. – Можно взять камень и бить по нему другим камнем, пока не придашь нужную форму, такую, чтобы рука могла обхватить его. И тогда с помощью этого камня рука сможет сделать множество других камней, больших по размеру и еще более острых. И это сделал я, Генерал.

Крупные капли пота выступили на лбу Генерала.

– Надо показать Его всем, Ка, всей Орде, наши мужчины станут неуязвимыми. Понимаете? Теперь мы можем выйти на медведя: у него когти, а у нас Оно, мы сумеем растерзать зверя раньше, чем он нас, мы сможем оглушить его, убить. Убить змею, расколоть панцирь черепахи, можем убить... Великое Солнце!.. убить... человека!.. – Генерал остановился, пораженный новой мыслью, потом продолжал, и взгляд его стал жестким:

– Теперь, Ка, мы сможем напасть на Орду Коамма, они выше и сильнее нас, но теперь окажутся в нашей власти, и мы уничтожим их всех до единого. Ка! Ка! – он схватил Профессора за плечо и потряс. – Это победа!

Ка смотрел настороженно, он колебался:

– Именно поэтому я не хотел показывать вам мое изобретение. Я понимаю, что сделал ужасное открытие, которое изменит мир. Я осознаю свою ответственность: я открыл источник страшной разрушительной силы. Ничего подобного на Земле еще не знали, поэтому я и не хочу, чтобы другие познакомились с ним. В противном случае война станет самоубийством. Ведь и Орда Коамма тоже скоро научится делать подобные камни, тогда в следующей войне не будет ни победителей, ни побежденных. Этот предмет был задуман как орудие мирного труда, прогресса, но теперь я вижу, что Оно несет с собой смерть. Я Его уничтожу.

Генерал был вне себя:

– Опомнитесь, Ка! Вы не имеете права. Это все глупая щепетильность ученого. Пять лет вы провели взаперти и ничего не знаете о мире. Мы идем к цивилизации, и если Орда Коамма победит, не останется

ни мира, ни свободы, ни радости для людей. Наш священный долг овладеть вашим изобретением. Это вовсе не значит, что мы воспользуемся им тотчас же. Важно, чтобы они знали, что Оно у нас есть. Мы продемонстрируем Его на глазах у противника. Потом мы ограничим Его использование, но с того момента, как Оно будет у нас, никто не посмеет на нас напасть. А пока мы можем копать Им могилы, строить новые пещеры, равнять почву. Достаточно иметь Его, вовсе не обязательно пускать Его в ход. Это оружие страшной силы, оно остановит коаммовцев на много лет.

– Нет-нет-нет, – твердил безутешный Ка, – как только мы овладеем Им, нас уже ничто не остановит. Его надо уничтожить.

– Да вы просто идиот, хоть и приносите пользу! – Генерал побледнел от гнева. – Вы играете на руку нашим врагам, в душе вы прокоаммовец, как и все подобные вам интеллектуалы, как тот аэд, который толковал вчера вечером о союзе всех людей. Вы не веруете в Солнце!

Ка вздрогнул. Он склонил голову, глаза под пушистыми бровями стали совсем маленькими и грустными.

– Я знал, что мы придем к этому. Я не прокоаммовец, и вам это отлично известно. Но согласно пятому правилу из солнечного свода законов, я отказываюсь на вопрос, который мог бы вызвать против меня гнев духов. Думайте, что хотите. Но Оно не выйдет за порог этой пещеры.

– А я говорю – выйдет, и сейчас же, во славу Орды, цивилизации, ради блага народа, ради Мира! – закричал Генерал. Он схватил камень правой рукой, как это только что делал сам Ка, и с силой, с гневом, с ненавистью обрушил его на голову Профессора. Ка рухнул на пол, орошая кровью все вокруг.

Генерал в ужасе смотрел на оружие, которое сжимал в руке. Потом торжествующе улыбнулся, и в улыбке его была жестокость, была беспощадность.

– Первый... – прошептал он.

Хаксли О. О дивный новый мир.

Автор: Олдос Хаксли

Источник: Роман «О дивный новый мир» опубликован в

Вопросы для обсуждения

1) Какую роль играет наука в жизни современного общества? Какие перспективы она открывает для развития человечества?

2) В чем заключается опасность постоянно ускоряющегося научно-технического прогресса?

3) Нужно ли ограничивать науку в попытках усовершенствовать природу человека?

4) Какие риски сопровождают эксперименты в области клонирования и генной инженерии?

Серое приземистое здание всего лишь в тридцать четыре этажа. Над главным входом надпись «ЦЕНТРАЛЬНОЛОНДОНСКИЙ ИНКУБАТОРИЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» и на геральдическом щите девиз Мирового Государства: «ОБЩНОСТЬ, ОДИНАКОВОСТЬ, СТАБИЛЬНОСТЬ». Огромный зал на первом этаже обращен окнами на север, точно художественная студия. На дворе лето, в зале и вовсе тропически жарко, но по-зимнему холоден и водянист свет, что жадно течет в эти окна в поисках живописно драпированных манекенов или нагой натуры, пусть блеклой и пупырчатой, – и находит лишь никель, стекло, холодно блестящий фарфор лаборатории. Зиму встречает зима. Белы халаты лаборантов, на руках перчатки из белесой, трупного цвета резины. Свет заморожен, мертвен, призрачен. Только на желтых тубусах микроскопов он как бы сочнеет, заимствуя живую желтизну, словно сливочным маслом мажет эти полированные трубки, вставшие длинным строем на рабочих столах.

– Здесь у нас Зал оплодотворения, – сказал Директор Инкубатория и Воспитательного Центра, открывая дверь.

Склоняясь к микроскопам, триста оплодотворителей были погружены в тишину почти бездыханную, разве что рассеянно мурлыкнет кто-нибудь или посвистит себе под нос в отрешенной сосредоточенности. По пятам за Директором робко и не без подобострастия следовала стайка новоприбывших студентов, юных, розовых и неоперившихся. При каждом птенце был блокнот, и, как только великий человек раскрывал рот,

студенты принимались яро строчить карандашами. Из мудрых уст – из первых рук. Не каждый день такая привилегия и честь. Директор Центрально Лондонского ИВЦ считал всегдашним своим долгом самолично провести студентов новичков по залам и отделам «Чтобы дать вам общую идею», – пояснял он цель обхода. Ибо, конечно, общую идею хоть какую-то дать надо – для того, чтобы делали дело с пониманием, – но дать лишь в минимальной дозе, иначе из них не выйдет хороших и счастливых членов общества. Ведь, как всем известно, если хочешь быть счастлив и добродетелен, не обобщай, а держись узких частных; общие идеи являются неизбежным интеллектуальным злом. Не философы, а собиратели марок и выпиливатели рамок составляют становой хребет общества.

– Завтра, – прибавлял он, улыбаясь им ласково и чуточку грозно, – наступит пора приниматься за серьезную работу. Для обобщений у вас не останется времени. Пока же...

Пока же честь оказана большая. Из мудрых уст – и прямиком в блокноты. Юнцы строчили как заведенные. Высокий, сухощавый, но нимало не сутулый, Директор вошел в зал. У Директора был длинный подбородок, крупные зубы слегка выпирали из-под свежих, полных губ. Стар он или молод? Тридцать ему лет? Пятьдесят? Пятьдесят пять? Сказать было трудно. Да и не возникал у вас этот вопрос, ныне, на 632-м году эры стабильности, эры Форда, подобные вопросы в голову не приходили.

– Начнем с начала, – сказал Директор, и самые усердные юнцы тут же запротоколировали «Начнем с начала». – Вот здесь, – указал он рукой, – у нас инкубаторы. – Открыл теплонепроницаемую дверь, и взорам предстали ряды нумерованных пробирок – штативы за штативами, стеллажи за стеллажами – Недельная партия яйцеклеток. Хранятся, – продолжал он, – при 37 градусах; что же касается мужских гамет, – тут он открыл другую дверь, – то их надо хранить при тридцати пяти. Температура крови обесплодила бы их (барана ватой обложив, приплода не получишь).

И, не сходя с места, он приступил к краткому изложению современного оплодотворительного процесса – а карандаши так и забежали, неразборчиво строча, по бумаге; начал он, разумеется, с хирургической увертюры к процессу – с операции, «на которую ложатся добровольно, ради блага общества, не говоря уже о вознаграждении, равном полугодовому окладу», затем коснулся способа, которым

сохраняют жизненность и развивают продуктивность вырезанного яичника; сказал об оптимальных температуре, вязкости, солевом содержании; о питательной жидкости, в которой хранятся отделенные и вызревшие яйца, и, подведя своих подопечных к рабочим столам, наглядно познакомил с тем, как жидкость эту набирают из пробирок; как выпускают капля за каплей на специально подогретые предметные стекла микроскопов, как яйцеклетки в каждой капле проверяют на дефекты, пересчитывают и помещают в пористый яйцеприемничек; как (он провел студентов дальше, дал понаблюдать и за этим) яйцеприемник погружают в теплый бульон со свободно плавающими сперматозоидами, концентрация которых, подчеркнул он, должна быть не ниже ста тысяч на миллилитр, и как через десять минут приемник вынимают из бульона и содержимое опять смотрят, как, если не все яйцеклетки оказались оплодотворенными, сосудец снова погружают, а потребуется, то и в третий раз, как оплодотворенные яйца возвращают в инкубаторы и там альфы и беты остаются вплоть до укупорки, а гаммы, дельты и эpsilonы через тридцать шесть часов снова уже путешествуют с полок для обработки по методу Бокановского.

– По методу Бокановского, – повторил Директор, и студенты подчеркнули в блокнотах эти слова. – Одно яйцо, один зародыш, одна взрослая особь – вот схема природного развития. Яйцо же, подвергаемое бокановскизации, будет пролиферировать – почковаться. Оно даст от восьми до девяти шести почек, и каждая почка разовьется в полностью оформленный зародыш, и каждый зародыш – во взрослую особь обычных размеров. И получаем девятью шесть человек, где прежде вырастал лишь один. Прогресс!

– По существу, – говорил далее Директор, – бокановскизация состоит из серии процедур, угнетающих развитие. Мы глушим нормальный рост, и, как это ни парадоксально, в ответ яйцо почкуется.

«Яйцо почкуется», – строчили карандаши. Он указал направо. Конвейерная лента, несущая на себе целую батарею пробирок, очень медленно вдвигалась в большой металлический ящик, а с другой стороны ящика выползала батарея уже обработанная. Тихо гудели машины.

– Обработка штатива с пробирками длится восемь минут, – сообщил Директор. – Восемь минут жесткого рентгеновского облучения – для яиц это предел, пожалуй. Некоторые не выдерживают, гибнут; из остальных самые стойкие разделяются надвое; большинство дает четыре почки; иные даже восемь; все яйца затем возвращаются в инкубаторы, где почки

начинают развиваться; затем, через двое суток, их внезапно охлаждают, тормозя рост. В ответ они опять пролиферируют – каждая почка дает две, четыре, восемь новых почек, и тут же их чуть не насмерть глушат спиртом; в результате они снова, в третий раз, почкуются, после чего уж им дают спокойно развиваться, ибо дальнейшее глушение роста приводит, как правило, к гибели. Итак, из одного первоначального яйца имеем что-нибудь от восьми до девяноста шести зародышей – согласитесь, улучшение природного процесса фантастическое. Причем это однайцевые, тождественные близнецы – и не жалкие двойняшки или тройняшки, как в прежние живородящие времена, когда яйцо по чистой случайности изредка делилось, а десятки близнецов.

– Десятки, – повторил Директор, широко распахивая руки, точно одаряя благодатью. – Десятки и десятки.

Один из студентов оказался, однако, до того непонятлив, что спросил, а в чем тут выгода.

– Милейший юноша! – Директор обернулся к нему круто. – Неужели вам неясно? Неужели не-яс-но? – Он вознес руку; выражение лица его стало торжественным. – Бокановскизация – одно из главнейших орудий общественной стабильности.

«Главнейших орудий общественной стабильности», – запечатлелось в блокнотах.

– Она дает стандартных людей. Равномерными и одинаковыми порциями. Целый небольшой завод комплектуется выводком из одного бокановскизированного яйца.

– Девяносто шесть тождественных близнецов, работающих на девяносто шести тождественных станках! – Голос у Директора слегка вибрировал от воодушевления. – Тут уж мы стоим на твердой почве. Впервые в истории. «Общность, Одинаковость, Стабильность», – проскандировал он девиз планеты. Величественные слова. – Если бы можно было бокановскизировать беспрдельно, то решена была бы вся проблема. Ее решили бы стандартные гаммы, тождественные дельты, одинаковые эпсилон. Миллионы однайцевых, единообразных близнецов. Принцип массового производства, наконец-то примененный в биологии.

– Но, к сожалению, – покачал Директор головой, – идеал недостижим, беспрдельно бокановскизировать нельзя. Девяносто шесть – предел, по-видимому; а хорошая средняя цифра – семьдесят два. Приблизиться же к идеалу (увы, лишь приблизиться) можно единственно

тем, чтобы производить побольше бокановскизированных выводков от гамет одного самца, из яйцеклеток одного яичника. Но даже и это не просто.

— Ибо в природных условиях на то, чтобы яичник дал две сотни зрелых яиц, уходит тридцать лет. Нам же требуется стабилизация народонаселения безотлагательно и постоянно. Производить близнецов через год по столовой ложке, растянув дело на четверть столетия, — куда это годилось бы? Ясно, что никуда бы это не годилось. Однако процесс созревания в огромной степени ускорен благодаря методике Подснапа. Она обеспечивает получение от яичника не менее полутора ста зрелых яиц в короткий срок — в два года. А оплодотвори и бокановскизируй эти яйца — иначе говоря, умножь на семьдесят два, — и полутора ста близнецовых выводков составят в совокупности почти одиннадцать тысяч братьев и сестриц всего лишь с двухгодичной максимальной разницей в возрасте.

— В исключительных же случаях удастся получить от одного яичника более пятнадцати тысяч взрослых особей.

В это время мимо проходил белокурый, румяный молодой человек. Директор окликнул его: «Мистер Фостер», сделал приглашающий жест. Румяный молодой человек подошел.

— Назовите нам, мистер Фостер, рекордную цифру производительности для яичника.

— В нашем Центре она составляет шестнадцать тысяч двенадцать, — ответил мистер Фостер без запинки, блестя живыми голубыми глазами. Он говорил очень быстро и явно рад был сыпать цифрами. — Шестнадцать тысяч двенадцать в ста восьмидесяти девяти однойцевых выводках. Но, конечно, — продолжал он тараторить, — в некоторых тропических центрах показатели намного выше. Сингапур не раз уже переваливал за шестнадцать тысяч пятьсот, а Момбаса достигла даже семнадцатитысячного рубежа. Но разве это состязание на равных? Видели бы вы, как негритянский яичник реагирует на вытяжку гипофиза! Нас, работающих с европейским материалом, это просто ошеломляет. И все-таки, — прибавил он с добродушным смешком (но в глазах его зажегся боевой огонь, и с вызовом выпятился подбородок), — все-таки мы еще с ними потягаемся. В данное время у меня работает чудесный дельта-минусовый яичник. Всего полтора года, как задействован. А уже более двенадцати тысяч семисот детей, раскупоренных или на ленте. И по-прежнему работает вовсю. Мы их еще побьем.

– Люблю энтузиастов! – воскликнул Директор и похлопал мистера Фостера по плечу. – Присоединяйтесь к нам, пусть эти юноши воспользуются вашей эрудицией.

Мистер Фостер скромно улыбнулся:

– С удовольствием.

И все вместе они продолжили обход. В Укупорочном зале кипела деятельность дружная и упорядоченная. Из подвалов Органохранилища на скоростных грузоподъемниках сюда доставлялись лоскуты свежей свиной брюшины, выкроенные под размер. Вzzз! и затем – щелк! – крышка подъемника отскакивает; устильщице остается лишь протянуть руку, взять лоскут, вложить в бутыль, расправить, и еще не успела усталая бутылка отъехать, как уже – вzzз, щелк! – новый лоскут взлетает из недр хранилища, готовый лечь в очередную из бутылей, нескончаемой вереницей следующих по конвейеру.

Тут же за устильщицами стоят зарядчицы. Лента ползет; одно за другим переселяют яйца из пробирок в бутылки: быстрый надрез устилки, легла на место морула, залит солевой раствор... и уже бутылка проехала, и очередь действовать этикетчицам. Наследственность, дата оплодотворения, группа Бокановского – все эти сведения переносятся с пробирки на бутылку. Теперь уже не безымянные, а паспортизованные, бутылки продолжают медленный маршрут и через окошко в стене медленно и мерно вступают в Зал социального предопределения.

– Восемьдесят восемь кубических метров – объем картотеки! – объявил, просмаковав цифру, мистер Фостер при входе в зал.

– Здесь вся относящаяся к делу информация, – прибавил Директор. – Каждое утро она дополняется новейшими данными. И к середине дня увязка завершается. На основании которой делаются расчеты нужных контингентов.

– Заявки на таких-то особей таких-то качеств, – пояснил мистер Фостер.

– В таких-то конкретных количествах. Задается оптимальный темп раскупорки на текущий момент. Непредвиденная убыль кадров восполняется незамедлительно.

– Незамедлительно, – подхватил мистер Фостер. – Знали бы вы, какой сверхурочной работой обернулось для меня последнее японское землетрясение! – Добродушно засмеявшись, он покачал головой.

– Предопределятели шлют свои заявки оплодотворителям. И те дают им требуемых эмбрионов. И бутылки приходят сюда для детального

предопределения. После чего следуют вниз, в Эмбрионарий. Куда и мы проследуем сейчас.

И, открыв дверь на лестницу, мистер Фостер первым стал спускаться в цокольный этаж. Температура и тут была тропическая. Сгущался постепенно сумрак. Дверь, коридор с двумя поворотами и снова дверь, чтобы исключить всякое проникновение дневного света.

– Зародыши подобны фотопленке, – юмористически заметил мистер Фостер, толкая вторую дверь. – Иного света, кроме красного, не выносят.

И в самом деле, знойный мрак, в который вступили студенты, рдел зримо, вишнево, как рдеет яркий день сквозь сомкнутые веки. Выпуклые бока бутылей, ряд за рядом уходивших вдаль и ввысь, играли бессчетными рубинами, и среди рубиновых отсветов двигались мглисто-красные призраки мужчин и женщин с багряными глазами и багровыми, как при волчанке, лицами. Приглушенный ропот, гул машин слегка колебал тишину.

– Попотчуйте юношей цифрами, мистер Фостер, – сказал Директор, пожелавший дать себе передышку.

Мистер Фостер с великой радостью принялся потчевать цифрами.

– Длина Эмбрионария – двести двадцать метров, ширина – двести, высота – десять.

Он указал вверх. Как пьющие куры, студенты задрали головы к далекому потолку. Бесконечными лентами тянулись рабочие линии: нижние, средние, верхние. Куда ни взглянешь, уходила во мрак, растворяясь, стальная паутина ярусов. Неподалеку три красных привидения деловито сгружали бутылки с движущейся лестницы.

– Эскалатор этот – из Зала предопределения. Прибывшая оттуда бутылка ставится на одну из пятнадцати лент, и каждая такая лента является конвейером, ползет не приметно для глаза с часовой скоростью в тридцать три и одну треть сантиметра. Двести шестьдесят семь суток, по восемь метров в сутки. Итого две тысячи сто тридцать шесть метров. Круговой маршрут внизу, затем по среднему ярусу, еще полкруга по верхнему, а на двести шестьдесят седьмое утро – Зал раскупорки и появление на свет, на дневной свет. Выход в так называемое самостоятельное существование.

– Но до раскупорки, – заключил мистер Фостер, – мы успеваем плодотворно поработать над ними. О-очень плодотворно, – хохотнул он многозначительно и победоносно.

– Люблю энтузиастов, – похвалил опять Директор. – Теперь пройдемтесь по маршруту. Потчуйте их знаниями, мистер Фостер, не скупитесь.

И мистер Фостер не стал скупиться. Он поведал им о зародыше, растущем на своей подстилке из брюшины. Дал каждому студенту попробовать насыщенный питательными веществами кровезаменитель, которым кормится зародыш. Объяснил, почему необходима стимулирующая добавка плацетина и тироксина. Рассказал об экстракте желтого тела. Показал инжекторы, посредством которых этот экстракт автоматически впрыскивается через каждые двенадцать метров по всему пути следования вплоть до 2040-го метра. Сказал о постепенно возрастающих дозах гипофизарной вытяжки, вводимых на финальных девяноста шести метрах маршрута. Описал систему искусственного материнского кровообращения, которой оснащается бутылка на 112-м метре, показал резервуар с кровезаменителем и центробежный насос, прогоняющий без остановки эту синтетическую кровь через плаценту, сквозь искусственное легкое и фильтр очистки. Упомянул о неприятной склонности зародыша к малокровию и о необходимых в связи с этим крупных дозах экстрактов свиного желудка и печени лошадиного эмбриона. Показал им простой механизм, с помощью которого бутылки на двух последних метрах каждого восьмиметрового отрезка пути встряхиваются все сразу, чтобы приучить зародыши к движению. Дал понять об опасности так называемой «раскупорочной травмы» и перечислил принимаемые контрмеры – рассказал о специальной тренировке обутыленных зародышей. Сообщил об определении пола, производимом в районе 200-го метра. Привел условные обозначения: «Т» – для мужского пола, «О» – для женского, а для будущих «неплод» – черный вопросительный знак на белом фоне.

– Понятно ведь, – сказал мистер Фостер, – что в подавляющем большинстве случаев плодовоспособность является только помехой. Для наших целей был бы, в сущности, вполне достаточен один плодоносящий яичник на каждые тысячу двести женских особей. Но хочется иметь хороший выбор. И, разумеется, должен всегда быть обеспечен огромный аварийный резерв плодовоспособных яичников. Поэтому мы позволяем целым тридцати процентам женских зародышей развиваться нормально. Остальные же получают дозу мужского полового гормона через каждые двадцать четыре метра дальнейшего маршрута. В результате к моменту раскупорки они уже являются неплодами – в структурном отношении

вполне нормальными особями (с той, правда, оговоркой, что у них чуточку заметна тенденция к волосистости щек), но неспособными давать потомство. Гарантированно, абсолютно неспособными. Что наконец-то позволяет нам, – продолжал мистер Фостер, – перейти из сферы простого рабского подражания природе в куда более увлекательный мир человеческой изобретательности.

Он удовлетворенно потер руки.

– Вынашивать плод и корова умеет; довольствоваться этим мы не можем. Сверх этого мы предопределяем и приспособляем, формируем. Младенцы наши раскупориваются уже подготовленными к жизни в обществе – как альфы и эпсилон, как будущие работники канализационной сети или же как будущие... – он хотел было сказать «главноуправители», но вовремя поправился: – как будущие директора инкубаториев.

Директор улыбкой поблагодарил за комплимент. Остановились далее у ленты 11, на 320-м метре. Молодой техник, бета-минусовик, настраивал там отверткой и гаечным ключом кровенасос очередной бутылки. Он затягивал гайки, и гул электромотора понижался, густел понемногу. Ниже, ниже... Последний поворот ключа, взгляд на счетчик, и дело сделано. Затем два шага вдоль конвейера, и началась настройка следующего насоса.

– Убавлено число оборотов, – объяснил мистер Фостер. – Кровезаменитель циркулирует теперь медленнее; следовательно, реже проходит через легкое; следовательно, дает зародышу меньше кислорода. А ничто так не снижает умственно-телесный уровень, как нехватка кислорода.

– А зачем нужно снижать уровень? – спросил один наивный студент. Длинная пауза.

– Осел! – произнес Директор. – Как это не сообразить, что у эпсилон-зародыша должна быть не только наследственность эпсилон, но и питательная среда эпсилон.

Несообразительный студент готов был сквозь землю провалиться от стыда.

– Чем ниже каста, – сказал мистер Фостер, – тем меньше поступление кислорода. Нехватка, прежде всего, действует на мозг. Затем на скелет. При семидесяти процентах кислородной нормы получают карлики. А ниже семидесяти – безглазые уродцы. Которые ни к чему уж не пригодны, – отметил мистер Фостер.

– А вот изобрети мы только, – мистер Фостер взволнованно и таинственно понизил голос, – найди мы только способ сократить время взросления, и какая бы это была победа, какое благо для общества! Обратимся для сравнения к лошади. – Слушатели обратились мыслями к лошади. – В шесть лет она уже взрослая. Слон взрослеет к десяти годам. А человек и к тринадцати еще не созрел сексуально; полностью же вырастает к двадцати. Отсюда, понятно, и этот продукт замедленного развития – человеческий разум.

– Но от эпсилонов, – весьма убедительно вел далее мысль мистер Фостер, – нам человеческий разум не требуется. Не требуется, стало быть, и не формируется. Но хотя мозг эпсилоня кончает развитие в десятилетнем возрасте, тело эпсилоня лишь к восемнадцати годам созревает для взрослой работы. Долгие потерянные годы непроизводительной незрелости. Если бы физическое развитие можно было ускорить, сделать таким же незамедленным, как, скажем, у коровы, – какая бы гигантская получилась экономическая выгода для общества!

– Гигантская! – шепотом воскликнули студенты, зараженные энтузиазмом мистера Фостера.

Он углубился в ученые детали: повел речь об аномальной координации эндокринных желез, вследствие которой люди и растут так медленно; ненормальность эту можно объяснить зародышевой мутацией. А можно ли устранить последствия этой мутации? Можно ли с помощью надлежащей методики вернуть каждый отдельный эпсилон зародыш к былой нормальной, как у собак и у коров, скорости развития? Вот в чем проблема. И ее уже чуть было не решили. Пилкингтону удалось в Момбасе получить особи, половозрелые к четырем годам и вполне выросшие к шести с половиной. Триумф науки! Но в общественном аспекте бесполезный. Шестилетние мужчины и женщины слишком глупы – не справляются даже с работой эпсилонов. А метод Пилкингтона таков, что середины нет – либо все, либо ничего не получаешь, никакого сокращения сроков. В Момбасе продолжают поиски золотой середины между взрослением в двадцать и взрослением в шесть лет. Но пока безуспешные. Мистер Фостер вздохнул и покачал головой.

Странствия в вишневом сумраке привели студентов к ленте 9, к 170-му метру. Начиная от этой точки, лента 9 была закрыта с боков и сверху; бутылки совершали дальше свой маршрут как бы в туннеле; лишь кое-где виднелись открытые промежутки в два-три метра длиной.

– Формирование любви к теплу, – сказал мистер Фостер – Горячие туннели чередуются с прохладными. Прохлада связана с дискомфортом в виде жестких рентгеновских лучей. К моменту раскупорки зародыши уже люто боятся холода. Им предназначено поселиться в тропиках или стать горнорабочими, пряхсть ацетатный шелк, плавить сталь. Телесная боязнь холода будет позже подкреплена воспитанием мозга. Мы приучаем их тело благоденствовать в тепле. А наши коллеги на верхних этажах внедрят любовь к теплу в их сознание, – заключил мистер Фостер.

– И в этом, – добавил назидательно Директор, – весь секрет счастья и добродетели: люби то, что тебе предначертано. Все воспитание тела и мозга как раз и имеет целью привить людям любовь к их неизбежной социальной судьбе.

В одном из межтуннельных промежутков действовала шприцем медицинская сестра – осторожно втыкала длинную тонкую иглу в студенистое содержимое очередной бутылки. Студенты и оба наставника с минуту понаблюдали за ней молча.

– Привет, Ленайна, – сказал мистер Фостер, когда она вынула, наконец, иглу и распрямилась.

Девушка, вздрогнув, обернулась. Даже в этой мгле, багрянившей ее глаза и кожу, видно было, что она необычайно хороша собой – как куколка.

– Генри! – Она блеснула на него алой улыбкой, коралловым ровным оскалом зубов.

– 0-ча-ро-вательна, – заворковал Директор, ласково потрепал ее сзади, в ответ на что девушка и его подарила улыбкой, но весьма почтительной.

– Какие производишь инъекции? – спросил мистер Фостер сугубо уже деловым тоном.

– Да обычные уколы, от брюшного тифа и сонной болезни.

– Работников для тропической зоны начинаем колоть на 150-м метре, – объяснил мистер Фостер студентам, – когда у зародыша еще жабры. Иммунизируем рыбу против болезней будущего человека. – И, повернувшись опять к Ленайне, сказал ей. – Сегодня, как всегда, без десяти пять на крыше.

– Очаровательна, – бормотнул снова Директор, дал прощальный шлепочек и отошел, присоединившись к остальным.

– У грядущего поколения химиков – у длинной вереницы бутылей на ленте 10 – формировалась стойкость к свинцу, каустической соде, смолам,

хлору. На ленте 3 партия из двухсот пятидесяти зародышей, предназначенных в бортмеханики ракетопланов, как раз подошла к тысяча сотому метру. Специальный механизм безостановочно переворачивал эти бутылки.

— Чтобы усовершенствовать их чувство равновесия, — разъяснил мистер Фостер. — Работа их ждет сложная: производить ремонт на внешней обшивке ракеты во время полета непросто. При нормальном положении бутылки скорость кровотока мы снижаем, и в это время организм зародыша голодает; зато в момент, когда зародыш повернут вниз головой, мы удваиваем приток кровезаменителя. Они приучаются связывать перевернутое положение с отличным самочувствием, и счастливы они по-настоящему бывают в жизни лишь тогда, когда находятся вверх тормашками.

— А теперь, — продолжал мистер Фостер, — я хотел бы показать вам кое-какие весьма интересные приемы формовки интеллектуалов альфа-плюс. Сейчас пропускаем по ленте 5 большую их партию. Нет, не на нижнем ярусе, на среднем, — остановил он двух студентов, двинувшихся было
вниз.

— Это в районе 900-го метра, — пояснил он. — Формовку интеллекта практически бесполезно начинать прежде, чем зародыш становится бесхвостым. Пойдемте.

Но Директор уже поглядел на часы.

— Без десяти минут три, — сказал он. — К сожалению, на интеллектуалов у нас не осталось времени. Нужно подняться в Питомник до того, как у детей кончится мертвый час.

Мистер Фостер огорчился.

— Тогда хоть на минуту заглянем в Зал раскупорки, — сказал он просяще.

— Согласен, — Директор снисходительно улыбнулся. — Но только на минуту.

Бродский И.А. « Мимо ристалищ, капищ...»***

Автор: Иосиф Александрович Бродский (нар. 24.05.1940, Ленинград, СССР – ум. 28.01.1996, Нью-Йорк, США).

Источник: Стихотворение «Мимо ристалищ, капищ...» написано в 1958 г.

* * *

Мимо ристалищ, капищ,
 мимо храмов и баров,
 мимо шикарных кладбищ,
 мимо больших базаров,
 мира и горя мимо,
 мимо Мекки и Рима,
 синим солнцем палимы,
 идут по земле пилигримы.
 Увечны они, горбаты,
 голодны, полуодеты,
 глаза их полны заката,
 сердца их полны рассвета.
 За ними поют пустыни,
 вспыхивают зарницы,
 звезды горят над ними,
 и хрипло кричат им птицы:
 что мир останется прежним,
 да, останется прежним,
 ослепительно снежным,
 и сомнительно нежным,
 мир останется лживым,
 мир останется вечным,
 может быть, постижимым,
 но все-таки бесконечным.
 И, значит, не будет толка
 от веры в себя да в Бога.
 ...И, значит, остались только
 иллюзия и дорога.
 И быть над землей закатам,

и быть над землей рассветам.
Удобрить ее солдатам.
Одобрить ее поэтам.

ЧАСТЬ 4. ОБЩЕСТВО. ПОЛИТИКА. ПРАВО

Эта часть пособия соответствует наиболее популярному и динамично развивающемуся разделу философского знания – социальной философии. Социальная философия охватывает обширную предметную область, в которой наибольший интерес на современном этапе представляют феномены глобализации, регионализации и глокализации, статус транзитивных обществ, динамика социальных институтов и политических режимов, механизмы цивилизационного развития, изменения в социальной структуре, демографические и миграционные процессы, и многое другое. Особое место в социальной философии занимает проблема взаимодействия личности и общества, индивидуального и всеобщего. При этом нужно учитывать, что одной из важнейших функций философии является критическое рассмотрение социальных феноменов с точки зрения ценностных идеалов, с позиции «как *должно* или *не должно* быть». В этом заключается отличие философии от науки, которая не рассуждает о должном, а старается быть максимально объективной и беспристрастной, в этом же проявляется духовная близость философии и литературы. В классической и современной литературе можно встретить большое количество примеров глубокого и эмоционального анализа недостатков как конкретных обществ и политических систем, так и всеобщих основ социальной жизни, социального неравенства, несправедливости и жестокости власти, подавления обществом проявлений индивидуальной свободы, «омассовления» общества.

Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы.

Автор: Достоевский Федор Михайлович (род. 30.11.1821, Москва, Российская Империя – ум. 28.01.1881, Санкт-Петербург, Российская Империя)

Источник: Роман «Братья Карамазовы» опубликован в 1880 г.

Вопросы для обсуждения

- 1) *Как можно определить понятие «свобода»?*
- 2) *В чем состоит проблема свободы человека? Какие сложности и противоречия она в себе таит?*
- 3) *Как соотносятся человеческая свобода и счастье, стремление к общности, покою, благополучию?*
- 4) *Какие принципы и идеи лежат в основании единства человеческого общества и истории?*

– Ведь вот и тут без предисловия невозможно, то есть без литературного предисловия, тьфу! – засмеялся Иван, – а какой уж я сочинитель! Видишь, действие у меня происходит в шестнадцатом столетии, а тогда, – тебе, впрочем, это должно быть известно еще из классов, – тогда как раз было в обычае сводить в поэтических произведениях на землю горние силы. [...]

Ну вот и моя поэмка была бы в том же роде, если б явилась в то время. У меня на сцене является он; правда, он ничего и не говорит в поэме, а только появляется и проходит. Пятнадцать веков уже минуло тому, как он дал обетование прийти во царствии своем, пятнадцать веков, как пророк его написал: «Се гряду скоро». «О дне же сем и часе не знает даже и сын, токмо лишь отец мой небесный», как изрек он и сам еще на земле. Но человечество ждет его с прежнею верой и с прежним умилением. О, с большею даже верой, ибо пятнадцать веков уже минуло с тех пор, как прекратились залогов с небес человеку:

Верь тому, что сердце скажет.

Нет залогов от небес.

И только одна лишь вера в сказанное сердцем! Правда, было тогда и много чудес. Были святые, производившие чудесные исцеления; к иным праведникам, по жизнеописаниям их, сходила сама царица небесная. Но дьявол не дремлет, и в человечестве началось уже сомнение в правдивости этих чудес. Как раз явилась тогда на севере, в Германии, страшная новая

ересь. Огромная звезда, «подобная светильнику» (то есть церкви) «пала на источники вод, и стали они горьки». Эти ереси стали богохульно отрицать чудеса. Но тем пламеннее верят оставшиеся верными. Слезы человечества восходят к нему по-прежнему, ждут его, любят его, надеются на него, жаждут пострадать и умереть за него, как и прежде. И вот столько веков молило человечество с верой и пламенем: «Бо господи явися нам», столько веков взывало к нему, что он, в неизмеримом сострадании своем, возжелал снизойти к молящим. [...]

И вот он возжелал появиться хоть на мгновенье к народу, – к мучающемуся, страдающему, смрадно-грешному, но младенчески любящему его народу. Действие у меня в Испании, в Севилье, в самое страшное время инквизиции, когда во славу божью в стране ежедневно горели костры и

В великолепных автодафе
Сжигали злых еретиков.

О, это, конечно, было не то сошествие, в котором явится он, по обещанию своему, в конце времен во всей славе небесной и которое будет внезапно, «как молния, блистающая от востока до запада». Нет, он возжелал хоть на мгновенье посетить детей своих и именно там, где как раз затрещали костры еретиков. По безмерному милосердию своему он проходит еще раз между людей в том самом образе человеческом, в котором ходил три года между людьми пятнадцать веков назад. Он снисходит на «стогны жаркие» южного города, как раз в котором всего лишь накануне в «великолепном автодафе», в присутствии короля, двора, рыцарей, кардиналов и прелестнейших придворных дам, при многочисленном населении всей Севильи, была сожжена кардиналом великим инквизитором разом чуть не целая сотня еретиков *ad maiorem gloriam Dei*. [к вящей славе господней (лат.).] Он появился тихо, незаметно, и вот все – странно это – узнают его. Это могло бы быть одним из лучших мест поэмы, то есть почему именно узнают его. Народ непобедимою силой стремится к нему, окружает его, нарастает кругом него, следует за ним. Он молча проходит среди их с тихой улыбкой бесконечного сострадания. Солнце любви горит в его сердце, лучи Света, Просвещения и Силы текут из очей его и, изливаясь на людей, сотрясают их сердца ответною любовью. Он простирает к ним руки, благословляет их, и от прикосновения к нему, даже лишь к одеждам его, исходит целящая сила. Вот из толпы восклицает старик, слепой с детских лет: «Господи, исцели меня, да и я тебя узрю», и вот как бы чешуя сходит с глаз его, и слепой его

видит. Народ плачет и целует землю, по которой идет он. Дети бросают пред ним цветы, поют и вопиют ему: «Осанна!», «Это он, это сам он, – повторяют все, – это должен быть он, это никто как он». Он останавливается на паперти Севильского собора в ту самую минуту, когда во храм вносят с плачем детский открытый белый гробик: в нем семилетняя девочка, единственная дочь одного знатного гражданина. Мертвый ребенок лежит весь в цветах. «Он воскресит твое дитя», – кричат из толпы плачущей матери. Вышедший навстречу гроба соборный патер смотрит в недоумении и хмурит брови. Но вот раздается вопль матери умершего ребенка. Она повергается к ногам его: «Если это ты, то воскреси дитя мое!» – восклицает она, простирая к нему руки. Процессия останавливается, гробик опускают на паперть к ногам его. Он глядит с состраданием, и уста его тихо и еще раз произносят: «Талифа куми» – «и восста девица». Девочка подымается в гробе, садится и смотрит, улыбаясь, удивленными раскрытыми глазками кругом. В руках ее букет белых роз, с которым она лежала в гробу. В народе смятение, крики, рыдания, и вот, в эту самую минуту, вдруг проходит мимо собора по площади сам кардинал великий инквизитор. Это девяностолетний почти старик, высокий и прямой, с иссохшим лицом, со впалыми глазами, но из которых еще светится, как огненная искорка, блеск. О, он не в великолепных кардинальских одеждах своих, в каких красовался вчера пред народом, когда сжигали врагов римской веры, – нет, в эту минуту он лишь в старой, грубой монашеской своей рясе. За ним в известном расстоянии следуют мрачные помощники и рабы его и «священная» стража. Он останавливается пред толпой и наблюдает издали. Он всё видел, он видел как поставили гроб у ног его, видел, как воскресла девица, и лицо его омрачилось. Он хмурит седые густые брови свои, и взгляд его сверкает зловещим огнем. Он простирает перст свой и велит стражам взять его. И вот, такова его сила и до того уже приучен, покорен и трепетно послушен ему народ, что толпа немедленно раздвигается пред стражами, и те, среди гробового молчания, вдруг наступившего, налагают на него руки и уводят его. Толпа моментально, вся как один человек, склоняется головами до земли пред старцем инквизитором, тот молча благословляет народ и проходит мимо. Стража приводит пленника в тесную и мрачную сводчатую тюрьму в древнем здании святого судилища и запирает в нее. Проходит день, настает темная, горячая и «бездыханная» севильская ночь. Воздух «лавром и лимоном пахнет». Среди глубокого мрака вдруг отворяется железная дверь тюрьмы, и сам старик великий инквизитор со

светильником в руке медленно входит в тюрьму. Он один, дверь за ним тотчас же запирается. Он останавливается при входе и долго, минуту или две, всматривается в лицо его. Наконец тихо подходит, ставит светильник на стол и говорит ему: «Это ты? ты? – Но, не получая ответа, быстро прибавляет: – Не отвечай, молчи. Да и что бы ты мог сказать? Я слишком знаю, что ты скажешь. Да ты и права не имеешь ничего прибавлять к тому, что уже сказано тобой прежде. Зачем же ты пришел нам мешать? Ибо ты пришел нам мешать и сам это знаешь. Но знаешь ли, что будет завтра? Я не знаю, кто ты, и знать не хочу: ты ли это или только подобие его, но завтра же я осужу и сожгу тебя на костре, как злейшего из еретиков, и тот самый народ, который сегодня целовал твои ноги, завтра же по одному моему мановению бросится подгребать к твоему костру угли, знаешь ты это? Да, ты, может быть, это знаешь», – прибавил он в проникновенном раздумье, ни на мгновение не отрываясь взглядом от своего пленника. [...]

«Имеешь ли ты право возвестить нам хоть одну из тайн того мира, из которого ты пришел? – спрашивает его мой старик и сам отвечает ему за него, – нет, не имеешь, чтобы не прибавлять к тому, что уже было прежде сказано, и чтобы не отнять у людей свободы, за которую ты так стоял, когда был на земле. Всё, что ты вновь возвестишь, посягнет на свободу веры людей, ибо явится как чудо, а свобода их веры тебе была дороже всего еще тогда, полторы тысячи лет назад. Не ты ли так часто тогда говорил: „Хочу сделать вас свободными“. Но вот ты теперь увидел этих „свободных“ людей, – прибавляет вдруг старик со вдумчивою усмешкой. – Да, это дело нам дорого стоило, – продолжает он, строго смотря на него, – но мы dokonчили наконец это дело во имя твое. Пятнадцать веков мучились мы с этою свободой, но теперь это кончено, и кончено крепко. Ты не веришь, что кончено крепко? Ты смотришь на меня кротко и не удостоиваешь меня даже негодования? Но знай, что теперь и именно ныне эти люди уверены более чем когда-нибудь, что свободны вполне, а между тем сами же они принесли нам свободу свою и покорно положили ее к ногам нашим. Но это сделали мы, а того ль ты желал, такой ли свободы?»

– Я опять не понимаю – прервал Алеша, – он иронизирует, смеется?

– Нимало. Он именно ставит в заслугу себе и своим, что наконец-то они побороли свободу и сделали так для того, чтобы сделать людей счастливыми. «Ибо теперь только (то есть он, конечно, говорит про инквизицию) стало возможным помыслить в первый раз о счастье людей. Человек был устроен бунтовщиком; разве бунтовщики могут быть счастливыми? Тебя предупреждали, – говорит он ему, – ты не имел

недостатка в предупреждениях и указаниях, но ты не послушал предупреждений, ты отверг единственный путь, которым можно было устроить людей счастливыми, но, к счастью, уходя, ты передал дело нам. Ты обещал, ты утвердил своим словом, ты дал нам право связывать и развязывать и уж, конечно, не можешь и думать отнять у нас это право теперь. Зачем же ты пришел нам мешать?»

— А что значит: не имел недостатка в предупреждении и указании? — спросил Алеша.

— А в этом-то и состоит главное, что старику надо высказать.

«Страшный и умный дух, дух самоуничтожения и небытия, — продолжает старик, — великий дух говорил с тобой в пустыне, и нам передано в книгах, что он будто бы „искушал“ тебя. Так ли это? И можно ли было сказать хоть что-нибудь истиннее того, что он возвестил тебе в трех вопросах, и что ты отверг, и что в книгах названо „искушениями“? А между тем если было когда-нибудь на земле совершено настоящее громовое чудо, то это в тот день, в день этих трех искушений. Именно в появлении этих трех вопросов и заключалось чудо. Если бы возможно было помыслить, лишь для пробы и для примера, что три эти вопроса страшного духа бесследно утрачены в книгах и что их надо восстановить вновь придумать и сочинить, чтоб внести опять в книги, и для этого собрать всех мудрецов земных — правителей, первосвященников, ученых, философов, поэтов — и задать им задачу: придумайте, сочините три вопроса, но такие, которые мало того, что соответствовали бы размеру события, но и выражали бы сверх того, в трех словах, в трех только фразах человеческих, всю будущую историю мира и человечества, — то думаешь ли ты, что вся премудрость земли, вместе соединившаяся, могла бы придумать хоть что-нибудь подобное по силе и по глубине тем трем вопросам которые действительно были предложены тебе тогда могучим и умным духом в пустыне? Уж по одним вопросам этим, лишь по чуду их появления, можно понимать, что имеешь дело не с человеческим текущим умом, а с вечною и абсолютным. Ибо в этих трех вопросах как бы совокуплена в одно целое и предсказана вся дальнейшая история человеческая и явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на всей земле. Тогда это не могло быть еще так видно, ибо будущее было неведомо, но теперь, когда прошло пятнадцать веков, мы видим, что всё в этих трех вопросах до того угадано и предсказано и до того оправдалось, что прибавить к ним или убавить от них ничего нельзя более.

Реши же сам, кто был прав: ты или тот, который тогда вопрошал тебя? Вспомни первый вопрос; хоть и не буквально, но смысл его тот: „Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они, в простоте своей и в прирожденном бесчинстве своем, не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся, – ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы! А видишь ли сии камни в этой нагой раскаленной пустыне? Обрати их в хлебы, и за тобой побежит человечество как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что ты отымешь руку свою и прекратятся им хлебы твои.» Но ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение, ибо какая же свобода, рассудил ты, если послушание куплено хлебами? Ты возразил, что человек жив не единым хлебом, но знаешь ли, что во имя этого самого хлеба земного и восстанет на тебя дух земли, и сразится с тобою, и победит тебя, и все пойдут за ним, восклицая: „Кто подобен зверю сему, он дал нам огонь с небеси!“ Знаешь ли ты, что пройдут века и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные „Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!“ – вот что напишут на знамени, которое воздвигнут против тебя и которым разрушится храм твой. На месте храма твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня, и хотя и эта не достроится, как и прежняя, но всё же ты бы мог избежать этой новой башни и на тысячу лет сократить страдания людей, ибо к нам же ведь придут они промучившись тысячу лет со своей башней! Они отыщут нас тогда опять под землей, в катакомбах, скрывающихся (ибо мы будем вновь гонимы и мучимы) найдут нас и возопиют к нам: „Накормите нас, ибо те, которые обещали нам огонь с небеси, его не дали.“ И тогда уже мы и достроим их башню, ибо достроит тот, кто накормит, а накормим лишь мы, во имя твое, и сождем, что во имя твое. О, никогда, никогда без нас они не накормят себя! Никакая наука не даст им хлеба, пока они будут оставаться свободными, но кончится тем, что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам: „Лучше поработите нас, но накормите нас“. Поймут наконец сами, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немислимы, ибо никогда, никогда не сумеют они разделить между собою! Убедятся тоже, что не могут быть никогда и свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики. Ты обещал им хлеб небесный, но, повторяю опять, может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагородного людского племени с

земным? И если за тобою во имя хлеба небесного пойдут тысячи и десятки тысяч, то что станется с миллионами и с десятками тысяч миллионов существ, которые не в силах будут пренебречь хлебом земным для небесного? Иль тебе дороги лишь десятки тысяч великих и сильных, а остальные миллионы многочисленные, как песок морской, слабых, но любящих тебя, должны лишь послужить материалом для великих и сильных? Нет, нам дороги и слабые. Они порочны и бунтовщики, но под конец они-то станут и послушными. Они будут дивиться на нас и будут считать нас за богов за то, что мы, став во главе их, согласились выносить свободу и над ними господствовать так ужасно им станет под конец быть свободными! Но мы скажем, что послушны тебе и господствуем во имя твое. Мы их обманем опять, ибо тебя мы уж не пустим к себе. В обмане этом и будет заключаться наше страдание, ибо мы должны будем лгать. Вот что значил этот первый вопрос в пустыне, и вот что ты отверг во имя свободы, которую поставил выше всего. А между тем в вопросе этом заключалась великая тайна мира сего. Приняв „хлебы“, ты бы ответил на всеобщую и вековую тоску человеческую как единоличного существа, так и целого человечества вместе – это: „пред кем преклониться?“ Нет заботы непрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться. Но ищет человек преклониться пред тем, что уже бесспорно, столь бесспорно, чтобы все люди разом согласились на всеобщее пред ним преклонение. Ибо забота этих жалких созданий не в том только состоит, чтобы сыскать то, пред чем мне или другому преклониться, но чтобы сыскать такое, чтобы и все уверовали в него и преклонились пред ним, и чтобы непременно все вместе. Вот эта потребность общности преклонения и есть главнейшее мучение каждого человека единолично и как целого человечества с начала веков. Из-за всеобщего преклонения они истребляли друг друга мечом. Они созидали богов и взывали друг к другу: „Бросьте ваших богов и придите поклониться нашим, не то смерть вам и богам вашим!“ И так будет до скончания мира, даже и тогда, когда исчезнут в мире и боги: всё равно падут пред идолами. Ты знал, ты не мог не знать эту основную тайну природы человеческой, но ты отверг единственное абсолютное знамя, которое предлагалось тебе, чтобы заставить всех преклониться пред тобою бесспорно, – знамя хлеба земного, и отверг во имя свободы и хлеба небесного. Взгляни же, что сделал ты далее. И всё опять во имя свободы! Говорю тебе, что нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо

рождается. Но овладевает свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть. С хлебом тебе давалось бесспорное знамя: дашь хлеб, и человек преклонится, ибо ничего нет бесспорнее хлеба, но если в то же время кто-нибудь овладеет его совестью помимо тебя – о, тогда он даже бросит хлеб твой и пойдет за тем, который обольстит его совесть. В этом ты был прав. Ибо тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорее истребит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его всё были хлебы. Это так, но что же вышло: вместо того чтоб овладеть свободой людей, ты увеличил им ее еще больше! Или ты забыл, что спокойствие и даже смерть человеку дороже свободного выбора в познании добра и зла? Нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его совести, но нет ничего и мучительнее. И вот вместо твердых основ для успокоения совести человеческой раз навсегда – ты взял всё, что есть необычайного, гадательного и неопределенного, взял всё, что было не по силам людей, а потому поступил как бы и не любя их вовсе, – и это кто же: тот, который пришел отдать за них жизнь свою! Вместо того чтоб овладеть людскою свободой, ты умножил ее и обременил ее мучениями душевное царство человека вовеки. Ты возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за тобою, прельщенный и плененный тобою. Вместо твердого древнего закона – свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве твой образ пред собою, – но неужели ты не подумал, что он отвергнет же наконец и оспорит даже и твой образ и твою правду, если его угнетут таким страшным бременем, как свобода выбора? Они воскликнут наконец, что правда не в тебе, ибо невозможно было оставить их в смятении и мучении более, чем сделал ты, оставив им столько забот и неразрешимых задач. Таким образом, сам ты и положил основание к разрушению своего же царства и не вини никого в этом более. А между тем то ли предлагалось тебе? Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков, для их счастья, – эти силы: чудо, тайна и авторитет Ты отверг и то, и другое, и третье и сам подал пример тому. Когда страшный и премудрый дух поставил тебя на вершине храма и сказал тебе: „Если хочешь узнать, сын ли ты божий, то верзись вниз, ибо сказано про того, что ангелы подхватят и понесут его, и не упадет и не расшибется, и узнаешь тогда, сын ли ты божий, и докажешь тогда, какова вера твоя в отца твоего», но ты, выслушав, отверг предложение и не поддался и не бросился вниз. О,

конечно, ты поступил тут гордо и великолепно, как бог, но люди-то, но слабое бунтующее племя это – они-то боги ли? О, ты понял тогда, что, сделав лишь шаг, лишь движение броситься вниз, ты тотчас бы и искусил господа, и веру в него всю потерял, и разбился бы о землю, которую спасать пришел и возрадовался бы умный дух, искушавший тебя. Но, повторяю, много ли таких, как ты? И неужели ты в самом деле мог допустить хоть минуту, что и людям будет под силу подобное искушение? Так ли создана природа человеческая, чтоб отвергнуть чудо и в такие страшные моменты жизни, моменты самых страшных основных и мучительных душевных вопросов своих оставаться лишь со свободным решением сердца? О, ты знал, что подвиг твой сохранится в книгах, достигнет глубины времен и последних пределов земли, и понадеялся, что, следуя тебе, и человек останется с богом, не нуждаясь в чуде. Но ты не знал, что чуть лишь человек отвергнет чудо, то тотчас отвергнет и бога, ибо человек ищет не столько бога, сколько чудес. И так как человек оставаться без чуда не в силах, то насоздаст себе новых чудес, уже собственных, и поклонится уже знахарскому чуду, бабьему колдовству, хотя бы он сто раз был бунтовщиком, еретиком и безбожником. Ты не сошел с креста, когда кричали тебе, издеваясь и дразня тебя: „Сойди со креста и уверуем, что это ты». Ты не сошел потому что опять-таки не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной. Жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника пред могуществом, раз навсегда его ужаснувшим. Но и тут ты судил о людях слишком высоко, ибо, конечно, они невольники, хотя и созданы бунтовщиками. Озрись и суди, вот прошло пятнадцать веков, поди посмотри на них: кого ты вознес до себя? Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем ты о нем думал! Может ли, может ли он исполнить то, что и ты? Столь уважая его, ты поступил, как бы перестав ему сострадать, потому что слишком много от него и потребовал – и это кто же, тот который возлюбил его более самого себя! Уважая его менее, менее бы от него и потребовал, а это было бы ближе к любви, ибо легче была бы ноша его. Он слаб и подл. Что в том, что он теперь повсеместно бунтует против нашей власти и гордится, что он бунтует? Это гордость ребенка и школьника. Это маленькие дети, взбунтовавшиеся в классе и выгнавшие учителя. Но придет конец и восторгу ребятишек, он будет дорого стоять им. Они ниспровергнут храмы и зальют кровью землю. Но догадаются наконец глупые дети, что хоть они и бунтовщики, но бунтовщики слабосильные, собственного бунта своего не выдерживающие. Обливаясь

глупыми слезами своими, они сознаются наконец, что создавший их бунтовщиками, без сомнения, хотел посмеяться над ними. Скажут это они в отчаянии, и сказанное ими будет богохульством, от которого они станут еще несчастнее, ибо природа человеческая не выносит богохульства и в конце концов сама же всегда и отмстит за него. Итак, беспокойство, смятение и несчастье – вот теперешний удел людей после того, как ты столь претерпел за свободу их! Великий пророк твой в видении и в иносказании говорит, что видел всех участников первого воскресения и что было их из каждого колена по двенадцати тысяч. Но если было их столько, то были и они как бы не люди, а боги. Они вытерпели крест твой, они вытерпели десятки лет голодной и нагой пустыни, питаясь акридами и кореньями, – и уж, конечно, ты можешь с гордостью указать на этих детей свободы, свободной любви, свободной и великолепной жертвы их во имя твое. Но вспомни, что их было всего только несколько тысяч, да и то богов, а остальные? И чем виноваты остальные слабые люди, что не могли вытерпеть того, что могучие? Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров? Да неужто же и впрямь приходил ты лишь к избранным и для избранных? Но если так, то тут тайна и нам не понять ее. А если тайна, то и мы вправе были проповедовать тайну и учить их, что не свободное решение сердец их важно и не любовь, а тайна, которой они повиноваться должны слепо, даже мимо их совести. Так мы и сделали. Мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете. И люди обрадовались, что их вновь повели как стадо и что с сердец их снят наконец столь страшный дар, принесший им столько муки. Правы мы были, уча и делая так, скажи? Неужели мы не любили человечества, столь смиренно сознав его бессилие, с любовью облегчив его ношу и разрешив слабосильной природе его хотя бы и грех, но с нашего позволения? К чему же теперь пришел нам мешать? И что ты молча и проникновенно глядишь на меня кроткими глазами своими? Рассердись, я не хочу любви твоей, потому что сам не люблю тебя. И что мне скрывать от тебя? Или я не знаю, с кем говорю? То, что имею сказать тебе, всё тебе уже известно, я читаю это в глазах твоих. И я ли скрою от тебя тайну нашу? Может быть, ты именно хочешь услышать ее из уст моих, слушай же: мы не с тобой, а с ним, вот наша тайна! Мы давно уже не с тобою, а с ним, уже восемь веков. Ровно восемь веков назад как мы взяли от него то, что ты с негодованием отверг, тот последний дар, который он предлагал тебе, показав тебе все царства земные: мы взяли от него Рим и меч кесаря^{^^} и объявили лишь себя царями земными, царями едиными,

хотя и доныне не успели еще привести наше дело к полному окончанию. Но кто виноват? О, дело это до сих пор лишь в начале, но оно началось. Долго еще ждать завершения его, и еще много выстрадает земля, но мы достигнем и будем кесарями и тогда уже подумаем о всемирном счастье людей. А между тем ты бы мог еще и тогда взять меч кесаря. Зачем ты отверг этот последний дар? Приняв этот третий совет могучего духа, ты восполнил бы всё, чего ищет человек на земле, то есть: пред кем преклониться, кому вручить совесть и каким образом соединиться наконец всем в бесспорный общий и согласный муравейник, ибо потребность всемирного соединения есть третье и последнее мучение людей. Всегда человечество в целом своем стремилось устроиться непременно всемирно. Много было великих народов с великою историей, но чем выше были эти народы, тем были и несчастнее, ибо сильнее других сознавали потребность всемирности соединения людей. Великие завоеватели, Тимур и Чингис-ханы, пролетели как вихрь по земле, стремясь завоевать вселенную, но и те, хотя и бессознательно, выразили ту же самую великую потребность человечества ко всемирному и всеобщему единению. Приняв мир и порфиру кесаря, основал бы всемирное царство и дал всемирный покой. Ибо кому же владеть людьми как не тем, которые владеют их совестью и в чьих руках хлебы их. Мы и взяли меч кесаря, а взяв его, конечно, отвергли тебя и пошли за ним. О, пройдут еще века бесчинства свободного ума, их науки и антропофагии, потому что, начав возводить свою Вавилонскую башню без нас, они кончат антропофагией. Но тогда-то и приползет к нам зверь, и будет лизать ноги наши, и обрызжет их кровавыми слезами из глаз своих. И мы сядем на зверя и воздвигнем чашу, и на ней будет написано: „Тайна!“ Но тогда лишь и тогда настанет для людей царство покоя и счастья. Ты гордишься своими избранниками, но у тебя лишь избранники, а мы успокоим всех. Да и так ли еще: сколь многие из этих избранников, из могучих, которые могли бы стать избранниками, устали наконец, ожидая тебя, и понесли и еще понесут силы духа своего и жар сердца своего на иную ниву и кончат тем, что на тебя же и воздвигнут свободное знамя свое. Но ты сам воздвиг это знамя. У нас же все будут счастливы и не будут более ни бунтовать, ни истреблять друг друга, как в свободе твоей, повсеместно. О, мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся. И что же, правы мы будем или солжем? Они сами убедятся, что правы, ибо вспомнят, до каких ужасов рабства и смятения доводила их свобода твоя. Свобода, свободный ум и наука заведут их в такие дебри и поставят пред

такими чудами и неразрешимыми тайнами, что одни из них, непокорные и свирепые, истребят себя самих, другие, непокорные, но малосильные, истребят друг друга, а третьи, оставшиеся, слабосильные и несчастные, приползут к ногам нашим и возопиют к нам: „Да, вы были правы, вы одни владели тайной его, и мы возвращаемся к вам, спасите нас от себя самих». Получая от нас хлебы, конечно, они ясно будут видеть, что мы их же хлебы, их же руками добытые, берем у них, чтобы им же раздать, безо всякого чуда, увидят, что не обратили мы камней в хлебы, но воистину более, чем самому хлебу, рады они будут тому, что получают его из рук наших! Ибо слишком будут помнить, что прежде, без нас, самые хлебы, добытые ими, обращались в руках их лишь в камни, а когда они воротились к нам, то самые камни обратились в руках их в хлебы. Слишком, слишком оценят они, что значит раз навсегда подчиниться! И пока люди не поймут сего, они будут несчастны. Кто более всего способствовал этому непониманию, скажи? Кто раздробил стадо и рассыпал его по путям неведомым? Но стадо вновь соберется и вновь покорится, и уже раз навсегда. Тогда мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы. О, мы убедим их наконец не гордиться, ибо ты вознес их и тем научил гордиться; докажем им, что они слабосильны, что они только жалкие дети, но что детское счастье слаще всякого. Они станут робки и станут смотреть на нас и прижиматься к нам в страхе, как птенцы к наседке. Они будут дивиться и ужасаться на нас и гордиться тем, что мы так могучи и так умны, что могли усмирить такое буйное тысячемиллионное стадо. Они будут расслабленно трепетать гнева нашего, умы их оробеют, глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин, но столь же легко будут переходить они по нашему мановению к веселью и к смеху, светлой радости и счастливой детской песенке. Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками. О, мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны, и они будут любить нас как дети за то, что мы им позволим грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения; позволяем же им грешить потому, что их любим, наказание же за эти грехи, так и быть, возьмем на себя. И возьмем на себя, а нас они будут обожать как благодетелей, понесших на себе их грехи пред богом. И не будет у них никаких от нас тайн. Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей – всё судя по их послушанию – и они будут нам покоряться

с весельем и радостью. Самые мучительные тайны их совести – всё, всё понесут они нам, и мы всё разрешим, и они поверят решению нашему с радостью, потому что оно избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного. И все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Ибо лишь мы, мы, хранящие тайну, только мы будем несчастны. Будет тысячи миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла. Тихо умрут они, тихо угаснут во имя твое и за гробом обрящут лишь смерть. Но мы сохраним секрет и для их же счастья будем манить их наградой небесною и вечною. Ибо если б и было что на том свете, то уж, конечно, не для таких, как они. Говорят и пророчествуют, что ты придешь и вновь победишь, придешь со своими избранниками, со своими гордыми и могучими, но мы скажем, что они спасли лишь самих себя, а мы спасли всех. Говорят, что опозорена будет блудница, сидящая на звере и держащая в руках своих тайну, что взбунтуются вновь малосильные, что разорвут порфиру ее и обнажат ее „гадкое“ тело. Но я тогда встану и укажу тебе на тысячи миллионов счастливых младенцев, не знавших греха. И мы, взявшие грехи их для счастья их на себя, мы станем пред тобой и скажем: Суди нас, если можешь и смеешь». Знай, что я не боюсь тебя. Знай, что и я был в пустыне, что и я питался акридами и кореньями, что и я благословлял свободу, которою ты благословил людей, и я готовился стать в число избранников твоих, в число могучих и сильных с жаждой „восполнить число». Но я очнулся и не захотел служить безумию. Я воротился и примкнул к сонму тех, которые исправили подвиг твой. Я ушел от гордых и воротился к смиренным для счастья этих смиренных. То, что я говорю тебе, сбудется, и царство наше созиждется. Повторяю тебе, завтра же ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мановению моему бросится подгребать горячие угли к костру твоему, на котором сожгу тебя за то, что пришел нам мешать. Ибо если был кто всех более заслужил наш костер, то это ты. Завтра сожгу тебя. Dixi» [Так я сказал (лат.).].

Иван остановился. Он разгорячился, говоря, и говорил с увлечением; когда же кончил, то вдруг улыбнулся. [...]

– Чем же кончается твоя поэма? – спросил он вдруг, смотря в землю, – или уж она кончена?

– Я хотел ее кончить так: когда инквизитор умолк, то некоторое время ждет, что пленник его ему ответит. Ему тяжело его молчание. Он видел, как узник всё время слушал его проникновенно и тихо, смотря ему

прямо в глаза и, видимо, не желая ничего возражать. Старику хотелось бы, чтобы тот сказал ему что-нибудь, хотя бы и горькое, страшное. Но он вдруг молча приближается к старику и тихо целует его в его бескровные девяностолетние уста. Вот и весь ответ. Старик вздрагивает. Что-то шевельнулось в концах губ его; он идет к двери, открывает ее и говорит ему: «Ступай и не приходи более... не приходи вовсе... никогда, никогда!» И выпускает его на «темные стогна града». Пленник уходит.

– А старик?

– Поцелуй горит на его сердце, но старик остается в прежней идее.

Замятин Е.И. Мы.

Автор: Евгений Иванович Замятин (род. 20.01.1884 Лебедянь, Российская империя – ум. 10.03.1937 Париж, Франция).

Источник: Роман «Мы» опубликован в 1929 г.

Вопросы для обсуждения

- 1) *В чем заключается сущность противоречия между индивидуальностью и социальной общностью?*
- 2) *Возможно ли построение идеальной, абсолютно гармоничной социальной системы на основании достижений науки?*
- 3) *Какие недостатки имеет строгая упорядоченность и регламентация социальной жизни?*

Запись 1-я.

Конспект: ОБЪЯВЛЕНИЕ. МУДРЕЙШАЯ ИЗ ЛИНИЙ. ПОЭМА.

Я просто списываю – слово в слово – то, что сегодня напечатано в Государственной Газете: «Через 120 дней заканчивается постройка ИНТЕГРАЛА. Близок великий, исторический час, когда первый ИНТЕГРАЛ взойдет в мировое пространство. Тысячу лет тому назад ваши героические предки покорили власти Единого Государства весь земной шар. Вам предстоит еще более славный подвиг: стеклянным, электрическим, огнедышащим ИНТЕГРАЛОМ проинтегрировать бесконечное уравнение Вселенной. Вам предстоит благодетельному игу разума подчинить неведомые существа, обитающие на иных планетах – быть может, еще в диком состоянии свободы. Если они не поймут, что мы несем им математически безошибочное счастье, наш долг заставить их быть счастливыми. Но прежде оружия мы испытываем слово.

От имени Благодетеля объявляется всем нумерам Единого Государства: Всякий, кто чувствует себя в силах, обязан составлять трактаты, поэмы, манифесты, оды или иные сочинения о красоте и величии Единого Государства.

Это будет первый груз, который понесет ИНТЕГРАЛ.

Да здравствует Единое Государство, да здравствуют нумера, да здравствует Благодетель!»

Я пишу это и чувствую: у меня горят щеки. Да: проинтегрировать грандиозное вселенское уравнение. Да: разогнуть дикую кривую, выпрямить ее по касательной – асимптоте – по прямой. Потому что линия

Единого Государства – это прямая. Великая, божественная, точная, мудрая прямая – мудрейшая из линий...

Я, Д-503, строитель [Интеграла], – я только один из математиков Единого Государства. Мое привычное к цифрам перо не в силах создать музыки ассонансов и рифм. Я лишь попытаюсь записать то, что вижу, что думаю – точнее, что мы думаем (именно так: мы, и пусть это «МЫ» будет заглавием моих записей). Но ведь это будет производная от нашей жизни, от математически совершенной жизни Единого Государства, а если так, то разве это не будет само по себе, помимо моей воли, поэмой? Будет – верю и знаю.

Я пишу это и чувствую: у меня горят щеки. Вероятно, это похоже на то, что испытывает женщина, когда впервые услышит в себе пульс нового, еще крошечного, слепого человечка. Это я и одновременно не я. И долгие месяцы надо будет питать его своим соком, своей кровью, а потом – с болью оторвать его от себя и положить к ногам Единого Государства.

Но я готов, так же, как каждый, или почти каждый, из нас. Я готов.

Запись 2-я.

Конспект: БАЛЕТ, КВАДРАТНАЯ ГАРМОНИЯ. ИКС.

Весна. Из-за Зеленой Стены, с диких невидимых равнин, ветер несет желтую медовую пыль каких-то цветов. От этой сладкой пыли сохнут губы – ежеминутно проводишь по ним языком – и, должно быть, сладкие губы у всех встречаемых женщин (и мужчин тоже, конечно). Это несколько мешает логически мыслить. Но зато небо! Синее, не испорченное ни единым облаком (до чего были дики вкусы у древних, если их поэтов могли вдохновлять эти нелепые, безалаберные, глупотолкущиеся кучи пара). Я люблю – уверен, не ошибусь, если скажу: мы любим только такое вот, стерильное, безукоризненное небо. В такие дни весь мир отлит из того же самого незыблемого, вечного стекла, как и Зеленая Стена, как и все наши постройки. В такие дни видишь самую синюю глубь вещей, какие-то неведомые дотоле, изумительные их уравнения – видишь в чем-нибудь таком самом привычном, ежедневном.

Ну, вот хоть бы это. Нынче утром был я на эллинге, где строится [Интеграл], и вдруг увидел станки: с закрытыми глазами, самозабвенно, кружились шары регуляторов; мотыли, сверкая, сгибались вправо и влево; гордо покачивал плечами балансир; в такт неслышной музыке приседало долото долбежного станка. Я вдруг увидел всю красоту этого грандиозного машинного балета, залитого легким голубым солнцем. И дальше сам с

собой: почему красиво? Почему танец красив? Ответ: потому что это [несвободное] движение, потому что весь глубокий смысл танца именно в абсолютной, эстетической подчиненности, идеальной несвободе. И если верно, что наши предки отдавались танцу в самые вдохновенные моменты своей жизни (религиозные мистерии, военные парады), то это значит только одно: инстинкт несвободы издревле органически присущ человеку, и мы, в теперешней нашей жизни – только сознательно...

Кончить придется после: щелкнул нумератор. Я подымаю глаза: О-90, конечно. И через полминуты она сама будет здесь: за мной на прогулку. Милая О! – мне всегда это казалось – что она похожа на свое имя: сантиметров на 10 ниже Материнской Нормы – и оттого вся кругло обточенная, и розовое О – рот – раскрыт навстречу каждому моему слову. И еще: круглая, пухлая складочка на запястье руки – такие бывают у детей. Когда она вошла, еще вовсе во мне гудел логический маховик, и я по инерции заговорил о только что установленной мною формуле, куда входили и мы все, и машины, и танец.

– Чудесно. Не правда ли? – спросил я.

– Да, чудесно. Весна, – розово улыбнулась мне О-90.

Ну вот, не угодно ли: весна... Она – о весне. Женщины... Я замолчал. Внизу. Проспект полон: в такую погоду послеобеденный личный час мы обычно тратим на дополнительную прогулку. Как всегда. Музыкальный Завод всеми своими трубами пел Марш Единого Государства. Мерными рядами, по четыре, восторженно отбивая такт, шли нумера – сотни, тысячи нумеров, в голубоватых юнифах (вероятно, от древнего «Uniforme»), с золотыми бляхами на груди – государственный номер каждого и каждой. И я – мы, четверо, – одна из бесчисленных волн в этом могучем потоке. Слева от меня О-90 (если бы это писал один из моих волосатых предков лет тысячу назад, он, вероятно, назвал бы ее этим смешным словом «моя»); справа – два каких-то незнакомых нумера, женский и мужской.

Блаженно-синее небо, крошечные детские солнца в каждой из блях, не омраченные безумием мыслей лица... Лучи – понимаете: все из какой-то единой, лучистой, улыбающейся материи. А медные такты: «Тра-та-та-там. Тра-та-та-там», эти сверкающие на солнце медные ступени, и с каждой ступенью – вы поднимаетесь все выше, в головокружительную синеву...

И вот, так же, как это было утром, на эллинге, я опять увидел, будто только вот сейчас первый раз в жизни, увидел все: непреложные прямые улицы, брызжащее лучами стекло мостовых, божественные параллелепипеды прозрачных жилищ, квадратную гармонию серо-голубых

шеренг. И так: будто не целые поколения, а я – именно я – победил старого Бога и старую жизнь, именно я создал все это, и я как башня, я боюсь двинуть локтем, чтобы не посыпались осколки стен, куполов, машин...

А затем мгновение – прыжок через века, с + на – . Мне вспомнилась (очевидно, ассоциация по контрасту) – мне вдруг вспомнилась картина в музее: их, тогдашний, двадцатых веков проспект, оглушительно пестрая, путаная толчея людей, колес, животных, афиш, деревьев, красок, птиц... И ведь, говорят, это на самом деле было – это могло быть. Мне показалось это так неправдоподобно, так нелепо, что я не выдержал и расхохотался вдруг.

И тотчас же эхо – смех – справа. Обернулся: в глаза мне – белые – необычайно белые и острые зубы, незнакомое женское лицо.

– Простите, – сказала она, – но вы так вдохновенно все озирали, как некий мифический бог в седьмой день творения. Мне кажется, вы уверены, что и меня сотворили вы, а не кто иной. Мне очень лестно...

Все это без улыбки, я бы даже сказал, с некоторой почтительностью (может быть, ей известно, что я – строитель [Интеграла]). Но не знаю – в глазах или бровях – какой-то странный раздражающий икс, и я никак не могу его поймать, дать ему цифровое выражение. Я почему-то смутился и, слегка путаясь, стал логически мотивировать свой смех. Совершенно ясно, что этот контраст, эта непроходимая пропасть между сегодняшним и тогдашним...

– Но почему же непроходимая? (Какие белые зубы!) Через пропасть можно перекинуть мостик. Вы только представьте себе: барабан, батальоны, шеренги – ведь это тоже было – и следовательно...

– Ну да: ясно! – крикнула (это было поразительное пересечение мыслей: она – почти моими же словами – то, что я записывал перед прогулкой).

– Понимаете: даже мысли. Это потому, что никто не «один», но «один из». Мы так одинаковы...

Она:

– Вы уверены?

Я увидел острым углом вздернутые к вискам брови – как острые рожки икса, опять почему-то сбился; взглянул направо, налево – и...

Направо от меня – она, тонкая, резкая, упрямо-гибкая, как хлыст, I-330 (вижу теперь ее номер); налево – О, совсем другая, вся из окружностей, с детской складочкой на руке, и с краю нашей четверки –

неизвестный мне мужской номер – какой-то дважды изогнутый вроде буквы S. Мы все были разные...

Эта, справа, I-330, перехватила, по-видимому, мой растерянный взгляд – и со вздохом:

– Да... Увы!

В сущности, это «увы» было совершенно уместно. Но опять что-то такое на лице у ней или в голосе...

Я с необычайной для меня резкостью сказал:

– Ничего не увы. Наука растет, и ясно – если не сейчас, так через пятьдесят, сто лет...

– Даже носы у всех...

– Да, носы, – я уже почти кричал. – Раз есть – все равно какое основание для зависти... Раз у меня нос пуговицей, а у другого...

– Ну, нос-то у вас, пожалуй, даже и «классический», как в старину говорили. А вот руки... Нет, покажите-ка, покажите-ка руки!

Терпеть не могу, когда смотрят на мои руки: все в волосах, лохматые – какой-то нелепый атавизм. Я протянул руку и – по возможности посторонним голосом – сказал:

– Обезьяньи.

Она взглянула на руки, потом на лицо:

– Да это прелюбопытный аккорд. – Она прикидывала меня глазами, как на весах, мелькнули опять рожки в углах бровей.

– Он записан на меня, – радостно-розово открыла рот О-90.

Уж лучше бы молчала – это было совершенно ни к чему. Вообще эта милая О... как бы сказать... у ней неправильно рассчитана скорость языка, секундная скорость языка должна быть всегда немного меньше секундной скорости мысли, а уже никак не наоборот.

В конце проспекта, на аккумуляторной башне, колокол гулко бил 17. Личный час кончился. I-330 уходила вместе с тем S-образным мужским номером. У него такое внушающее почтение и, теперь вижу, как будто даже знакомое лицо. Где-нибудь встречал его – сейчас не вспомню.

На прощание I – все так же иксово – усмехнулась мне.

– Загляните послезавтра в аудиториум сто двенадцать.

Я пожал плечами:

– Если у меня будет наряд именно на тот аудиториум, какой вы называли...

Она с какой-то непонятной уверенностью:

– Будет.

На меня эта женщина действовала так же неприятно, как случайно затесавшийся в уравнение неразложимый иррациональный член. И я был рад остаться хоть ненадолго вдвоем с милой О. Об руку с ней мы прошли четыре линии проспектов. На углу ей было направо, мне – налево.

– Я бы так хотела сегодня прийти к вам, опустить шторы. Именно сегодня, сейчас... – робко подняла на меня О круглые, сине-хрустальные глаза. Смешная. Ну что я мог ей сказать? Она была у меня только вчера и не хуже меня знает, что наш ближайший сексуальный день послезавтра. Это просто все то же самое ее «опережение мысли» – как бывает (иногда вредное) опережение подачи искры в двигателе.

При расставании я два... нет, буду точен, три раза поцеловал чудесные, синие, не испорченные ни одним облачком, глаза.

Запись 3-я.

Конспект: ПИДЖАК. СТЕНА. СКРИЖАЛЬ.

Просмотрел все написанное вчера – и вижу: я писал недостаточно ясно. То есть все это совершенно ясно для любого из нас. Но как знать: быть может, вы, неведомые, кому Интеграл принесет мои записки, может быть, вы великую книгу цивилизации дочитали лишь до той страницы, что и наши предки лет 900 назад. Быть может, вы не знаете даже таких азов, как Часовая Скрижаль, Личные Часы, Материнская Норма, Зеленая Стена, Благодетель. Мне смешно и в то же время очень трудно говорить обо всем этом. Это все равно как если бы писателю какого-нибудь, скажем, 20-го века в своем романе пришлось объяснять, что такое «пиджак», «квартира», «жена». А впрочем, если его роман переведен для дикарей, разве мыслимо обойтись без примечаний насчет «пиджака»? Я уверен, дикарь глядел на «пиджак» и думал: «Ну к чему это? Только обуза». Мне кажется, точь-в-точь так же будете глядеть и вы, когда я скажу вам, что никто из нас со времен Двухсотлетней Войны не был за Зеленой Стеною. Но, дорогие, надо же сколько-нибудь думать, это очень помогает. Ведь ясно: вся человеческая история, сколько мы ее знаем, это история перехода от кочевых форм ко все более оседлым. Разве не следует отсюда, что наиболее оседлая форма жизни (наша) есть вместе с тем и наиболее совершенная (наша). Если люди метались по земле из конца в конец, так это только во времена доисторические, когда были нации, войны, торговли, открытия разных америк. Но зачем, кому это теперь нужно? Я допускаю: привычка к этой оседлости получилась не без труда и не сразу. Когда во время Двухсотлетней Войны все дороги разрушились и заросли

травой – первое время, должно быть, казалось очень неудобно жить в городах, отрезанных один от другого зелеными дебрями. Но что же из этого? После того как у человека отвалился хвост, он, вероятно, тоже не сразу научился сгонять мух без помощи хвоста. Он первое время, несомненно, тосковал без хвоста. Но теперь – можете вы себе вообразить, что у вас хвост? Или: можете вы себя вообразить на улице голым, без «пиджака» (возможно, что вы еще разгуливаете в «пиджаках»). Вот так же и тут: я не могу себе представить город, не одетый Зеленой Стеною, не могу представить жизнь, не облеченную в цифровые ризы Скрижали.

Скрижаль... Вот сейчас со стены у меня в комнате сурово и нежно в глаза мне глядят ее пурпурные на золотом поле цифры. Невольно вспоминается то, что у древних называлось «иконой», и мне хочется слагать стихи или молитвы (что одно и то же). Ах, зачем я не поэт, чтобы достойно воспеть тебя, о Скрижаль, о сердце и пульс Единого Государства.

Все мы (а может быть, и вы) еще детьми, в школе, читали этот величайший из дошедших до нас памятников древней литературы – «Расписание железных дорог». Но поставьте даже его рядом со Скрижалю – и вы увидите рядом графит и алмаз: в обоих одно и то же – С, углерод, – но как вечен, прозрачен, как сияет алмаз. У кого не захватывает духа, когда вы с грохотом мчитесь по страницам «Расписания». Но Часовая Скрижаль каждого из нас наяву превращает в стального шестиколесного героя великой поэмы. Каждое утро, с шестиколесной точностью, в один и тот же час и в одну и ту же минуту мы, миллионы, встаем как один. В один и тот же час единомиллионно начинаем работу – единомиллионно кончаем. И, сливаясь в единое, миллионорукое тело, в одну и ту же, назначенную Скрижалю, секунду, мы подносим ложки ко рту и в одну и ту же секунду выходим на прогулку и идем в аудиториум, в зал Тэйлоровских экзерсисов, отходим ко сну...

Буду вполне откровенен: абсолютно точного решения задачи счастья нет еще и у нас: два раза в день – от 16 до 17 и от 21 до 22 единый мощный организм рассыпается на отдельные клетки: это установленные Скрижалю Личные Часы. В эти часы вы увидите: в комнате у одних целомудренно спущены шторы, другие мерно по медным ступеням Марша проходят проспектом, третьи – как я сейчас – за письменным столом. Но я твердо верю – пусть назовут меня идеалистом и фантазером – я верю: раньше или позже, но когда-нибудь и для этих часов мы найдем место в общей формуле, когда-нибудь все 86400 секунд войдут в Часовую Скрижаль.

Много невероятного мне приходилось читать и слышать о тех временах, когда люди жили еще в свободном, т. е. неорганизованном, диком состоянии. Но самым невероятным мне всегда казалось именно это: как тогдашняя – пусть даже зачаточная – государственная власть могла допустить, что люди жили без всякого подобия нашей Скрижали, без обязательных прогулок, без точного урегулирования сроков еды, вставали и ложились спать когда им взбредет в голову; некоторые историки говорят даже, будто в те времена на улицах всю ночь горели огни, всю ночь по улицам ходили и ездили.

Вот этого я никак не могу осмыслить. Ведь как бы ни был ограничен их разум, но все-таки должны же они были понимать, что такая жизнь была самым настоящим поголовным убийством – только медленным, изо дня в день. Государство (гуманность) запрещало убить насмерть одного и не запрещало убивать миллионы наполовину. Убить одного, т. е. уменьшить сумму человеческих жизней на 50 лет, – это преступно, а уменьшить сумму человеческих жизней на 50 миллионов лет – это не преступно. Ну, разве не смешно? У нас эту математически-моральную задачу в полминуты решит любой десятилетний нумер; у них не могли – все их Канты вместе (потому, что ни один из Кантов не догадался построить систему научной этики, т. е. основанной на вычитании, сложении, делении, умножении). А это разве не абсурд, что государство (оно смело называть себя государством!) могло оставить без всякого контроля сексуальную жизнь. Кто, когда и сколько хотел... Совершенно ненаучно, как звери. И как звери, вслепую, рожали детей. Не смешно ли: знать садоводство, куроводство, рыбоводство (у нас есть точные данные, что они знали все это) и не суметь дойти до последней ступени этой логической лестницы: детоводства. Не додуматься до наших Материнской и Отцовской Норм.

Так смешно, так неправдоподобно, что вот я написал и боюсь: а вдруг вы, неведомые читатели, сочтете меня за злого шутника. Вдруг подумаете, что я просто хочу поиздеваться над вами и с серьезным видом рассказываю совершеннейшую чушь.

Но первое: я не способен на шутки – во всякую шутку неявной функцией входит ложь; и второе: Единая Государственная Наука утверждает, что жизнь древних была именно такова, а Единая Государственная Наука ошибаться не может. Да и откуда тогда было бы взяться государственной логике, когда люди жили в состоянии свободы, т. е. зверей, обезьян, стада. Чего можно требовать от них, если даже и в наше

время откуда-то со дна, из мохнатых глубин, – еще изредка слышно дикое, обезьянье эхо. К счастью, только изредка. К счастью, это только мелкие аварии деталей: их легко отремонтировать, не останавливая вечного, великого хода всей Машины. И для того, чтобы выкинуть вон погнувшийся болт, у нас есть искусная, тяжелая рука Благодетеля, у нас есть опытный глаз Хранителей...

Да, кстати, теперь вспомнил: этот вчерашний, дважды изогнутый, как S, – кажется, мне случилось видеть его выходящим из Бюро Хранителей. Теперь понимаю, отчего у меня было это инстинктивное чувство почтения к нему и какая-то неловкость, когда эта странная I при нем... Должен сознаться, что эта I...

Звонят спать: 22.30. До завтра.

Запись 5-я.

Конспект: КВАДРАТ. ВЛАДЫКИ МИРА. ПРИЯТНО-ПОЛЕЗНАЯ ФУНКЦИЯ.

Опять не то. Опять с вами, неведомый мой читатель, я говорю так, как будто вы... Ну, скажем, старый мой товарищ, R-13, поэт, негрогубый, – ну да все его знают. А между тем вы – на Луне, на Венере, на Марсе, на Меркурии – кто вас знает, где вы и кто.

Вот что: представьте себе – квадрат, живой, прекрасный квадрат. И ему надо рассказать о себе, о своей жизни. Понимаете, квадрату меньше всего пришло бы в голову говорить о том, что у него все четыре угла равны: он этого уже просто не видит – настолько это для него привычно, ежедневно. Вот и я все время в этом квадратном положении. Ну, хоть бы розовые талоны и все с ними связанное: для меня это – равенство четырех углов, но для вас это, может быть, почище, чем бином Ньютона.

Так вот. Какой-то из древних мудрецов, разумеется, случайно, сказал умную вещь: «Любовь и голод владеют миром». Ergo: чтобы овладеть миром – человек должен овладеть владыками мира. Наши предки дорогой ценой покорили, наконец, Голод: я говорю о Великой Двухсотлетней Войне – о войне между городом и деревней. Вероятно, из религиозных предрассудков дикие христиане упрямо держались за свой «хлеб» (Это слово у нас сохранилось только в виде поэтической метафоры: химический состав этого вещества нам неизвестен.). Но в 35-м году – до основания Единого Государства – была изобретена наша теперешняя, нефтяная пища. Правда, выжило только 0,2 населения земного шара. Но зато, очищенное

от тысячелетней грязи, каким сияющим стало лицо земли. И зато эти ноль целых и две десятых вкусили блаженство в чертогах Единого Государства.

Но не ясно ли: блаженство и зависть – это числитель и знаменатель дроби, именуемой счастьем. И какой был бы смысл во всех бесчисленных жертвах Двухсотлетней Войны, если бы в нашей жизни все-таки еще оставался повод для зависти. А он оставался, потому что оставались носы «пуговицей» и носы «классические» (наш тогдашний разговор на прогулке), потому что любви одних добивались многие, других – никто.

Естественно, что, подчинив себе Голод (алгебраический = сумме внешних благ), Единое Государство повело наступление против другого владыки мира – против Любви. Наконец и эта стихия была тоже побеждена, т. е. организована, математизирована, и около 300 лет назад был провозглашен наш исторический «Lex sexualis»: «всякий из номеров имеет право – как на сексуальный продукт – на любой номер».

Ну, дальше там уж техника. Вас тщательно исследуют в лабораториях Сексуального Бюро, точно определяют содержание половых гормонов в крови – и вырабатывают для вас соответственный Табель сексуальных дней. Затем вы делаете заявление, что в свои дни желаете пользоваться номером таким-то (или таким-то), и получаете надлежащую талонную книжечку (розовую). Вот и все.

Ясно: поводов для зависти нет уже никаких, знаменатель дроби счастья приведен к нулю – дробь превращается в великолепную бесконечность. И то самое, что для древних было источником бесчисленных глупейших трагедий, у нас приведено к гармонической, приятно-полезной функции организма так же, как сон, физический труд, прием пищи, дефекация и прочее. Отсюда вы видите, как великая сила логики очищает все, чего бы она ни коснулась. О, если бы и вы, неведомые, познали эту божественную силу, если бы и вы научились идти за ней до конца.

...Странно, я писал сегодня о высочайших вершинах в человеческой истории, я все время дышал чистейшим горным воздухом мысли, а внутри как-то облачно, паутинно и крестом – какой-то четырехлапый икс. Или это мои лапы, и все оттого, что они были долго у меня перед глазами – мои лохматые лапы. Я не люблю говорить о них – и не люблю их: это след дикой эпохи. Неужели во мне действительно ...

Хотел зачеркнуть все это – потому что это выходит из пределов конспекта. Но потом решил: не зачеркну. Пусть мои записи, как тончайший сейсмограф, дадут кривую даже самых незначительных

мозговых колебаний: ведь иногда именно такие колебания служат предвестником ...

А вот уже абсурд, это уж действительно следовало бы зачеркнуть: нами введены в русло все стихии – никаких катастроф не может быть. И мне теперь совершенно ясно: странное чувство внутри – все от того же самого моего квадратного положения, о каком я говорил вначале. И не во мне икс (этого не может быть) – просто я боюсь, что какой-нибудь икс останется в вас, неведомые мои читатели. Но я верю – вы не будете слишком строго судить меня. Я верю – вы поймете, что мне так трудно писать, как никогда ни одному автору на протяжении всей человеческой истории: одни писали для современников, другие – для потомков, но никто никогда не писал для предков или существ, подобных их диким, отдаленным предкам...

Оруэлл Дж. 1984.

Автор: Джордж Оруэлл, настоящее имя – Эрик Артур Блэр (род. 25.06.1903, Мотихари, Индия – ум. 21.01.1950, Лондон, Великобритания)

Источник: Роман «1984» опубликован в 1949 г.

Вопросы для обсуждения

- 1) *Что собой представляет тоталитарное государство?*
- 2) *Каким образом оно осуществляет контроль над всеми гражданами и добивается их подчинения?*
- 3) *Возможно ли проявление протеста в тоталитарном государстве? В какой форме?*
- 4) *Насколько серьезной, на ваш взгляд, является опасность формирования подобных тоталитарных систем в современном глобальном, открытом для информации мире?*

Был холодный ясный апрельский день, и часы пробили тринадцать. Уткнув подбородок в грудь, чтобы спастись от злого ветра, Уинстон Смит торопливо шмыгнул за стеклянную дверь жилого дома «Победа», но все-таки впустил за собой вихрь зернистой пыли.

В вестибюле пахло вареной капустой и старыми половиками. Против входа на стене висел цветной плакат, слишком большой для помещения. На плакате было изображено громадное, больше метра в ширину, лицо, – лицо человека лет сорока пяти, с густыми черными усами, грубое, но по-мужски привлекательное. Уинстон направился к лестнице. К лифту не стоило и подходить. Он даже в лучшие времена редко работал, а теперь, в дневное время, электричество вообще отключали. Действовал режим экономии – готовились к Неделе ненависти. Уинстону предстояло одолеть семь маршей; ему шел сорокавый год, над щиколоткой у него была варикозная язва: он поднимался медленно и несколько раз останавливался передохнуть. На каждой площадке со стены глядело все то же лицо. Портрет был выполнен так, что, куда бы ты ни стал, глаза тебя не отпускали. СТАРШИЙ БРАТ СМОТРИТ НА ТЕБЯ, – гласила подпись.

В квартире сочный голос что-то говорил о производстве чугуна, зачитывал цифры. Голос шел из заделанной в правую стену продолговатой металлической пластины, похожей на мутное зеркало. Уинстон повернул ручку, голос ослаб, но речь по-прежнему звучала внятно. Аппарат этот (он назывался телекран) притушить было можно, полностью же выключить –

нельзя. Уинстон отошел к окну; невысокий тщедушный человек, он казался еще более щуплым в синем форменном комбинезоне партийца. Волосы у него были совсем светлые, а румяное лицо шелушилось от скверного мыла, тупых лезвий и холода только что кончившейся зимы.

Мир снаружи, за закрытыми окнами, дышал холодом. Ветер закручивал спиралями пыль и обрывки бумаги; и, хотя светило солнце, а небо было резко голубым, все в городе выглядело бесцветным – кроме расклеенных повсюду плакатов. С каждого заметного угла смотрело лицо черноусого. С дома напротив тоже. СТАРШИЙ БРАТ СМОТРИТ НА ТЕБЯ, – говорила подпись, и темные глаза глядели в глаза Уинстону. Внизу, над тротуаром трепался на ветру плакат с оторванным углом, то пряча, то открывая единственное слово: АНГСОЦ. Вдалеке между крышами скользнул вертолет, завис на мгновение, как трупная муха, и по кривой унесся прочь. Это полицейский патруль заглядывал людям в окна. Но патрули в счет не шли. В счет шла только полиция мыслей.

За спиной Уинстона голос из телекрана все еще болтал о выплавке чугуна и перевыполнении девятого трехлетнего плана. Телекран работал на прием и на передачу. Он ловил каждое слово, если его произносили не слишком тихим шепотом; мало того, куда Уинстон оставался в поле зрения мутной пластины, он был не только слышен, но и виден. Конечно, никто не знал, наблюдают за ним в данную минуту или нет. Часто ли и по какому расписанию подключается к твоему кабелю полиция мыслей – об этом можно было только гадать. Не исключено, что следили за каждым – и круглые сутки. Во всяком случае, подключиться могли когда угодно. Приходилось жить – и ты жил, по привычке, которая превратилась в инстинкт, – с сознанием того, что каждое твое слово подслушивают и каждое твое движение, пока не погас свет, наблюдают.

Уинстон держался к телекрану спиной. Так безопаснее; хотя – он знал это – спина тоже выдает. В километре от его окна громоздилось над чумазым городом белое здание министерства правды – место его службы. Вот он, со смутным отвращением подумал Уинстон, вот он, Лондон, главный город Взлетной полосы I, третьей по населению провинции государства Океания. Он обратился к детству – попытался вспомнить, всегда ли был таким Лондон. Всегда ли тянулись вдаль эти вереницы обветшалых домов XIX века, подпертых бревнами, с залатанными картоном окнами, лоскутными крышами, пьяными стенками палисадников? И эти прогалины от бомбежек, где вилаась алебастровая пыль и кипрей карабкался по грудам обломков; и большие пустыри, где

бомбы расчистили место для целой грибной семьи убогих дощатых хибарок, похожих на курятники? Но – без толку, вспомнить он не мог; ничего не осталось от детства, кроме отрывочных ярко освещенных сцен, лишенных фона и чаще всего невразумительных.

Министерство правды – на новоязе [Новояз – официальный язык Океании] Миниправ – разительно отличалось от всего, что лежало вокруг. Это исполинское пирамидальное здание, сияющее белым бетоном, вздымалось, уступ за уступом, на трехсотметровую высоту. Из своего окна Уинстон мог прочесть на белом фасаде написанные элегантным шрифтом три партийных лозунга:

ВОЙНА – ЭТО МИР СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО НЕЗНАНИЕ – СИЛА

По слухам, министерство правды заключало в себе три тысячи кабинетов над поверхностью земли и соответствующую корневую систему в недрах. В разных концах Лондона стояли лишь три еще здания подобного вида и размеров. Они настолько возвышались над городом, что с крыши жилого дома «Победа» можно было видеть все четыре разом. В них помещались четыре министерства, весь государственный аппарат: министерство правды, ведавшее информацией, образованием, досугом и искусствами; министерство мира, ведавшее войной; министерство любви, ведавшее охраной порядка, и министерство изобилия, отвечавшее за экономику. На новоязе: миниправ, минимир, минилюб и минизо.

Министерство любви внушало страх. В здании отсутствовали окна. Уинстон ни разу не переступал его порога, ни разу не подходил к нему ближе чем на полкилометра. Попасть туда можно было только по официальному делу, да и то преодолев целый лабиринт колючей проволоки, стальных дверей и замаскированных пулеметных гнезд. Даже на улицах, ведущих к внешнему кольцу ограждений, патрулировали охранники в черной форме, с лицами горилл, вооруженные суставчатыми дубинками.

Уинстон резко повернулся. Он придал лицу выражение спокойного оптимизма, наиболее уместное перед телекраном, и прошел в другой конец комнаты, к крохотной кухоньке. Покинув в этот час министерство, он пожертвовал обедом в столовой, а дома никакой еды не было – кроме ломтя черного хлеба, который надо было поберечь до завтрашнего утра. Он взял с полки бутылку бесцветной жидкости с простой белой этикеткой: «Джин Победа». Запах у джина был противный, маслянистый, как у

китайской рисовой водки. Уинстон налил почти полную чашку, собрался с духом и проглотил, точно лекарство.

Лицо у него сразу покраснело, а из глаз потекли слезы. Напиток был похож на азотную кислоту; мало того: после глотка ощущение было такое, будто тебя огрели по спине резиновой дубинкой. Но вскоре жжение в желудке утихло, а мир стал выглядеть веселее. Он вытянул сигарету из мятой пачки с надписью «Сигареты Победа», по рассеянности держа ее вертикально, в результате весь табак из сигареты высыпался на пол. Со следующей Уинстон обошелся аккуратнее. Он вернулся в комнату и сел за столик слева от телекрана. Из ящика стола он вынул ручку, пузырек с чернилами и толстую книгу для записей с красным корешком и переплетом под мрамор.

По неизвестной причине телекран в комнате был установлен не так, как принято. Он помещался не в торцовой стене, откуда мог бы обозревать всю комнату, а в длинной, напротив окна. Сбоку от него была неглубокая ниша, предназначенная, вероятно, для книжных полок, – там и сидел сейчас Уинстон. Сев в ней поглубже, он оказывался недостижимым для телекрана, вернее, невидимым. Подслушивать его, конечно, могли, но наблюдать, пока он сидел там, – нет. Эта несколько необычная планировка комнаты, возможно, и натолкнула его на мысль заняться тем, чем он намерен был сейчас заняться.

Но кроме того, натолкнула книга в мраморном переплете. Книга была удивительно красива. Гладкая кремовая бумага чуть пожелтела от старости – такой бумаги не выпускали уже лет сорок, а то и больше. Уинстон подозревал, что книга еще древнее. Он заметил ее на витрине старьевщика в трущобном районе (где именно, он уже забыл) и загорелся желанием купить. Членам партии не полагалось ходить в обыкновенные магазины (это называлось «приобретать товары на свободном рынке»), но запретом часто пренебрегали: множество вещей, таких, как шнурки и бритвенные лезвия, раздобыть иным способом было невозможно. Уинстон быстро оглянулся по сторонам, нырнул в лавку и купил книгу за два доллара пятьдесят. Зачем – он сам еще не знал. Он воровато принес ее домой в портфеле. Даже пустая, она компрометировала владельца.

Намеревался же он теперь – начать дневник. Это не было противозаконным поступком (противозаконного вообще ничего не существовало, поскольку не существовало больше самих законов), но если дневник обнаружат, Уинстона ожидает смерть или, в лучшем случае, двадцать пять лет каторжного лагеря. Уинстон вставил в ручку перо и

облизнул, чтобы снять смазку. Ручка была архаическим инструментом, ими даже расписывались редко, и Уинстон раздобыл свою тайком и не без труда: эта красивая кремовая бумага, казалось ему, заслуживает того, чтобы по ней писали настоящими чернилами, а не корябали чернильным карандашом. Вообще-то он не привык писать рукой. Кроме самых коротких заметок, он все диктовал в речепис, но тут диктовка, понятно, не годилась. Он обмакнул перо и замешкался. У него схватило живот. Коснуться пером бумаги – бесповоротный шаг. Мелкими корявыми буквами он вывел:

4 апреля 1984 года

И откинулся. Им овладело чувство полной беспомощности. Прежде всего он не знал, правда ли, что год – 1984-й. Около этого – несомненно: он был почти уверен, что ему 39 лет, а родился он в 1944-м или 45-м; но теперь невозможно установить никакую дату точнее, чем с ошибкой в год или два.

А для кого, вдруг озадачился он, пишется этот дневник? Для будущего, для тех, кто еще не родился. Мысль его покружила над сомнительной датой, записанной на листе, и вдруг наткнулась на новоязовское слово «двоемыслие». И впервые ему стал виден весь масштаб его затеи. С будущим как общаться? Это по самой сути невозможно. Либо завтра будет похоже на сегодня и тогда не станет его слушать, либо оно будет другим, и невзгоды Уинстона ничего ему не скажут.

Уинстон сидел, бессмысленно уставясь на бумагу. Из телекрана ударила резкая военная музыка. Любопытно: он не только потерял способность выражать свои мысли, но даже забыл, что ему хотелось сказать. Сколько недель готовился он к этой минуте, и ему даже в голову не пришло, что потребуется тут не одна храбрость. Только записать – чего проще? Перенести на бумагу нескончаемый тревожный монолог, который звучит у него в голове годы, годы. И вот даже этот монолог иссяк. А язва над щиколоткой зудела невыносимо. Он боялся почесать ногу – от этого всегда начиналось воспаление. Секунды капали. Только белизна бумаги, да зуд над щиколоткой, да гремучая музыка, да легкий хмель в голове – вот и все, что воспринимали сейчас его чувства.

И вдруг он начал писать – просто от паники, очень смутно сознавая, что идет из-под пера. Бисерные, но по-детски корявые строки ползли то вверх, то вниз по листу, теряя сперва заглавные буквы, а потом и точки.

4 апреля 1984 года. Вчера в кино. Сплошь военные фильмы. Один очень хороший где-то в Средиземном море бомбят судно с беженцами. Публику забавляют кадры, где пробует уплыть громадный толстенный мужчина а его преследует вертолет. Сперва мы видим как он по-дельфиньи бултыхается в воде, потом видим его с вертолета через прицел потом он весь продырявлен и море вокруг него розовое и сразу тонет словно через дыры набрал воды. Когда он пошел на дно зрители загоготали. Потом шлюпка полная детей и над ней вьется вертолет. Там на носу сидела женщина средних лет похожая на еврейку а на руках у нее мальчик лет трех. Мальчик кричит от страха и прячет голову у нее на груди как будто хочет в нее ввинтиться а она его успокаивает и прикрывает руками хотя сама посинела от страха. Все время старается закрыть его руками получше, как будто может заслонить от пуль. Потом вертолет сбросил на них 20 килограммовую бомбу ужасный взрыв и лодка разлетелась в щепки. Потом замечательный кадр детская рука летит вверх, вверх прямо в небо наверно ее снимали из стеклянного носа вертолета и в партийных рядах громко аплодировали но там где сидели пролы какая-то женщина подняла скандал и крик, что этого нельзя показывать при детях куда это годится куда это годится при детях и скандалила пока полицейские не вывели не вывели ее вряд ли ей что-нибудь сделают мало ли что говорят пролы типичная проловская реакция на это никто не обращает...

Уинстон перестал писать, отчасти из-за того, что у него свело руку. Он сам не понимал, почему выплеснул на бумагу этот вздор. Но любопытно, что, пока он водил пером, в памяти у него отстоялось совсем другое происшествие, да так, что хоть сейчас записывай. Ему стало понятно, что из-за этого происшествия он и решил вдруг пойти домой и начать дневник сегодня.

Случилось оно утром в министерстве – если о такой туманности можно сказать «случилась».

Время приближалось к одиннадцати-ноль-ноль, и в отделе документации, где работал Уинстон, сотрудники выносили стулья из кабин и расставляли в середине холла перед большим телекраном – собирались на двухминутку ненависти. Уинстон приготовился занять свое место в средних рядах, и тут неожиданно появились еще двое: лица знакомые, но разговаривать с ними ему не приходилось. Девицу он часто встречал в коридорах. Как ее зовут, он не знал, зная только, что она работает в отделе литературы. Судя по тому, что иногда он видел ее с гаечным ключом и масляными руками, она обслуживала одну из машин для сочинения

романов. Она была веснушчатая, с густыми темными волосами, лет двадцати семи; держалась самоуверенно, двигалась по-спортивному стремительно. Алый кушак – эмблема Молодежного антиполового союза, – туго обернутый несколько раз вокруг талии комбинезона, подчеркивал крутые бедра. Уинстон с первого взгляда невзлюбил ее. И знал, за что. От нее веяло духом хоккейных полей, холодных купаний, туристских вылазок и вообще правоверности. Он не любил почти всех женщин, в особенности молодых и хорошеньких. Именно женщины, и молодые в первую очередь, были самыми фанатичными приверженцами партии, глотателями лозунгов, добровольными шпионами и вынюхивателями ереси. А эта казалась ему даже опаснее других. Однажды она повстречалась ему в коридоре, взглянула искоса – будто пронзила взглядом, – и в душу ему вполз черный страх. У него даже мелькнуло подозрение, что она служит в полиции мыслей. Впрочем, это было маловероятно. Тем не менее всякий раз, когда она оказывалась рядом, Уинстон испытывал неловкое чувство, к которому примешивались и враждебность и страх.

Одновременно с женщиной вошел О’Брайен, член внутренней партии, занимавший настолько высокий и удаленный пост, что Уинстон имел о нем лишь самое смутное представление. Увидев черный комбинезон члена внутренней партии, люди, сидевшие перед телекраном, на миг затихли. О’Брайен был рослый плотный мужчина с толстой шеей и грубым насмешливым лицом. Несмотря на грозную внешность, он был не лишен обаяния. Он имел привычку поправлять очки на носу, и в этом характерном жесте было что-то до странности обезоруживающее, что-то неуловимо интеллигентное. Дворянин восемнадцатого века, предлагающий свою табакерку, – вот что пришло бы на ум тому, кто еще способен был бы мыслить такими сравнениями. Лет за десять Уинстон видел О’Брайена, наверно, с десятков, раз. Его тянуло к О’Брайену, но не только потому, что озадачивал этот контраст между воспитанностью и телосложением боксера-тяжеловеса. В глубине души Уинстон подозревал – а может быть, не подозревал, а лишь надеялся, – что О’Брайен политически не вполне правоверен. Его лицо наводило на такие мысли. Но опять-таки возможно, что на лице было написано не сомнение в догмах, а просто ум. Так или иначе, он производил впечатление человека, с которым можно поговорить – если остаться с ним наедине и укрыться от телекрана. Уинстон ни разу не попытался проверить эту догадку; да и не в его это было силах. О’Брайен взглянул на свои часы, увидел, что время – почти

11.00, и решил остаться на двухминутку ненависти в отделе документации. Он сел в одном ряду с Уинстоном, за два места от него. Между ними расположилась маленькая рыжеватая женщина, работавшая по соседству с Уинстоном. Темноволосая села прямо за ним.

И вот из большого телекрана в стене вырвался отвратительный вой и скрежет – словно запустили какую-то чудовищную несмазанную машину. От этого звука вставали дыбом волосы и ломило зубы. Ненависть началась.

Как всегда, на экране появился враг народа Эммануэль Голдстейн. Зрители зашикали. Маленькая женщина с рыжеватыми волосами взвизгнула от страха и омерзения. Голдстейн, отступник и ренегат, когда-то, давным-давно (так давно, что никто уже и не помнил, когда), был одним из руководителей партии, почти равным самому Старшему Брату, а потом встал на путь контрреволюции, был приговорен к смертной казни и таинственным образом сбежал, исчез. Программа двухминутки каждый день менялась, но главным действующим лицом в ней всегда был Голдстейн. Первый изменник, главный осквернитель партийной чистоты. Из его теорий произрастали все дальнейшие преступления против партии, все вредительства, предательства, ереси, уклоны. Неведомо где он все еще жил и ковал крамолу: возможно, за морем, под защитой своих иностранных хозяев, а возможно – ходили и такие слухи, – здесь, в Океании, в подполье.

Уинстону стало трудно дышать. Лицо Голдстейна всегда вызывало у него сложное и мучительное чувство. Сухое еврейское лицо в ореоле легких седых волос, козлиная бородка – умное лицо и вместе с тем необъяснимо отталкивающее; и было что-то сенильное в этом длинном хрящеватом носе с очками, съехавшими почти на самый кончик. Он напоминал овцу, и в голосе его слышалось блеяние. Как всегда, Голдстейн злобно обрушился на партийные доктрины; нападки были настолько вздорными и несуразными, что не обманули бы и ребенка, но при этом не лишенными убедительности, и слушатель невольно опасался, что другие люди, менее трезвые, чем он, могут Голдстейну поверить. Он поносил Старшего Брата, он обличал диктатуру партии. Требовал немедленного мира с Евразией, призывал к свободе слова, свободе печати, свободе собраний, свободе мысли; он истерически кричал, что революцию предали, – и все скороговоркой, с составными словами, будто пародируя стиль партийных ораторов, даже с новоязовскими словами, причем у него они встречались чаще, чем в речи любого партийца. И все время, дабы не

было сомнений в том, что стоит за лицемерными разглагольствованиями Голдстейна, позади его лица на экране маршировали бесконечные евразийские колонны: шеренга за шеренгой кряжистые солдаты с невозмутимыми азиатскими физиономиями выплывали из глубины на поверхность и растворялись, уступая место точно таким же. Глухой мерный топот солдатских сапог сопровождал бляению Голдстейна.

Ненависть началась каких-нибудь тридцать секунд назад, а половина зрителей уже не могла сдержать яростных восклицаний. Невыносимо было видеть это самодовольное овечье лицо и за ним – устрашающую мощь евразийских войск; кроме того, при виде Голдстейна и даже при мысли о нем страх и гнев возникали рефлекторно. Ненависть к нему была постояннее, чем к Евразии и Остзии, ибо когда Океания воевала с одной из них, с другой она обыкновенно заключала мир. Но вот что удивительно: хотя Голдстейна ненавидели и презирали все, хотя каждый день, по тысяче раз на дню, его учение опровергали, громили, уничтожали, высмеивали как жалкий вздор, влияние его нисколько не убывало. Все время находились новые простофили, только и дожидавшиеся, чтобы он их совратил. Не проходило и дня без того, чтобы полиция мыслей не разоблачала шпионов и вредителей, действовавших по его указке. Он командовал огромной подпольной армией, сетью заговорщиков, стремящихся к свержению строя. Предполагалось, что она называется Братство. Поговаривали шепотом и об ужасной книге, своде всех ересей – автором ее был Голдстейн, и распространялась она нелегально. Заглавия у книги не было. В разговорах о ней упоминали – если упоминали вообще – просто как о книге. Но о таких вещах было известно только по неясным слухам. Член партии по возможности старался не говорить ни о Братстве, ни о книге.

Ко второй минуте ненависть перешла в исступление. Люди вскакивали с мест и кричали во все горло, чтобы заглушить непереносимый бляющий голос Голдстейна. Маленькая женщина с рыжеватыми волосами стала пунцовой и разевала рот, как рыба на суше. Тяжелое лицо О'Брайена тоже побагровело. Он сидел выпрямившись, и его мощная грудь вздымалась и содрогалась, словно в нее бил прибой. Темноволосая девица позади Уинстона закричала: «Подлец! Подлец! Подлец!» – а потом схватила тяжелый словарь новояза и запустила им в телекран. Словарь угодил Голдстейну в нос и отлетел. Но голос был неистребим. В какой-то миг просветления Уинстон осознал, что сам кричит вместе с остальными и яростно лягает перекладину стула. Ужасным в двухминутке ненависти было не то, что ты должен

разыгрывать роль, а то, что ты просто не мог остаться в стороне. Какие-нибудь тридцать секунд – и притворяться тебе уже не надо. Словно от электрического разряда, нападали на все собрание гнусные корчи страха и мстительности, исступленное желание убивать, терзать, крушить лица молотом: люди гримасничали и вопили, превращались в сумасшедших. При этом ярость была абстрактной и ненацеленной, ее можно было повернуть в любую сторону, как пламя паяльной лампы. И вдруг оказывалось, что ненависть Уинстона обращена вовсе не на Голдстейна, а наоборот, на Старшего Брата, на партию, на полицию мыслей; в такие мгновения сердцем он был с этим одиноким осмеянным еретиком, единственным хранителем здравомыслия и правды в мире лжи. А через секунду он был уже заодно с остальными, и правдой ему казалось все, что говорят о Голдстейне. Тогда тайное отвращение к Старшему Брату превращалось в обожание, и Старший Брат возносился над всеми – неуязвимый, бесстрашный защитник, скалою вставший перед азийскими ордами, а Голдстейн, несмотря на его изгойство и беспомощность, несмотря на сомнения в том, что он вообще еще жив, представлялся зловещим колдуном, способным одной только силой голоса разрушить здание цивилизации.

А иногда можно было, напрягшись, сознательно обратить свою ненависть на тот или иной предмет. Каким-то бешеным усилием воли, как отрываешь голову от подушки во время кошмара, Уинстон переключил ненависть с экранного лица на темноволосую девицу позади. В воображении замелькали прекрасные отчетливые картины. Он забьет ее резиновой дубинкой. Голую привяжет к столбу, истычет стрелами, как святого Себастьяна. Изнасилует и в последних судорогах перережет глотку. И яснее, чем прежде, он понял, за что ее ненавидит. За то, что молодая, красивая и бесполоая; за то, что он хочет с ней спать и никогда этого не добьется; за то, что на нежной тонкой талии, будто созданной для того, чтобы ее обнимали, – не его рука, а этот алый кушак, воинствующий символ непорочности.

Ненависть кончалась в судорогах. Речь Голдстейна превратилась в натуральное блеяние, а его лицо на миг вытеснила овечья морда. Потом морда растворилась в евразийском солдате: огромный и ужасный, он шел на них, паля из автомата, грозя прорвать поверхность экрана, – так что многие отпрянули на своих стульях. Но тут же с облегчением вздохнули: фигуру врага заслонила наплывом голова Старшего Брата, черноволосая, черноусая, полная силы и таинственного спокойствия, такая огромная, что

заняла почти весь экран. Что говорит Старший Брат, никто не расслышал. Всего несколько слов ободрения, вроде тех, которые произносит вождь в громе битвы, – сами по себе пускай невнятные, они вселяют уверенность одним тем, что их произнесли. Потом лицо Старшего Брата потускнело, и выступила четкая крупная надпись – три партийных лозунга:

ВОЙНА – ЭТО МИР СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО НЕЗНАНИЕ – СИЛА

Но еще несколько мгновений лицо Старшего Брата как бы держалось на экране: так ярок был отпечаток, оставленный им в глазу, что не мог стереться сразу. Маленькая женщина с рыжеватыми волосами навалилась на спинку переднего стула. Всхлипывающим шепотом она произнесла что-то вроде: «Спаситель мой!» – и простерла руки к телекрану. Потом закрыла лицо ладонями. По-видимому, она молилась.

Тут все собрание принялось медленно, мерно, низкими голосами скандировать: «ЭС-БЭ!.. ЭС-БЭ!.. ЭС-БЭ!» – снова и снова, врасстяжку, с долгой паузой между «ЭС» и «БЭ», и было в этом тяжелом волнообразном звуке что-то странно первобытное – мерещился за ним топот босых ног и рокот больших барабанов. Продолжалось это с полминуты. Вообще такое нередко происходило в те мгновения, когда чувства достигали особенного накала. Отчасти это был гимн величию и мудрости Старшего Брата, но в большей степени самогипноз – люди топили свои разум в ритмическом шуме. Уинстон ощутил холод в животе. На двухминутках ненависти он не мог не отдаваться всеобщему безумию, но этот дикарский клич «ЭС-БЭ!.. ЭС-БЭ!» всегда внушал ему ужас. Конечно, он скандировал с остальными, иначе было нельзя. Скрывать чувства, владеть лицом, делать то же, что другие, – все это стало инстинктом. Но был такой промежуток секунды в две, когда его вполне могло выдать выражение глаз. Как раз в это время и произошло удивительное событие – если вправду произошло.

Он встретился взглядом с О'Брайеном. О'Брайен уже встал. Он снял очки и сейчас, надев их, поправлял на носу характерным жестом. Но на какую-то долю секунды их взгляды пересеклись, и за это короткое мгновение Уинстон понял – да, понял! – что О'Брайен думает о том же самом. Сигнал нельзя было истолковать иначе. Как будто их умы раскрылись и мысли потекли от одного к другому через глаза. «Я с вами, – будто говорил О'Брайен. – Я отлично знаю, что вы чувствуете. Знаю о вашем презрении, вашей ненависти, вашем отвращении. Не тревожьтесь, я на вашей стороне!» Но этот проблеск ума погас, и лицо у О'Брайена стало таким же непроницаемым, как у остальных.

Вот и все – и Уинстон уже сомневался, было ли это на самом деле. Такие случаи не имели продолжения. Одно только: они поддерживали в нем веру – или надежду, – что есть еще, кроме него, враги у партии. Может быть, слухи о разветвленных заговорах все-таки верны – может быть, Братство впрямь существует! Ведь, несмотря на бесконечные аресты, признания, казни, не было уверенности, что Братство – не миф. Иной день он верил в это, иной день – нет. Доказательств не было – только взгляды мельком, которые могли означать все, что угодно и ничего не означать, обрывки чужих разговоров, полустертые надписи в уборных, а однажды, когда при нем встретились двое незнакомых, он заметил легкое движение рук, в котором можно было усмотреть приветствие. Только догадки; весьма возможно, что все это – плод воображения. Он ушел в свою кабину, не взглянув на О’Брайена. О том, чтобы развить мимолетную связь, он и не думал. Даже если бы он знал, как к этому подступиться, такая попытка была бы невообразимо опасной. За секунду они успели обменяться двусмысленным взглядом – вот и все. Но даже это было памятным событием для человека, чья жизнь проходит под замком одиночества.

Уинстон встряхнулся, сел прямо. Он рыгнул. Джин бунтовал в желудке.

Глаза его снова сфокусировались на странице. Оказалось, что, пока он был занят беспомощными размышлениями, рука продолжала писать автоматически. Но не судорожные каракули, как вначале. Перо сладострастно скользило по глянцевой бумаге, крупными печатными буквами выводя:

ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА
ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА
ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА
ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА
ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА

раз за разом, и уже исписана была половина страницы.

На него напал панический страх. Бессмысленный, конечно: написать эти слова ничуть не опаснее, чем просто завести дневник; тем не менее у него возникло искушение разорвать испорченные страницы и отказаться от своей затеи совсем.

Но он не сделал этого, он знал, что это бесполезно. Напишет он ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА или не напишет – разницы никакой. Будет продолжать дневник или не будет – разницы никакой. Полиция мыслей и так и так до него доберется. Он совершил – и если бы не коснулся бумаги

пером, все равно совершил бы – абсолютное преступление, содержащее в себе все остальные. Мыслепреступление – вот как оно называлось. Мыслепреступление нельзя скрывать вечно. Изворачиваться какое-то время ты можешь, и даже не один год, но рано или поздно до тебя доберутся.

Бывало это всегда по ночам – арестовывали по ночам. Внезапно будят, грубая рука трясет тебя за плечи, светят в глаза, кровать окружили суровые лица. Как правило, суда не бывало, об аресте нигде не сообщалось. Люди просто исчезали, и всегда – ночью. Твое имя вынуто из списков, все упоминания о том, что ты делал, стерты, факт твоего существования отрицается и будет забыт. Ты отменен, уничтожен: как принято говорить, распылен.

На минуту он поддался истерике. Торопливыми кривыми буквами стал писать:

меня расстреляют мне все равно пускай выстрелят в затылок мне все равно долой старшего брата всегда стреляют в затылок мне все равно долой старшего брата.

С легким стыдом он оторвался от стола и положил ручку. И тут же вздрогнул всем телом. Постучали в дверь.

Уже! Он затаился, как мышь, в надежде, что, не достучавшись с первого раза, они уйдут. Но нет, стук повторился. Самое скверное тут – мешкать. Его сердце бухало, как барабан, но лицо от долгой привычки, наверное, осталось невозмутимым. Он встал и с трудом пошел к двери.

Кафка Ф. Процесс.

Автор: Франц Кафка (род. 03.07.1883, Прага, Австро-Венгрия – ум. 03.06.1924, Клостернойбург, Первая Австрийская Республика).

Источник: Роман «Процесс» опубликован в 1925 г.

Вопросы для обсуждения

1) Какие социальные сферы и отношения символизируют Закон, Суд, Привратник и Проситель?

2) Чем обусловлена возможность различных интерпретаций рассказанной притчи?

3) Каким предстает человек перед лицом Закона и Суда? Как соотносится человеческая индивидуальность и формальная судебноп-правовая система?

4) Какими способами можно избежать обезличивания социально-правовой системы?

5) Почему в самой гуще социальных отношений человек может оставаться одиноким?

– Ты Йозеф К.! – сказал священник и как-то неопределенно повел рукой, лежавшей на балюстраде.

– Да, – сказал К. и подумал, как легко и открыто он раньше называл свое имя, а вот с некоторого времени оно стало ему в тягость, теперь его имя уже заранее знали многие люди, с которыми он встречался впервые, а как приятно было раньше: сначала представиться и только после этого завязать знакомство.

– Ты – обвиняемый, – сказал священник совсем тихо.

– Да, – сказал К., – мне об этом дали знать.

– Значит, ты тот, кого я ищу, – сказал священник. – Я капеллан тюрьмы.

– Вот оно что, – сказал К.

– Я велел позвать тебя сюда, – сказал священник, – чтобы поговорить с тобой.

– Я этого не знал, – сказал К., – и пришел я сюда показать собор одному итальянцу.

– Оставь эти посторонние мысли, – сказал священник. – Что у тебя в руках, молитвенник?

– Нет, – сказал К., – это альбом местных достопримечательностей.

– Положи его! – сказал священник, и К. швырнул альбом так резко, что он раскрылся и пролетел по полу с измятыми страницами. – Знаешь ли ты, что с твоим процессом дело обстоит плохо? – спросил священник.

– Да, мне тоже так кажется, – сказал К. – Я прилагал все усилия, но пока что без всякого успеха. Правда, ходатайство еще не готово.

– А как ты себе представляешь конец? – спросил священник.

– Сначала я думал, что все кончится хорошо, – сказал К., а теперь и сам иногда сомневаюсь. Не знаю, чем это кончится. А ты знаешь?

– Нет, сказал священник, – но боюсь, что кончится плохо. Считают, что ты виновен. Может быть, твой процесс и не выйдет за пределы низших судебных инстанций. Во всяком случае, покамест считается, что твоя вина доказана.

– Но ведь я невиновен. Это ошибка. И как человек может считаться виновным вообще? А мы тут все люди, что я, что другой.

– Правильно, – сказал священник, – но виновные всегда так говорят.

– А ты тоже предубежден против меня? – спросил К.

– Никакого предубеждения у меня нет, – сказал священник.

– Благодарю тебя за это, – сказал К. – А вот остальные, те, кто участвует в процессе, все предубеждены. Они влияют и на неучаствующих. Мое положение все ухудшается.

– У тебя неверное представление о сущности дела, – сказал священник. – Приговор не выносится сразу, но разбирательство постепенно переходит в приговор.

– Вот оно как, – сказал К. и низко опустил голову. [...]

– Ты рассердился на меня? – спросил К. священника. – Видно, ты сам не знаешь, какому правосудию служишь.

Ответа не было.

– Конечно, я знаю только то, что меня касается, продолжал К.

И вдруг священник закричал сверху:

– Неужели ты за два шага уже ничего не видишь?

Окрик прозвучал гневно, но это был голос человека, который видит, как другой падает, и нечаянно, против воли, подымает крик, оттого что и сам испугался. Оба надолго замолчали. Конечно, священник не мог различить К. в темноте, сгустившейся внизу, зато К. ясно видел священника при свете маленькой лампы. Но почему же он не спускается вниз? Проповеди он все равно не читает, только сообщил К. сведения, которые, если подумать, могут скорее повредить, чем помочь ему. Правда, К. ничуть не сомневался в добрых намерениях священника. Вполне

возможно, что он сойдет вниз и они обо всем договорятся; вполне возможно, что священник даст ему решающий и вполне приемлемый совет, например расскажет ему не о том, как можно повлиять на процесс, а о том, как из него вырваться, как обойти его, как начать жить вне процесса. Должна же существовать и такая возможность – в последнее время К. все чаще и чаще думал о ней. А если священник знает про эту возможность, то, быть может, если его очень попросить, он откроет ее, хотя и сам принадлежит к судейскому кругу, накричал же он на К. вопреки своей кажущейся кротости, когда К. задел правосудие.

– Не сойдешь ли ты вниз? – спросил К. – Проповеди все равно уже читать не придется. Спустись ко мне.

– Да, теперь, пожалуй, можно и сойти, – сказал священник. Должно быть, он раскаивался, что накричал. Снимая лампу с крюка, он добавил: – Сначала я должен был поговорить с тобой отсюда, на расстоянии. А то на меня очень легко повлиять, и я забываю свои обязанности.

К. ждал его внизу, у лесенки. Священник еще со ступенек, на ходу протянул ему руку.

– Ты можешь уделить мне немного времени? – спросил К.

– Столько, сколько тебе потребуется! – сказал священник и передал К. лампу, чтобы он ее нес. И вблизи в нем сохранилась какая-то торжественность осанки.

– Ты очень добр ко мне, – сказал К., и они вместе стали ходить взад и вперед по темному приделу. – Из всех судейских ты – исключение. Я доверяю тебе больше, чем всем, кого знал до сих пор. С тобой я могу говорить откровенно.

– Не заблуждайся! – сказал священник.

– В чем же это мне не заблуждаться? – спросил К.

– Ты заблуждаешься в оценке суда, – сказал священник. Вот что сказано об этом заблуждении во Введении к Закону. У врат Закона стоит привратник. И приходит к привратнику поселянин и просит пропустить его к Закону. Но привратник говорит, что в настоящую минуту он пропустить его не может. И подумал проситель и вновь спрашивает, может ли он войти туда впоследствии? «Возможно, – отвечает привратник, – но сейчас войти нельзя». Однако врата Закона, как всегда, открыты, а привратник стоит в стороне, и проситель, наклонившись, старается заглянуть в недра Закона. Увидев это, привратник смеется и говорит: «Если тебе так не терпится – попытайся войти, не слушай моего запрета. Но знай: могущество мое велико. А ведь я только самый ничтожный из

стражей. Там, от покоя к покою, стоят привратники, один могущественнее другого. Уже третий из них внушал мне невыносимый страх». Не ожидал таких препон поселянин, ведь доступ к Закону должен быть открыт для всех в любой час, подумал он; но тут он пристальнее взглянул на привратника, на его тяжелую шубу, на острый горбатый нос, на длинную жидкую черную монгольскую бороду и решил, что лучше подождать, пока не разрешат войти. Привратник подал ему скамеечку и позволил присесть в стороне, у входа. И сидит он там день за днем и год за годом. Непрестанно добивается он, чтобы его впустили, и докучает привратнику этими просьбами. Иногда привратник допрашивает его, выпытывает, откуда он родом и многое другое, но вопросы задает безучастно, как важный господин, и под конец непрестанно повторяет, что пропустить его он еще не может. Много добра взял с собой в дорогу поселянин, и все, даже самое ценное, он отдает, чтобы подкупить привратника. А тот все принимает, но при этом говорит: «Беру, чтобы ты не думал, будто ты что-то упустил». Идут года, внимание просителя неотступно приковано к привратнику. Он забыл, что есть еще другие стражи, и ему кажется, что только этот, первый, преграждает ему доступ к Закону. В первые годы он громко клянет эту свою неудачу, а потом приходит старость и он только ворчит про себя. Наконец он впадает в детство, и, оттого что он столько лет изучал привратника и знает каждую блоху в его меховом воротнике, он молит даже этих блох помочь ему уговорить привратника. Уже меркнет свет в его глазах, и он не понимает, потемнело ли все вокруг, или его обманывает зрение. Но теперь, во тьме, он видит, что неугасимый свет струится из врат Закона. И вот жизнь его подходит к концу. Перед смертью все, что он испытал за долгие годы, сводится в его мыслях к одному вопросу – этот вопрос он еще ни разу не задавал привратнику. Он подзывает его кивком – окоченевшее тело уже не повинует ему, подняться он не может. И привратнику приходится низко наклониться – теперь по сравнению с ним проситель стал совсем ничтожного роста. «Что тебе еще нужно узнать? – спрашивает привратник. – Ненасытный ты человек!» – «Ведь все люди стремятся к Закону, – говорит тот, – как же случилось, что за все эти долгие годы никто, кроме меня, не требовал, чтобы его пропустили?» И привратник, видя, что поселянин уже совсем отходит, кричит изо всех сил, чтобы тот еще успел услышать ответ: «Никому сюда входа нет, эти врата были предназначены для тебя одного! Теперь пойду и запру их».

– Значит, привратник обманул этого человека, – торопливо сказал К. Его всерьез захватил этот рассказ.

– Не торопись, – сказал священник, и не принимай чужих слов на веру. Я рассказал тебе эту притчу так, как она стоит во Введении. Там ничего не говорится про обман.

– Но ведь это же ясно, – сказал К., и первое твое толкование было совершенно правильно. Привратник только тогда открыл спасительную правду, когда этому человеку уже ничем нельзя было помочь.

– А раньше его не спрашивали, – сказал священник. – И не забывай, что он был только привратником и свой долг выполнял честно.

– Почему ты считаешь, что он выполнял свой долг? – спросил К. Вовсе он его не выполнял. Может быть, его долг был не пускать туда посторонних, но уж того человека, для которого вход был предназначен, он обязан был впустить.

– Ты недостаточно уважаешь Свод законов, – сказал священник, – потому и переосмыслил эту притчу. А в ней есть два важных объяснения привратника насчет допуска к Закону: одно в начале, другое в конце. Первое гласит, что в настоящую минуту привратник его допустить не может, а второе – что этот вход предназначен только для него. Если бы между этими двумя объяснениями было какое-то противоречие, ты был бы прав и привратник действительно обманул бы этого человека. Но тут никакого противоречия нет. Напротив, первое объяснение уже ведет ко второму. Можно даже сказать, что привратник преступает свой долг тем, что подает этому человеку надежду на то, что впоследствии его туда впустят. А в то же время его единственной обязанностью было не впускать этого человека, и многие толкователи Закона всерьез удивляются, что привратник вообще допускает этот намек, так как он, по-видимому, любит точность и строго следует своим обязанностям. Многие годы он не покидал свой пост и только под конец запирает врата; он полон сознания важности своей службы и прямо говорит: «Могущество мое велико»; он уважает вышестоящих и прямо говорит: «Я только самый ничтожный из стражей»; он не болтлив, потому что за все эти годы задает только, как там сказано, «безучастные», вопросы; он неподкупен, потому что, принимая подарки, говорит: «Беру, чтобы ты не думал, будто ты что-то упустил», а там, где речь идет о его долге, ничто не может ни смягчить, ни ожесточить его: там прямо сказано, что этот человек «докучает привратнику своими просьбами», и, наконец, самое описание его внешности говорит о педантичном складе его характера: и острый горбатый нос, и длинная

жидкая черная монгольская борода. Разве найдешь более преданного привратника? Но в привратнике проявляются и другие черты, весьма выгодные для того, кто требует пропуск, и если их понять, то поймешь также, почему он, намекая на какие-то будущие возможности, в какой-то мере превышает свои полномочия. Скрывать не приходится – он несколько скудоумен и в связи с этим слишком высокого мнения о себе. И если даже его слова о своем могуществе и о могуществе других привратников, чей вид ему и самому невыносим, – если, как я уже сказал, эти его слова сами по себе справедливы, то по манере выражаться ясно видно, как его восприятие ограничено и скудоумием, и самомнением. Толкователи говорят об этом так: «Правильное восприятие явления и неправильное толкование того же явления никогда полностью взаимно не исключаются». Однако надо признать, что скудоумие и самомнение, в какой бы малой степени они ни наличествовали, являются недостатками характера привратника, они ослабляют охрану врат. Надо еще добавить, что по природе этот привратник как будто дружелюбный человек, он вовсе не всегда держится как лицо официальное. В первую же минуту он шутики ради приглашает просителя войти, хотя и намерен строго соблюдать запрет, да и потом не прогоняет его, а, как сказано, дает ему скамеечку и разрешает присесть в стороне у входа. И терпение, с которым он столько лет подряд выслушивает просьбы этого человека, и краткие расспросы, и прием подарков, и, наконец, то благородство, с каким он терпит, когда поселянин громко проклиная свою неудачу, зачем именно этого привратника поставили тут, все это дает повод заключить, что в душе привратника шевелится сострадание. На его месте не всякий поступил бы так. И под конец он наклонился к этому человеку по одному его кивку, чтобы выслушать последний вопрос. И только в возгласе: «Ненасытный ты человек!» – прорывается легкое нетерпение; ведь привратник знает, что всему конец. А некоторые идут в толковании этого возгласа даже дальше, они считают, что слова «Ненасытный ты человек!» выражают своего рода дружеское восхищение, не лишенное, конечно, некоторой снисходительности. Во всяком случае, образ привратника встает совсем в другом свете, чем тебе представляется.

– Ты знаком с этой историей и лучше и дольше, чем я, – сказал К. Они помолчали. Потом К. сказал: – Значит, ты считаешь, что этого человека не обманули?

– Не толкуй мои слова превратно, – сказал священник, – я только изложил тебе существующие толкования. Но ты не должен слишком

обращать на них внимание. Сам Свод законов неизменен, и все толкования только выражают мнение тех, кого это приводит в отчаяние. Есть даже такое толкование, по которому обманутым является сам привратник.

– Ну, это очень отдаленное толкование, – сказал К. – На чем же оно основано?

– Основано оно, – сказал священник, – на скудоумии привратника. О нем сказано, что он ничего не знает о недрах Закона и ему известна только та тропа перед воротами, по которой он должен ходить взад и вперед. Считается, что его представление о недрах Закона – сущее ребячество, и предполагают, что он сам боится того, чем пугает просителя. Больше того, его страх куда сильнее страха просителя – тот только и жаждет войти в недра Закона, даже услышав о страшных их стражах, а привратник и войти не хочет, по крайней мере об этом ничего не сказано. Правда, другие говорят, что он, видимо, уже побывал там, внутри, потому что принимали же его когда-то на службу в суд, а это могло произойти только в самих недрах. Но на это возражают, что его назначил привратником чей-то голос оттуда и что туда, в самые недра, он, конечно, не проникал, потому что уже один вид третьего стража внушал ему невыносимый страх. К тому же нигде не сказано, что за все эти годы он сообщил хоть что-нибудь о недрах Закона. Может быть, ему это запрещено, но и о запрещении он ни слова не говорит. Из всего этого можно заключить, что он сам не знает ни того, что творится в недрах Закона, ни того, какой в этом смысл, и все время находится в заблуждении. Но выходит так, что он, по-видимому, заблуждается и насчет этого просителя, ибо привратник, сам того не ведая, подчинен просителю. То, что он обращается с просителем как с подчиненным, ясно видно во многом, и ты, наверно, помнишь, в чем именно. Но то, что в сущности подчиненным является привратник, тоже видно не менее ясно, как говорит другое толкование. Всегда свободный человек выше связанного. А проситель в сущности человек свободный, он может уйти, куда захочет, лишь вход в недра Закона ему воспрещается, причем запрет наложен единственно только этим привратником. И если он садится в сторонке на скамеечку у врат и просиживает там всю жизнь, то делает он это добровольно, и ни о каком принуждении притча не упоминает. Привратник же связан своей должностью с постом, он не может уйти с поста, но и в недра Закона он, при всем желании, войти не может. Кроме того, хоть он и служит Закону, но служба его ограничена только этим входом, то есть служит он только этому человеку, единственному, для кого предназначен вход. Выходит, что и по этой

причине привратник подвластен просителю. Приходится предположить, что много лет – то есть, в сущности, все свои зрелые годы – он служил, так сказать, впустую, потому что в притче сказано, что к нему пришел мужчина, а под этим разумеется зрелый муж, и, значит, привратник был вынужден долго ждать, прежде чем ему будет дано выполнить свой долг, притом ждать именно столько, сколько угодно тому человеку, ибо тот пришел по своей воле, когда захотел. Да и кончается его служба только с окончанием жизни этого человека, значит, до самого конца привратник ему подвластен. И много раз в притче подтверждается, что, по всей видимости, привратнику об этом ничего не известно. Но толкователи не узрели тут ничего удивительного, потому что, согласно этому толкованию, привратник находится в еще более тяжком заблуждении, ибо оно касается его должности. Мы слышим, как в конце притчи он говорит: «Теперь я пойду и запру их», но в начале сказано, что ворота в Закон открыты, «как всегда», а если они всегда открыты – именно всегда, независимо от продолжительности жизни того человека, для которого они предназначены, – значит, и привратник закрыть их не может. Тут толкования расходятся: хочет ли привратник, сообщая о том, что он закроет ворота, только дать ответ или подчеркнуть свои обязанности, или же он стремится в последнюю минуту повергнуть просителя в горесть и раскаяние. Но многие сходятся на том, что закрыть ворота он не сможет. Считается даже, что под конец он и в познании истины стоит ниже того человека, потому что тот видит неугасимый свет, что струится из врат Закона, а привратник, охраняя вход, очевидно, стоит спиной к воротам и ничем не выказывает, что заметил какие-либо изменения.

– Все это отлично обосновано, – сказал К., негромко повторявший про себя отдельные места из разъяснений священника.

Обосновано все хорошо, и я тоже верю, что привратник заблуждается. Однако прежнее мое утверждение все же остается в силе, потому что оба толкования частично совпадают. Совершенно неважно, понимает ли привратник все до конца или введен в заблуждение. Я сказал, что введен в заблуждение проситель. Можно было бы усомниться в этом, если бы привратник все понимал до конца, но если и привратник обманут, то его заблуждения непременно передаются просителю. Тогда, конечно, сам привратник не является обманщиком, но, значит, он столь скудоумен, что его немедленно надо было бы выгнать со службы. Не упускай из виду, что заблуждение привратника самому ему никак не вредит, а просителю наносит непоправимый вред.

– Тут ты столкнешься с совершенно противоположным толкованием, – сказал священник. – Многие, например, считают, что эта притча никому не дает права судить о привратнике. Каким бы он нам ни казался, он слуга Закона, а значит, причастен к Закону, значит, суду человеческого не подлежит. Но тогда нельзя и считать, что привратник подвластен просителю. Быть связанным с Законом хотя бы тем, что стоишь на страже у врат, неизмеримо важнее, чем жить на свете свободным. Тот человек только подходит к Закону, тогда как привратник уже стоит там. Закон определил его на службу, и усомниться в достоинствах привратника – значит усомниться в Законе.

– Нет, с этим мнением я никак не согласен, – сказал К. и покачал головой. – Если так думать, значит, надо принимать за правду все, что говорит привратник. А ты сам только что вполне обоснованно доказал, что это невозможно.

– Нет, – сказал священник, – вовсе не надо все принимать за правду, надо только осознать необходимость всего.

– Печальный вывод! – сказал К. Ложь возводится в систему. К. сказал это, как бы подводя итог, но окончательного вывода не сделал. Слишком он устал, чтобы проследить все толкования этой притчи, да и ход мыслей, вызванный ею, был ему непривычен. Эти отвлеченные измышления скорее годилось обсуждать компании судейских чиновников, нежели ему. Простая притча стала расплывчатой, ему хотелось выбросить ее из головы, и священник проявил тут удивительный такт, молча приняв последнее замечание К., хотя оно явно противоречило его собственному мнению.

Молча шли они рядом. К. старался держаться как можно ближе к священнику, не понимая, где он находится. Лампа у него в руках давно погасла. Вдруг прямо против него серебряное изображение какого-то святого блеснуло отсветом серебра и сразу слилось с темнотой. Не желая быть полностью зависимым от священника, К. спросил его:

– Мы, кажется, подходим к главному выходу?

– Нет, – сказал священник, – мы очень далеко от него. А разве ты уже хочешь уйти?

И хотя К. за минуту до того не думал об уходе, он сразу ответил:

– Конечно, мне необходимо уйти. Я служу прокуристом в банке, меня ждут, я пришел сюда, только чтобы показать собор одному деловому знакомому, иностранцу.

– Ну что ж, – сказал священник и подал К. руку, – тогда иди.

– Да мне в темноте одному не выбраться, – сказал К.

– Иди к левой стороне, – сказал священник, – потом, не сворачивая, вдоль этой стены, и ты найдешь выход.

Священник уже отошел на несколько шагов, и тут К. крикнул ему очень громко:

– Подожди, прошу тебя!

– Я жду! – сказал священник.

– Тебе больше ничего от меня не нужно? – спросил К.

– Нет, – сказал священник.

– Но ты был так добр ко мне сначала, – сказал К., – все объяснил мне, а теперь отпускаешь меня, будто тебе до меня дела нет.

– Но ведь тебе нужно уйти? – сказал священник.

– Да, конечно, – сказал К. – Ты должен понять меня.

– Сначала ты должен понять, кто я такой, – сказал священник.

– Ты тюремный капеллан, – сказал К. и снова подошел к священнику; ему вовсе не надо было так срочно возвращаться в банк, как он это изобразил, он вполне мог еще побыть тут.

– Значит, я тоже служу суду, – сказал священник. Почему же мне должно быть что-то нужно от тебя? Суду ничего от тебя не нужно. Суд принимает тебя, когда ты приходишь, и отпускает, когда ты уходишь.

Быков Д.Л. * Во время истребления...**

Автор: Дмитрий Львович Быков (род. 20.12.1967, г. Москва, СССР).

Источник: Стихотворение «*** Во время истребления...»
опубликовано в 2009 г.

Во время истребления народа,
Которому прощенья не дано,
Всегда стояла ясная погода –
По крайней мере, судя по кино.

Под нищим беглецом-переселенцем
Горит асфальт, вздувая пузыри.
Как выговорить "солнечный Освенцим
И Бухенвальд"? Да так и говори.

Как много солнца было в сорок третьем!
На каждый плац смотрело, в каждый ров.
Затем, чтоб напоследок поглядеть им
На этот мир, на лучший из миров?

Или затем, чтоб четче вышел снимок,
Чтоб силуэт не смазался ничей
И не осталось тусклых невидимок
Ни между жертв, ни между палачей?

Смотри, смотри! Чтоб резче были тени,
Я ставлю свет железною рукой,
И грань размыть меж этими и теми
Не сможет миротворец никакой.

Или затем, чтоб будущий теолог,
Берясь за обожженные края
И встраивая глянцевый осколок
В единую картину бытия,

О выборе твердя и о свободе,
Которой все мы будем спасены, —
Вперед не смел навязывать природе
Ни правоты, ни воли, ни вины?

ЧАСТЬ 5. КУЛЬТУРА И ДУХОВНЫЙ МИР ЛИЧНОСТИ. РЕЛИГИЯ, ИСКУССТВО И МОРАЛЬ.

Данная часть пособия соответствует разделу «Философия культуры» в программе курса философии, который посвящен исследованиям культуры как специфической человеческой деятельности и ее продуктам. Понятие «культура» имеет множество определений, мы можем говорить о духовной и материальной культуре, культуре разных эпох, элитарной и массовой культуре и т.д. Отдельным предметом для изучения в рамках философии культуры являются такие сферы духовной жизни общества как религия, искусство и мораль, они обладают безусловной значимостью, специфичностью и универсальностью. Наиболее дискуссионным вопросом в сфере исследований культуры является вопрос о ее прогрессе/регрессе и соответствующих критериях. Этот вопрос ставился особенно остро в кризисные и переходные времена, в период трансформации традиционных ценностей. Сегодня мы тоже часто слышим высказывания о кризисе духовной культуры, девальвации и размывании ценностей, падении нравов, необходимости поддержки культуры и формирования ее новых оснований.

Художественная литература является частью духовной культуры и выступает как ее самосознание, зафиксированное в тексте. Художественные произведения способны выражать как дух и стиль определенной эпохи, так и универсалии культуры: нравственные и эстетические ценности, феномены религиозного опыта. Поэтому обращение философии к литературному материалу для анализа в данном случае представляется наиболее обоснованным и перспективным.

Гессе Г. Игра в бисер.

Автор: Герман Гессе (род. 02.07.1877, Кальв, Германия – ум. 09.08.1962, Монтаньола, Швейцария)

Источник: Роман «Игра в бисер» опубликован в 1943 г.

Вопросы для обсуждения

- 1) *Возможно ли судить о прогрессе или регрессе культуры? Какие критерии могут быть для этого использованы?*
- 2) *Что вмещает в себя понятие «духовная культура»?*
- 3) *Как взаимосвязаны такие сферы культуры как наука, религия, искусство, нравственность?*
- 4) *Какое место занимает духовная культура в жизни общества?*
- 5) *Что такое творчество? Может ли существовать развитая духовная культура без творчества?*

В рукописном переводе Иозефа Кнехта:

...хотя то, чего не существует на свете, людям легкомысленным в чем-то даже легче и проще выражать словами, чем существующее, для благочестивого и добросовестного историка дело обстоит прямо противоположным образом: нет ничего, что меньше поддавалось бы слову и одновременно больше нуждалось бы в том, чтобы людям открывали на это глаза, чем кое-какие вещи, существование которых нельзя ни доказать, ни счесть вероятным, но которые именно благодаря тому, что благочестивые и добросовестные люди относятся к ним как к чему-то действительно существующему, чуть-чуть приближаются к возможности существовать и рождаться. [...]

Хотя идею Игры мы считаем вечной и потому всегда, задолго до ее осуществления, жившей в мире и о себе заявлявшей, ее осуществление в известной нам форме имеет свою историю, важнейшие этапы которой мы попытаемся кратко изложить.

Начало духовного движения, приведшего, в частности, к учреждению Ордена и к игре в бисер, относится к периоду истории, именуемому со времен основополагающих исследований историка литературы Плиния Цигенхальса и по его почину «фельетонной эпохой». [...]

Признаёмся, мы не в состоянии дать однозначное определение изделий, по которым мы называем эту эпоху, то есть «фельетонов».

Похоже, что они, как особо любимая часть материалов периодической печати, производились миллионами штук, составляли главную пищу любознательных читателей, сообщали или, вернее, «болтали» о тысячах разных предметов, и похоже, что наиболее умные фельетонисты часто потешались над собственным трудом, во всяком случае, Цигенхальс признается, что ему попадалось множество таких работ, которые он, поскольку иначе они были бы совершенно непонятны, склонен толковать как самовысмеивание их авторов. Вполне возможно, что в этих произведенных промышленным способом статьях таится масса иронии и самоиронии, для понимания которой надо сперва найти ключ. Поставщики этой чепухи частью принадлежали к редакциям газет, частью были «свободными» литераторами, порой даже слыли писателями-художниками, но очень многие из них принадлежали, кажется, и к ученому сословию, были даже известными преподавателями высшей школы. Излюбленным содержанием таких сочинений были анекдоты из жизни знаменитых мужчин и женщин и их переписка, озаглавлены они бывали, например, «Фридрих Ницше и дамская мода шестидесятых-семидесятых годов XIX века», или «Любимые блюда композитора Россини», или «Роль болонки в жизни великих куртизанок» и тому подобным образом. Популярны были также исторические экскурсы на темы, злободневные для разговоров людей состоятельных, например: «Мечта об искусственном золоте в ходе веков» или «Попытки химико-физического воздействия на метеорологические условия» и сотни подобных вещей. Читая приводимые Цигенхальсом заголовки такого чтива, мы поражаемся не столько тому, что находились люди, ежедневно его проглатывавшие, сколько тому, что авторы с именем, положением и хорошим образованием помогали «обслуживать» этот гигантский спрос на ничтожную занимательность, – «обслуживать», пользуясь характерным словом той поры, обозначавшим, кстати сказать, и тогдашнее отношение человека к машине. Временами особенно популярны бывали опросы известных людей по актуальным проблемам, опросы, которым Цигенхальс посвящает отдельную главу и при которых, например, маститых химиков или виртуозов фортепианной игры заставляли высказываться о политике, любимых актеров, танцовщиков, гимнастов, летчиков или даже поэтов – о преимуществах и недостатках холостой жизни, о предполагаемых причинах финансовых кризисов и так далее. Важно было только связать известное имя с актуальной в данный миг темой; примеры, порой поразительнейшие, есть у Цигенхальса, он приводит их сотни. Наверно, повторяем, во всей этой

деятельности присутствовала добрая доля иронии, возможно, то была даже демоническая ирония, ирония отчаяния, нам очень трудно судить об этом; но широкие массы, видимо очень любившие чтение, принимали все эти странные вещи, несомненно, с доверчивой серьезностью. Меняла ли знаменитая картина владельца, продавалась ли с молотка ценная рукопись, сгорал ли старинный замок, оказывался ли отпрыск древнего рода замешанным в каком-нибудь скандале – из тысяч фельетонов читатели не только узнавали об этих фактах, но в тот же или на следующий день получали и уйму анекдотического, исторического, психологического, эротического и всякого прочего материала по данному поводу; над любым происшествием разливалось море писанины, и доставка, сортировка и изложение всех этих сведений непременно носили печать наспеха и безответственно изготовленного товара широкого потребления. Впрочем, к фельетону относились, нам кажется, и кое-какие игры, к которым привлекалась сама читающая публика и благодаря которым ее пресыщенность научной материей активизировалась, об этом говорится в длинном примечании Цигенхальса по поводу удивительной темы «Кроссворд». Тысячи людей, в большинстве своем выполнявших тяжелую работу и живших тяжелой жизнью, склонялись в свободные часы над квадратами и крестами из букв, заполняя пробелы по определенным правилам. Поостережемся видеть только комичную или сумасшедшую сторону этого занятия и воздержимся от насмешек над ним. Те люди с их детскими головоломками и образовательными статьями вовсе не были ни простодушными младенцами, ни легкомысленными феаками, нет, они жили в постоянном страхе среди политических, экономических и моральных волнений и потрясений, вели ужасные войны, в том числе гражданские, и образовательные их игры были не просто бессмысленным ребячеством, а отвечали глубокой потребности закрыть глаза и убежать от нерешенных проблем и страшных предчувствий гибели в как можно более безобидный фиктивный мир. Они терпеливо учились водить автомобиль, играть в трудные карточные игры и мечтательно погружались в решение кроссвордов – ибо были почти беззащитны перед смертью, перед страхом, перед болью, перед голодом, не получая уже ни утешения у церкви, ни наставительной помощи духа. Читая столько статей и слушая столько докладов, они не давали себе ни времени, ни труда закалиться от малодушия и побороть в себе страх смерти, они жили дрожа и не верили в завтрашний день. [...]

Неуверенность и неподлинность духовной жизни того времени, во многом другом отмеченного энергией и величием, мы, нынешние, объясняем как свидетельство ужаса, охватившего дух, когда он в конце эпохи вроде бы побед и процветания вдруг оказался лицом к лицу с пустотой: с большой материальной нуждой, с периодом политических и военных гроз, с внезапным недоверием к себе самому, к собственной силе и собственному достоинству, более того – к собственному существованию. Между тем на этот период ощущения гибели пришлось еще много очень высоких достижений духа, в числе прочего начало того музыковедения, благодарными наследниками которого являемся мы. Но любой отрезок прошлого поместить в мировую историю изящно и с толком нетрудно, а никакое настоящее время определить свое место в ней не способно, и потому тогда, при быстром падении духовных запросов и достижений до очень скромного уровня, как раз среди людей высокодуховных распространились ужасная неуверенность и отчаяние. Только что открыли (со времен Ницше об этом уже повсюду догадывались), что молодость и творческая пора нашей культуры прошли, что наступили ее старость и сумерки; и этим обстоятельством, которое вдруг все почувствовали, а многие резко сформулировали, люди стали объяснять множество устрашающих знамений времени: унылую механизацию жизни, глубокий упадок нравственности, безверие народов, фальшь искусства. Зазвучала, как в одной чудесной китайской сказке, «музыка гибели», как долгогремящий органный бас, раздавалась она десятки лет, разложением входила в школы, журналы, академии, тоской и душевной болезнью – в большинство художников и обличителей современности, которых еще следовало принимать всерьез, бушевала диким и дилетантским перепроизводством во всех искусствах. Были разные способы поведения перед лицом этого вторгшегося и уже не устранимого никаким волшебством врага. Можно было молча признать горькую правду и стоически сносить ее, это делали многие из лучших. Можно было пытаться отрицать ее ложью, и литературные глашатаи доктрины о гибели культуры выставляли для этого немало уязвимых мест; кроме того, всякий, кто вступал в борьбу с этими грозящими пророками, находил отклик и пользовался влиянием у мещанина, ибо утверждение, что культура, которой ты, казалось, еще вчера обладал и которой так гордился, уже мертва, что образование, любимое мещанином, что любимое им искусство уже не настоящее образование и не настоящее искусство, – это утверждение казалось ему не менее наглым и нестерпимым, чем внезапные

инфляции и угрожавшие его капиталам революции. Кроме того, был еще циничный способ сопротивляться этому великому ощущению гибели: люди ходили танцевать и объявляли любые заботы о будущем допотопной глупостью, они с чувством пели в своих фельетонах о близком конце искусства, науки, языка и, с каким-то самоубийственным сладострастием констатируя в фельетонном мире, который сами же построили из бумаги, полную деморализацию духа, инфляцию понятий, делали вид, будто с циничным спокойствием или вакхическим восторгом смотрят на то, как погибают не только искусство, дух, нравственность, честность, но даже Европа и «мир» вообще. Среди людей добрых царил молчаливый и мрачный, среди дурных – язвительный пессимизм, и должна была сперва произойти ликвидация отжившего, какая-то перестройка мира и морали политикой и войной, прежде чем и культура стала способна действительно посмотреть на себя со стороны и занять новое место.

Между тем в переходные десятилетия культура эта не была погружена в сон, а как раз в период своей гибели и кажущейся капитуляции по вине художников, профессоров и фельетонистов достигла в сознании отдельных людей тончайшей чуткости и острейшей способности к самоконтролю. В самом расцвете эпохи фельетона повсюду были отдельные небольшие группы, полные решимости хранить верность духу и изо всех сил оберегать в эти годы ядро доброй традиции, дисциплины, методичности и интеллектуальной добросовестности. Насколько мы можем сегодня судить об этих явлениях, процесс самоконтроля, образумления и сознательного сопротивления гибели протекал главным образом в двух областях. Совесть ученых искала прибежища в исследованиях и методах обучения истории музыки, ибо эта наука как раз тогда была на подъеме, и внутри «фельетонного» мира два ставших знаменитыми семинара разработали образцово чистую и добросовестную методику. И словно сама судьба вздумала поощрить эти усилия крошечной когорты храбрецов, в самые мрачные времена произошло то дивное чудо, которое было вообще-то случайностью, но показалось божественным подтверждением: нашлись одиннадцать рукописей Иоганна Себастьяна Баха, принадлежавшие некогда его сыну Фридеману! Вторым местом сопротивления порче было Братство паломников в Страну Востока, члены которого занимались не столько воспитанием интеллекта, сколько воспитанием души, заботясь о благочестии и почтительности, – отсюда наша нынешняя форма гигиены духа и игры в бисер получила важные импульсы, особенно по части

созерцания. Причастны были паломники в Страну Востока также к новому пониманию сущности нашей культуры и возможностей ее дальнейшей жизни – не столько благодаря научно-аналитическим достижениям, сколько благодаря своей основанной на давних и тайных упражнениях способности магического проникновения в отдаленные времена и состояния культуры. Были среди них, например, музыканты и певцы, относительно которых утверждают, что они обладали способностью исполнять музыку прежних эпох во всей ее старинной чистоте, играть, например, и петь музыку начала или середины XVII века в точности так, словно все позднейшие моды, утончения, виртуозные изыски еще неизвестны. Во времена, когда в музыкальной жизни царила страсть к динамике и аффектации и когда за исполнением и «трактовкой» дирижера почти забывали о самой музыке, это было нечто неслыханное; есть сведения, что, когда оркестр паломников в Страну Востока впервые публично исполнил одну сюиту догенделевской эпохи без всяких усиления и приглушений, с наивностью и чистотой другого времени и другого мира, часть слушателей осталась в полном недоумении, часть же насторожилась и подумала, что впервые в жизни слушает музыку. Один из членов Братства построил в его зале между Бремгартеном и Морбио баховский орган, совершенно такой, какой заказал бы себе Иоганн Себастьян Бах, будь у него на это средства и возможности. По правилу, действовавшему в Братстве уже тогда, строитель этого органа утаил свое имя и назвал себя Зильберманом – в честь своего предшественника, жившего в XVIII веке.

Теперь мы подошли к источникам, из которых возникло наше сегодняшнее понимание культуры. Одним из важнейших была самая молодая наука, история музыки и музыкальная эстетика, затем – последовавший вскоре подъем математики, сюда прибавились капля бальзама из мудрости паломников в Страну Востока и, в теснейшей связи с таким новым восприятием и толкованием музыки, этот храбрый, столь же веселый, сколь и смиренный, взгляд на проблему возраста культур. Нет нужды говорить здесь об этом много, эти вещи известны каждому. Важнейшим результатом этой новой точки зрения, вернее, этого нового включения в культурный процесс были полный отказ от создания произведений искусства, постепенное освобождение людей высокодуховных от мирских дел и – что не менее важно и как венец всего этого – игра в бисер.

Величайшее влияние на основы Игры оказало происшедшее уже в начале XX века, еще в самый расцвет эпохи фельетона, углубление музыковедения. Мы, наследники этой науки, считаем, что лучше знаем и в каком-то смысле даже лучше понимаем музыку великих творческих веков, особенно XVII и XVIII, чем знали и понимали ее все прежние эпохи (в том числе даже эпоха классической музыки). Конечно, у нас, потомков, совершенно другое отношение к классической музыке, чем было у людей творческих эпох; наше проникнутое духовностью и не всегда достаточно свободное от смиренной грусти уважение к настоящей музыке есть нечто совершенно иное, чем прелестный, наивный восторг перед музыкой, свойственный тем временам, которым мы склонны завидовать как более счастливым, когда именно за этой их музыкой забываем условия и судьбы, ее порождавшие. Мы уже в течение нескольких поколений видим великое наследие того периода культуры, что лежит между концом средневековья и нашим временем, не в философии и поэтическом творчестве, как то было в течение почти всего XX века, а в математике и музыке. С тех пор как мы – по крайней мере в общем и целом – отказались от творческого соревнования с этими поколениями, с тех пор как мы покончили с тем культом главенства в музыке гармонии и чисто чувственной динамики, который, начиная примерно с Бетховена и ранней романтики, царил в течение двух веков, мы думаем, что видим на свой лад – конечно, на свой нетворческий, эпигонский, но почтительный лад! – картину унаследованной нами культуры чище и правильнее. У нас нет и в помине творческого буйства того времени, нам почти непонятно, как могли музыкальные стили в XV и XVI веках сохраняться так долго в неизменной чистоте, как вышло, что среди огромной массы написанной тогда музыки нет, кажется, вообще ничего плохого, как случилось, что еще XVIII век, век начинающегося вырождения, блеснул недолгим, но самоуверенным фейерверком стилей, мод и школ, – но в том, что мы называем сегодня классической музыкой, мы, думается, поняли и взяли за образец тайну: дух, добродетель и благочестие тех поколений. Сегодня мы, например, не очень высокого или даже низкого мнения о богословии и церковной культуре XVIII века или о философии эпохи Просвещения, но в кантатах, «Страстях» и прелюдиях Баха мы видим последний взлет христианской культуры.

Впрочем, отношение нашей культуры к музыке следует еще одному древнейшему и почтеннейшему образцу, игра в бисер отдает ему дань глубокого уважения. В сказочном Китае «древних императоров», помнится

нам, музыке отводилась в государстве и при дворе ведущая роль; благосостояние музыки поистине отождествляли с благосостоянием культуры, нравственности, даже империи, и капельмейстеры должны были строго следить за сохранностью и чистотой «древних тональностей». Если музыка деградировала, то это бывало верным признаком гибели правления и государства. И поэты рассказывали страшные сказки о запретных, дьявольских и чуждых небу тональностях, например о тональности Цзин Чан и Цзин Цзэ, о «музыке гибели»: как только в императорском дворце раздались ее кошунственные звуки, потемнело небо, задрожали и рухнули стены, погибли владыка и царство. Вместо многих других слов древних авторов приведем здесь несколько выписок из главы о музыке «Вёсен и осеней» Люй Бувэя.

«Истоки музыки – далеко в прошлом. Она возникает из меры и имеет корнем Великое единство. Великое единство родит два полюса; два полюса родят силу темного и светлого.

Когда в мире мир, когда все вещи пребывают в покое, когда все в своих действиях следуют за своими начальниками, тогда музыка поддается завершению. Когда желания и страсти не идут неверными путями, тогда музыка поддается усовершенствованию. У совершенной музыки есть свое основание. Она возникает из равновесия. Равновесие возникает из правильного, правильное возникает из смысла мира. Поэтому говорить о музыке можно только с человеком, который познал смысл мира.

Музыка покоится на соответствии между небом и землей, на согласии мрачного и светлого.

Гибнущие государства и созревшие для гибели люди тоже, правда, не лишены музыки, но их музыка не радостна. Поэтому: чем бурнее музыка, тем грустнее становятся люди, тем больше опасность для страны, тем ниже падает правитель. Таким же путем пропадает и суть музыки.

Все священные правители ценили в музыке ее радость. Тираны Цзя и Чжоу Син любили бурную музыку. Они считали сильные звуки прекрасными, а воздействие на большие толпы – интересным. Они стремились к новым и странным звучаниям, к звукам, которых еще не слышало ни одно ухо; они старались превзойти друг друга и преступили меру и цель.

Причиной гибели государства Чу было то, что там придумали волшебную музыку. Ведь такая музыка, хотя она достаточно бурная, в действительности удалилась от сути музыки. Поскольку она удалилась от сути подлинной музыки, музыка эта не радостна. Если музыка не радостна,

народ ропщет, и жизни причиняется вред. Все это получается оттого, что пренебрегают сутью музыки и стремятся к бурным звучаниям.

Поэтому музыка благоустроенного века спокойна и радостна, а правление ровно. Музыка беспокойного века взволнованна и яростна, а правление ошибочно. Музыка гибнущего государства сентиментальна и печальна, а его правительство в опасности».

Положения этого китайца довольно ясно указывают нам истоки и подлинный, почти забытый смысл всякой музыки. Подобно пляске, да и любому искусству, музыка была в доисторические времена волшебством, одним из древних и законных средств магии. Коренься в ритме (хлопанье в ладоши, топот, рубка леса, ранние стадии барабанного боя), она была мощным и испытанным средством одинаково «настроить» множество людей, дать одинаковый такт их дыханию, биению сердца и состоянию духа, вдохновить их на мольбу вечным силам, на танец, на состязание, на военный поход, на священнодействие. И эта изначальная, чистая и первобытно-могучая сущность сохранялась в музыке гораздо дольше, чем в других искусствах, достаточно вспомнить многочисленные высказывания историков и поэтов о музыке, от греков до «Новеллы» Гёте. На практике ни маршевый шаг, ни танец никогда не теряли своего значения... Но вернемся к главной теме! [...]

Игра была поначалу не чем иным, как остроумным упражнением памяти и комбинационных способностей в среде студентов и музыкантов, и играли в нее, как сказано выше, в Англии и Германии еще до того, как она была «изобретена» в Кёльнском высшем музыкальном училище, где и получила свое название, которое носит и ныне, столько поколений спустя, хотя давно уже не имеет никакого отношения к бисеру. Бисером вместо букв, цифр, нот и других графических знаков пользовался ее изобретатель, Бастиан Перро из Кальва, странноватый, но умный и общительно-человеколюбивый теоретик музыки. Перро, оставивший, кстати, статью о «Расцвете и упадке контрапункта», застал в кёльнском семинаре привычку играть в одну уже довольно сильно развитую учениками игру: они называли друг другу, пользуясь аббревиатурами своей науки, мотив или начало какого-нибудь классического сочинения, на что партнер отвечал либо продолжением пьесы, либо, еще лучше, верхним или нижним голосом, контрастирующей противоположной темой и так далее. Это было упражнение для памяти и упражнение в импровизации, подобные упражнения (хотя и не теоретически, не с помощью формул, а практически, на клавесине, на лютне, на флейте или напевая) вполне могли

проделывать когда-то усердные ученики, занимавшиеся музыкой и контрапунктом во времена Шюца, Пахельбеля [Шюц, Генрих (1585–1672) – немецкий композитор, органист, педагог, предшественник Баха. Пахельбель, Иоганн (1653–1706) – немецкий композитор, известный органист. Оказал влияние на творчество Баха. – Прим. перев.] и Баха. Бастиан Перро соорудил себе, по примеру немудреных счетов для детей, раму с несколькими десятками проволочных стержней, на которые он нанизал бисерины разных размеров, форм и цветов. Стержни соответствовали нотным линейкам, бусины значениям нот и так далее, и таким образом он строил из бисера музыкальные цитаты или придуманные темы, изменял, транспонировал, развивал, варьировал их и сопоставлял их с другими. Эта штука, хотя с технической точки зрения и сущее баловство, понравилась ученикам, вызвала подражания и вошла в моду, в Англии тоже, и одно время музыкальные упражнения проигрывались таким примитивно-очаровательным способом. И как то часто бывает, так и в данном случае долговечное и важное установление оказалось обязано своим наименованием случайности, пустяку. То, что вышло позднее из той семинарской игры и из унизанных бусинами стержней Перро, и ныне носит ставшее популярным название – «игра в бисер».

Столетия два-три спустя Игра, кажется, перестала пользоваться такой любовью у изучающих музыку, но зато была перенята математиками, и характерной чертой истории Игры долго оставалось то, что ей всегда оказывала предпочтение, пользовалась ею и развивала ее та наука, которая в данное время переживала расцвет или возрождение. У математиков Игра достигла большой подвижности и способности к совершенствованию, как бы уже осознав себя самое и свои возможности, и произошло это параллельно с общим развитием тогдашнего сознания культуры, которое, преодолев великий кризис, «со скромной гордостью, – как выражается Плиний Цигенхальс, – примирилось со своей ролью принадлежать поздней культуре, состоянию, примерно соответствующему поздней античности, эллинистическо-александрийской эпохе».

Так говорит Цигенхальс. Мы же, заканчивая свой обзор истории игры в бисер, констатируем: перейдя из музыкальных семинаров в математические (что совершилось во Франции и в Англии, пожалуй, еще быстрее, чем в Германии), Игра развилась настолько, что смогла выражать особыми знаками и аббревиатурами математические процессы: игроки потчевали друг друга, обоюдно развивая их, этими отвлеченными формулами, они проигрывали, демонстрировали друг другу эволюции и

возможности своей науки. Математическо-астрономическая игра формул требовала большой внимательности, бдительности и сосредоточенности, среди математиков уже тогда репутация хорошего игрока стоила многого, она была равнозначна репутации хорошего математика.

Игру периодически перенимали, то есть применяли к своей области, чуть ли не все науки; засвидетельствовано это относительно классической филологии и логики. Анализ музыкальных значений привел к тому, что музыкальные процессы стали выражать физико-математическими формулами. Немного позже этим методом начала пользоваться филология, измеряя структуры языка так же, как физика – явления природы; потом это распространилось на изучение изобразительных искусств, где давно уже благодаря архитектуре существовала связь с математикой. И тогда между полученными этим путем абстрактными формулами стали открываться все новые отношения, аналогии и соответствия. Каждая наука, овладевая Игрой, создавала себе для этого условный язык формул, аббревиатур и комбинационных возможностей; среди элиты высокодуховной молодежи везде были в ходу игры с рядами формул и диалогами в формулах. Игра была не просто упражнением и не просто отдыхом, она олицетворяла гордую дисциплину ума, особенно математики играли в нее с аскетической и в то же время спортивной виртуозностью и педантичной строгостью, находя в ней наслаждение, облегчавшее им отказ от мирских удовольствий и устремлений, который тогда уже взяли за правило люди высокого духа. В полное преодоление фельетонизма и в ту вновь пробудившуюся радость от изощренных умственных упражнений, которой мы обязаны новой монашески строгой дисциплиной ума, игра в бисер внесла большой вклад. Мир изменился. Духовную жизнь фельетонной эпохи можно сравнить с выродившимся растением, которое без пользы уходит в рост, а последующие поправки – со срезанием этого растения до самых корней. Молодые люди, желавшие теперь посвятить себя умственным занятиям, уже не подразумевали под этим порханье по высшим учебным заведениям, где знаменитые и болтливые, но неавторитетные профессора угощали их остатками былой образованности; учиться они должны были теперь так же упорно и даже еще упорнее и методичнее, чем некогда инженеры в политехнических институтах. Они должны были идти крутой дорогой, очищая и развивая свой интеллект математикой и аристотелевско-схоластическими упражнениями, а кроме того, учась полностью отказываться от всех благ, помогать которым прежние поколения ученых считали нужным: от быстрых и легких заработков, от славы и публичных

почестей, от хвалы в газетах, от браков с дочерьми банкиров и фабрикантов, от житейской избалованности и роскоши. Писатели с большими тиражами, Нобелевскими премиями и красивыми дачами, великие медики с орденами и слугами в ливреях, университетские деятели с богатыми супругами и блестящими салонами, химики, состоящие в наблюдательных советах промышленных акционерных обществ, философы с целыми фабриками фельетонов, читающие увлекательные доклады в переполненных залах под аплодисменты и с преподнесением цветов, – все эти фигуры исчезли и поныне не возвращались. Встречалось, правда, и теперь немало способных молодых людей, для которых эти фигуры служили завидными образцами, но пути к почестям, богатству, славе и роскоши уже не проходили теперь через аудитории, семинары и диссертации, низко павшие духовные поприща обанкротились в глазах мира и вновь обрели взамен покайнно-фанатическую преданность духу. Таланты, стремившиеся больше к приятной жизни и блеску, должны были повернуться спиной к оказавшейся не в чести духовности и обратиться к поприщам, к которым отошли благополучие и хорошие заработки.

Нас завело бы это чересчур далеко, если бы мы стали подробно описывать, каким образом дух после своего очищения добился признания и в государстве. Вскоре стало ясно, что духовной расхлябанности и бессовестности нескольких поколений оказалось достаточно, чтобы причинить вполне ощутимый вред и практической жизни, что на всех более или менее высоких поприщах, в том числе и технических, умение и ответственность встречаются все реже и реже, и поэтому попечение о духовной жизни народа и государства, в первую очередь все школьное дело, было постепенно монополизировано людьми высокодуховными; да и сегодня еще почти во всех странах Европы школа, если она не осталась под контролем Римской церкви, находится в руках тех анонимных орденов, которые формируются из высокодуховной элиты. Как ни неприятны порой общественному мнению строгость и, так сказать, надменность этой касты, как ни бунтовали против нее отдельные лица, руководство ее еще не пошатнулось, оно защищено и держится не только своей безупречностью, своим отказом от всяких преимуществ и благ, кроме духовных, защищает его и давно уже ставшее всеобщим знание или смутное чувство, что эта строгая школа необходима для дальнейшего существования цивилизации. Люди знают или смутно чувствуют; если мышление утратит чистоту и бдительность, а почтение к духу потеряет силу, то вскоре перестанут двигаться корабли и автомобили, не будет уже

ни малейшего авторитета ни у счетной линейки инженера, ни у математики банка и биржи, и наступит хаос. Прошло, однако, довольно много времени, прежде чем пробило себе дорогу понимание того факта, что и внешняя сторона цивилизации, что и техника, промышленность, торговля и так далее тоже нуждаются в общей основе интеллектуальной нравственности и честности. [...]

Игра в бисер, когда-то профессиональная забава то математиков, то филологов, то музыкантов, очаровывала теперь все больше и больше подлинных людей духа. Ею занялись многие старые академии, ложи и особенно древнейшее Братство паломников в Страну Востока. Некоторые католические ордена тоже почуяли тут духовную свежесть и пришли от нее в восторг; особенно в некоторых бенедиктинских обителях Игре уделяли такое внимание, что уже тогда встал со всей остротой всплывавший порой и впоследствии вопрос: следует ли церкви и курии терпеть, поддерживать или запретить эту игру.

Игра быстро сделалась тем, чем она является и сегодня — воплощением духовности и артистизма, утонченным культом, *unio mystica* [Мистический союз (лат.)] всех разрозненных звеньев *universitas litterarum*. В нашей жизни она взяла на себя роль отчасти искусства, отчасти спекулятивной философии, и во времена, например, Плиния Цигенхальса ее нередко определяли термином, идущим еще от литературы фельетонной эпохи, когда он обозначал возделенную цель предчувствовавшего кое-что духа, — термином «магический театр».

Если техника, если объем материала Игры выросли с ее начальных пор бесконечно и если в части интеллектуальных требований к игрокам она стала высоким искусством и наукой, то все же во времена базельца ей еще не хватало чего-то существенного. Дотоле каждая ее партия была последовательным соединением, группировкой и противопоставлением концентрированных идей из многих умственных и эстетических сфер, быстрым воспоминанием о вневременных ценностях и формах, виртуозным коротким полетом по царствам духа. Лишь значительно позднее в Игру постепенно вошло понятие созерцания, взятое из духовного багажа педагогики, но главным образом из круга привычек и обычаев паломников в Страну Востока. Обнаружился тот недостаток, что фокусники от мнемоники, лишенные каких бы то ни было других достоинств, могут виртуозно разыгрывать виртуозные и блестящие партии, ошарашивая партнеров быстрой сменой бесчисленных идей. Постепенно на эту виртуозность наложили строгий запрет, и созерцание стало очень

важной составной частью Игры, даже главным для зрителей и слушателей каждой партии. Это был поворот к религиозности. Задача заключалась уже не только в том, чтобы быстро, внимательно, с хорошей тренировкой памяти следовать умом за чередами идей и всей духовной мозаикой партии, возникло требование более глубокой и душевной самоотдачи. После каждого знака, оглашенного руководителем Игры, проходило тихое, строгое размышление об этом знаке, о его содержании, происхождении, смысле, что заставляло каждого партнера ярко и живо представить себе значения этого знака. Технику и опыт созерцания все члены Ордена и игровых общин приносили из элитных школ, где искусству созерцания и медитации отдавалось очень много сил. Это предотвратило вырождение иероглифов Игры в простые буквы. [...]

Игра означала изысканную, символическую форму поисков совершенного, возвышенную алхимию, приближение к внутренне единому над всеми его ипостасями духу, а значит – к богу. Подобно тому, как религиозные мыслители прежних времен представляли себе жизнь тварей живых дорогой к богу и только в божественном единстве усматривали полную завершенность многообразного мира явлений, – примерно так же фигуры и формулы Игры, строившиеся, музицировавшие и философствовавшие на всемирном, питаемом всеми искусствами и науками языке, устремлялись, играя, к совершенству, к чистому бытию, к сбывшейся целиком действительности. «Реализовать» было у игроков любимым словом, и на свою деятельность они смотрели как на путь от становления к бытию, от возможного к реальному. [...]

«Мы считаем классическую музыку экстрактом и воплощением нашей культуры, потому что она – самый ясный, самый характерный, самый выразительный ее жест. В этой музыке мы владеем наследием античности и христианства, духом веселого и храброго благочестия, непревзойденной рыцарской нравственностью. Ведь, в конце концов, нравственность – это всякий классический жест культуры, это сжатый в жест образец человеческого поведения. В XVI–XVIII веках было создано много всяческой музыки, стили и выразительные средства были самые разные, но дух, вернее, нравственность везде одна и та же. Манера держать себя, выражением которой является классическая музыка, всегда одна и та же, она всегда основана на одном и том же характере понимания жизни и стремится к одному и тому же характеру превосходства над случайностью. Жест классической музыки означает знание трагичности человечества, согласие с человеческой долей, храбрость, веселье! Грация ли

генделевского или купереновского менуэта, возвышенная ли до ласкового жеста чувственность, как у многих итальянцев или у Моцарта, или тихая, спокойная готовность умереть, как у Баха, – всегда в этом есть какое-то „наперекор“, какое-то презрение к смерти, какая-то рыцарственность, какой-то отзвук сверхчеловеческого смеха, бессмертной веселости. Пусть же звучит он и в нашей игре в бисер, да и во всей нашей жизни, во всем, что мы делаем и испытываем».

Эти слова были записаны одним учеником Кнехта. Ими мы и закончим свой очерк об игре в бисер.

Киз Д. Цветы для Элджернона.

Автор: Дэниел Киз (род. 9.08.1927 Нью-Йорк, США)

Источник: Рассказ «Цветы для Элджернона» опубликован в 1959 г.

Вопросы для обсуждения

- 1) Если человек – это прежде всего существо разумное, значит ли это, что чем он умнее, тем человечнее?*
- 2) Существует ли взаимосвязь между уровнем интеллекта и уровнем духовности / нравственности личности?*
- 3) Насколько ум облегчает жизнь? Проще ли умному человеку обрести счастье?*
- 4) В чем особенность социального положения гения?*
- 5) Согласны ли вы с утверждением, что прогресс человечества, наше «светлое будущее» напрямую зависит от роста знаний и образованности?*

1. атчет о праисходящем – 5 марта 1956

Доктор Штраусс говорит что с севодняшниво дня я должен записывать все что я думаю и что со мною случайца. Я незнаю зачем это нужно но он говорит это очинь важно для таво чтобы посмотреть использовать меня или нет. Я надеюсь они меня используют. Мисс Кинниен говорит может они сделают меня умным. Я хочу быть умным. Меня зовут Чарли Гордон. Мне 37 лет и две недели назад был мой день раждения. Сейчас мне больше писать нечево и на севодня я кончаю. [...]

Севодня попозже у меня были еще какието психованные испытания. Это испытание показалось мне легким потомучто я мог разглядеть картинки. Только в этот раз добрая леди которая со мной занималась нехотела чтобы я рассказал ей про картинки. Это меня запутало. Я сказал что вчерашний мущина прасил чтобы я рассказал что я видел в кляксе она сказала что это ничево незначит. Она сказала придумай рассказы про людей которые на картинках. Я сказал как можно рассказывать про людей которых никогда невидел. Почему я должен придумывать неправду. Я теперь больше неговорю неправду потомучто я всегда пападаюсь.

Потом люди в белых пальто повели меня в другую часть бальницы и дали мне игру. Это вроде состязания с белой мышкой. Они называли мышку Элджерноном. Элджернон сидел в коробке в которой было очинь много заворотов вроде всяких стенок и они дали мне карандаш и бмагу с

полосками и квадратиками. С одной стороны было написано СТАРТ а с другой стороны написано ФИНИШ. Они сказали что это лабиринт и что мы с Эджерноном должны сделать один и тотже лабиринт. Я непонял как мы можем делать один и тотже лабиринт если у меня была бумага и у Эджернона коробка но я ничего не сказал. Да и времени небыло потомучто начались состязания.

У одного мущины были часы которые он хотел от меня спрятать поэтому я старался несмотреть туда и начал изза это валнаватца.

От этово испытания мне было хуже чем от всех других потомучто они повторяли его 10 раз с разными лабиринтами и Эджернон всегда выигрывал. Я не знал что мыши такие умные. Может это потому что Эджернон белый. Может белые мыши умнее чем другие.

4. атчет о праисходящем – 8 мар

Они будут меня использовать! Я так влнуюсь что почти немогу писать. Сперва доктор Немюр и доктор Штраусс паспорили об этом. Доктор Немюр был в кабинете когда меня туда привел доктор Штраусс. Доктор Немюр не знал использовать меня или нет но доктор Штраусс сказал ему что мисс Кинниен рикаминдавала меня самым лучшим из всех каво она учит. Мне нравица мисс Кинниен потомуто она очинь умная учительница. И она сказала Чарли у тебя будет еще один шанс. Если ты дабровольно согласишся на этот экспирамент может ты станеш умным. Они незнают это будет навсегда или нет но есть шанс. Поэтому я сказал ладно хотя и очень боялся потомучто она сказала что мне будут делать апирацию. Она сказала небойся Чарли ты сделал такие большие успехи с такими малинькими способностями что я думаю ты заслужил это больше всех.

Поэтому я испугался кгда доктор Немюр и доктор Штраусс об этом паспорили. Доктор Штраусс сказал что у меня есть чтото очинь хорошее.

Он сказал доктор Немюр Чарли не такой каким вы представляете себе перваво из ваших новых интелек... (немог разабрать слово) сюперменов. Но большинство людей таковаже низкаво уровня интелек... вражд... и необщит... они обычно тупы апатич... и с ними трудно иметь дело. У нево хороший характер он заинтирисован и сготовностью идет навстречу.

Доктор Немюр сказал не забывайте что он будет первым человеческим сущиством интилект котораво устроитца врезультате хирургическаво вмишательства.

Доктор Штраусс сказал правильно. Поглядите как он хорошо научился читать и писать для своего низкаво умствинаво уровня это такоеже великое достиж... как еслибы мы с вами без всякой помощи изучили тиорию... ности эйнштейна.

Я понял не все слова они говорили слишком быстро но похоже доктор Штраусс был за меня а другой нет.

Потом доктор Немюр кивнул он сказал ладно можетбыть вы правы. Мы используем Чарли. Кгда он так сказал я очинь развалнавался я вскачил и пжал ему руку за то что он такой добрый ко мне. Я сказал ему спасибо док вы не пожалейте что дали мне еще один шанс. И я это сказал чесно. После апирации я обязательно пастараюсь стать умным. Я буду ужас как старатца.

5. атчет о праисходящ – 10 мар

Мне страшно. Многие люди которые здесь работают и сестры и те которые делали мне испытания принесли мне конфеты и пажелали мне удачи. Я надеюсь что мне повезет.

Я спросил доктора Штраусса смогу я после апирации победить Элджернона и он сказал может быть. Если апирация получица я докажу этой мышке что я могу быть такимже умным. А может даже умнее. Я смогу лучше читать и правильно писать слова буду знать много разных вещей и буду как дргие люди. Я хочу быть умным как другие. Если это останеца навсегда они сделают умными всех на свете.

6. Отчет о происходящем – 15 мар

От апирация мне было больно. Он ее сделал когда я спал. Они севодня сняли у меня с головы и глаз бинт и я могу писать Отчет о происходящем. Доктор Немюр который видел мои другие отчеты говорит что я пишу слово отчет неправильно и он показал как ево нужно писать и слово происходящем тоже. Я должен постаратца это запомнить.

Я очинь плохо запоминаю как нужно правильно писать. Доктор Штраусс говорит мне нужно писать все что со мной случица но он говорит я должен рассказывать больше что я думаю и чувствую. Когда я сказал ему я неумею думать он сказал папробуй. Пока у меня на глазах был бинт я все время старался думать. Ничево неполучилось. Я незнаю о чем думать. Можетбыть если я спрашу ево он мне скажет как я должен это делать ведь теперь мне полагаеца стать умным. О чем думают умные люди. Наверно чтонибудь придумывают. Я бы хотел уже уметь придумывать. [...]

8. Отчет о происходящем – 23 мар

Я иду обратно работать на фабрику. Они сказали это лучше чтобы я снова начал работать но мне нельзя никому говорить для чего мне делали апирацию и я должен каждый вечер после работы на час приходить в больницу. Они собираюца мне платить деньги каждый месяц чтобы я учился быть умным.

Я рад что я возвращаюсь на фабрику потомучто я скучаю по моей работе и по всем моим друзьям и по нашим развлечениям. [...]

У нас на фабрике было севодня очинь весело. Джо Керп сказал а нука посмотрим где у Чарли была апирация что они сделали как они добавили Чарли мозгов. Я захотел рассказать ему но вспомнил что доктор Штраусс сказал нельзя. Потом Френк Рейлли сказал что ты делал Чарли давай поднатужся и выкладывай. От этово мне стало смешно. Они мои настоящие друзья и они меня любят.

Ингда ктонибудь скажет эй посмотрите на Джо или Френка или Джорджа какова он сваял Чарли Гордона. Я незнаю почему они так говорят но они всегда смеюца. Севодня утром Эмос Борг который у Доннегана 4 человек называл мое имя когда кричал на рассыльного Эрни. Эрни патерял пакет. Он сказал черт возьми Эрни ты что строиш из себя Чарли Гордона. Я непонимаю почему он так сказал. Я никогда нетерял никаких пакетов. [...]

9. Отчет о происходящем – 3 апреля.

... голова у меня болит от вечиринки. Мои друзья с фабрики Джо Керп и Френк Рейлли пригласили меня пойти с ними в салун Маггси чтоонибудь выпить. Я нелюблю выпивать но они сказали что нам будет очинь весело. Я хорошо провел время.

Джо Керп сказал что я должен показать девушкам как я на фабрике мою пол в уборной и он принес мне тряпку. Я показал и все засмиялись когда я сказал что мистер Доннеган говорит что я самый лучший уборщик из всех каво он имел за все время потомучто я люблю свою работу и хорошо с ней справляюсь никогда не опаздываю и непрогулял ни одново дня только когда мне делали апирацию.

Я сказал что мисс Кинниен всегда говорила Чарли гордись своей работой потомучто ты с ней хорошо справляешся.

Все смиялись нам было весело и они дали мне много выпить а Джо сказал ну и тип этот Чарли когда наклюкаетца. Я незнаю что это значит но все меня любят и нам весело. Я немогу дождатца пока стану таким умным как мои лучшие друзья Джо Керп и Френк Рейлли.

Я непомню как кончилась вечиринка но мне кажеца я вышел купить газету и кофе для Джо и Френка и когда я вернулся там никаво их небыло. Я искал их везде допоздна. Что потом я помню не так хорошо но мне кажеца я захотел спать или заболел. Какойто добрый полицейский привел меня домой. Так говорит моя квартирная хозяйка миссис Флинн.

Но у меня болит голова и на ней большая шишка и кругом синяки. Я думаю может я упал но Джо Керп говорит это работа полицейскаво они иногда бьют пьяных. Я так недумаю. Мисс Кинниен говорит что полицейские должны помогать людям. А все таки у меня очинь болит голова меня тошнит и все у меня болит. Я думаю, что я больше никогда небуду пить.

6 апреля. Я победил Эджернона! Я даже незнал что я победил ево пока мне нескзал лабарант Берт. А во второй раз я проиграл потомучто я так валнавался что упал со стула когда еще не кончил. Но потом я победил ево еще 8 раз. Должно быть я становлюсь умным если победил такую умную мыш как Эджернон. Но я не чувствую себя умнее. [...]

10 апреля. Мисс Кинниен учит меня писать лучше. Она говорит посмотри на слово закрой глаза и повторяй его много много раз пока не запомниш. Мне очень трудно со словом кажется которое говорят кажеца и со словом сегодня которое говорят севодня.

14 апреля. Я кончил Робинзона Крузо. Мне хочется узнать что с ним еще случится но мисс Кинниен говорит это все. Почему.

15 апреля. Мисс Кинниен говорит что я учусь быстро. Она прочла некоторые из моих сообщений и как-то страно посмотрела на меня. Она говорит что я хороший человек и я им всем докажу. Я спросил ее почему. Она сказала неважно но мне не нужно огорчатся если я пойму что все не такие хорошие как я думаю. Она сказала такой человек как ты которому бог дал так мало сделал больше чем многие умные люди которые никогда даже не используют свои мозги. Я сказал что все мои друзья умные люди но они хорошие. Они меня любят и никогда ничего плохого не сделали. Тут ей что-то попало в глаз и она побежала в туалет. [...]

20 апр. Я себя очень плохо чувствую. Не так, что мне нужен доктор, а в груди у меня как-то пусто, будто у меня вышибли внутренности, и к тому же еще у меня изжога.

Я не собирался об этом писать, но мне кажется, это все-таки следует сделать, потому что это важно. Сегодня в первый раз я не вышел на работу и остался дома.

Вчера вечером Джо Керп и Френк Рейлли пригласили меня на вечеринку. Там было много девушек и несколько ребят с фабрики. Я вспомнил, как мне было плохо прошлый раз, когда я слишком много выпил, и поэтому я сказал Джо, что не хочу ничего пить. Вместо спиртного он дал мне чистую кока-колу. У нее был странный вкус, но я подумал, что это у меня просто неприятный привкус во рту.

Вначале нам было очень весело. Джо сказал, что я должен танцевать с Эллин, и она поучит меня разным па. Я несколько раз упал и никак не мог понять почему, ведь кроме меня и Эллин никто больше не танцевал. И я то и дело спотыкался, потому что все время кто-нибудь вытягивал ногу.

Поднявшись, я увидел на лице Джо такое выражение, что почувствовал что-то странное в животе.

– Да от него просто сдохнуть можно, – сказала одна из девушек.

Все расхохотались.

– Я так здорово не смеялся с того вечера у Маггси, когда мы послали его за газетой и смылись, – сказал Френк.

– Нет, вы только на него посмотрите. Какая у него красная рожа.

– Он краснеет. Чарли краснеет.

– Эй, Эллин, что ты сделала с Чарли? Я никогда его таким не видел.

Я не знал, что мне делать, куда себя девать. Все смотрели на меня и смеялись, и я почувствовал себя так, будто стою нагишом. Мне захотелось куда-нибудь спрятаться. Я выбежал на улицу, и меня вырвало. Потом я пошел домой. Странно, как я никогда не замечал, что Джо, Френку и другим нравилось все время таскать меня за собой для того, чтобы надо мной смеяться. Теперь я понимаю, что это значит, когда они говорят «свалить Чарли Гордона»!

Мне стыдно. [...]

Сегодня мне значительно лучше, но кажется, я все еще немного сержусь на людей за то, что они всегда надо мной издевались и делали из меня посмешище, потому что я был глуп. Когда я, как говорит доктор Штраусс, поумнею и мой К.И. [1– К.И. – коэффициент интеллекта] 68 утроится, быть может, я стану таким, как все, и люди будут любить меня и относиться ко мне по-дружески. Так я до сих пор толком и не знаю, что такое К.И., за исключением того, что мой вскоре превысит 200. Я промолчал, но мне все-таки непонятно, каким образом они узнают, сколько его у вас, если они не знают, что это такое или где это находится. [...]

25 апреля. Я придумал, как по-новому расположить на фабрике станки, и мистер Доннеган говорит, что это сэкономит ему в год десять тысяч долларов на рабочей силе и увеличении количества выпускаемой продукции. Он выдал мне 25 долларов премии.

Чтобы отпраздновать это событие, я пригласил Джо Керпа и Френка Рейлли позавтракать со мной, но Джо сказал, что ему нужно кое-что купить для жены, а Френк сказал, что завтракает со своей двоюродной сестрой. Мне думается, должно пройти какое-то время, пока они привыкнут к происшедшей во мне перемене. Все словно боятся меня. Когда я подошел к Эмосу Боргу и похлопал его по плечу, он прямо-таки подпрыгнул до потолка.

Люди со мной теперь мало разговаривают и не шутят, как прежде. Поэтому на работе как-то одиноко. [...]

11. Отчет о происходящем

30 апреля. Я больше не работаю в «Компании по производству пластмассовых коробок» Доннегана. Мистер Доннеган твердо заявил, что всем будет лучше, если я уйду. За что они меня так возненавидели?

Я узнал об этом впервые, когда мистер Доннеган показал мне петицию. Восемьсот сорок подписей, все, кто имеет отношение к фабрике...

Снова я горю от стыда. Этот мой новый интеллект воздвиг стену между мной и всеми теми, кого я раньше знал и любил. Прежде они смеялись надо мной и презирали меня за мое невежество и тупость; теперь они ненавидят меня за мои знания и сообразительность. Господи, что же им от меня наконец нужно?

Они вышвырнули меня с фабрики. Теперь я еще более одинок, чем когда-либо... [...]

18 мая. Я очень взволнован. Вчера вечером я встретился с мисс Кинниен – до этого я не видел ее больше недели. Я старался не касаться высокоинтеллектуальных вопросов и вести беседу на простые каждодневные темы, но она растерянно посмотрела на меня и спросила, что я подразумеваю под изменением математического эквивалента в «Пятом концерте» Доберманна.

Когда я попытался объяснить это, она остановила меня и рассмеялась. Подозреваю, что разговариваю с ней не на том уровне. Какую бы я ни затронул тему, я не могу найти с ней общего языка. Я вижу, что уже почти не могу общаться с людьми. Хорошо, что есть на свете книги, музыка и проблемы, о которых я могу думать. [...]

Как странно, что людям с нормальными чувствами, которые никогда не заденут калеку, родившегося без рук, без ног или глаз, что этим людям ничего не стоит оскорбить человека с врожденной умственной недостаточностью. Меня приводила в бешенство мысль, что не так давно я, совсем как этот мальчик, по глупости изображал из себя клоуна. А я почти об этом забыл.

Я спрятал от самого себя прежнего Чарли Гордона. Но сегодня, взглянув на этого мальчика, я впервые увидел, каким я был раньше. Я был точно таким же!

Я часто перечитываю мои отчеты и вижу безграмотность, детскую наивность, ничтожный, словно запертый в темную комнату интеллект, который жадно всматривается сквозь замочную скважину в сияющий снаружи ослепительный свет. Я вижу, что при всей своей тупости я понимал собственную неполноценность, понимал, что другие люди обладали чем-то, чего у меня не было, чем меня обделила судьба. В своей умственной слепоте я считал, что это было каким-то образом связано с умением читать и писать, и я был уверен, что, постигнув это искусство, я автоматически обрету разум.

Даже слабоумный хочет быть похожим на всех остальных людей.

Ребенок может не знать, как или чем накормить себя, но ему знакомо чувство голода. [...]

12. Отчет о происхождении

23 мая. Это произошло сегодня. Эдджернон укусил меня. Я, как повелось, зашел в лабораторию навестить его, и, когда я достал его из клетки, он впился зубами мне в руку. Я посадил его обратно и некоторое время наблюдал за ним. Он был необычно беспокоен и озлоблен.

24 мая. Берт, в ведении которого находятся экспериментальные животные, сообщил, что Эдджернон меняется. Он становится менее общительным; он отказывается бегать по лабиринту. И он не ест. Все недоумевают, что это может значить.

25 мая. Они сами кормят Эдджернона, который теперь отказывается решать задачу с меняющимся замком. Все отождествляют меня с Эдджерноном. В некотором смысле мы оба – первые. Все они делают вид, что поведение Эдджернона не обязательно должно что-то означать в отношении меня. Но трудно скрыть тот факт, что некоторые из животных, которых подвергли тому же эксперименту, ведут себя странно.

Доктор Штраусс и доктор Немюр попросили меня больше не приходить в лабораторию. Я знаю, о чем они думают, но не могу с этим

согласиться. Я не оставил своего намерения продвинуть вперед их исследования. При всем уважении к этим двум достойным ученым я прекрасно сознаю пределы их возможностей. Если существует какое-то решение, я должен буду найти его сам. Совершенно неожиданно фактор времени приобретает для меня огромную важность.

29 мая. В мое полное распоряжение отвели лабораторию и разрешили продолжать исследования. Что-то уже проясняется. Работаю круглые сутки. Мне поставили в лабораторию койку. Большая часть времени, отведенного мною для записей, уходит на заметки, которые я держу в отдельной папке, но иногда я по привычке ощущаю необходимость передать на бумаге свое настроение и мысли.

31 мая. Доктор Штраусс считает, что я работаю слишком интенсивно. Доктор Немюр говорит что я пытаюсь втиснуть в несколько недель исследования и мысли, на которые уходит целая жизнь. Я знаю, что мне нужно отдохнуть, но меня подгоняет какой-то внутренний импульс, который не дает остановиться. Я должен найти причину быстрого регресса Элджернона. Я должен знать, произойдет ли это со мной. И если да, то когда. [...]

5 июня. Я должен держать себя в руках. Фактический материал и результаты проведенных мною экспериментов не оставляют сомнений, и наиболее сенсационные аспекты моего собственного быстрого подъема не могут затемнить то, что утروение интеллекта путем хирургического вмешательства по методу доктора Штраусса и доктора Немюра нужно рассматривать как открытие, в настоящее время практически малоприменимое или даже неприменимое вообще.

... Стимулирующее хирургическое вмешательство, которому мы оба подверглись, привело к интенсификации и ускорению всех умственных процессов. Непредвиденные явления, которые я взял на себя смелость назвать «Эффектом Элджернона-Гордона», являются логическим следствием общего ускорения процессов мышления. Доказанную здесь гипотезу можно коротко сформулировать следующим образом: интеллект, повышенный искусственно, понижается затем со скоростью, прямо пропорциональной степени его повышения. Мне кажется, что это уже само по себе является важным открытием. По всем данным моя собственная умственная деградация будет очень быстрой. Я уже начал замечать в себе признаки эмоциональной неустойчивости и забывчивости – первые симптомы конца.

10 июня. Ухудшение прогрессирует. Я становлюсь рассеянным. Два дня назад скончался Элджернон. Вскрытие доказывает правильность моих предсказаний. Вес его мозга уменьшился, обнаружено общее сглаживание мозговых извилин, а также углубление и расширение борозд. Полагаю, что со мной происходит или вскоре будет происходить то же самое. Я положил труп Элджернона в коробку из-под сыра и похоронил его на заднем дворе. Я плакал. [...]

До чего же это странное ощущение, когда берешь книгу, которую с наслаждением читал всего лишь месяц назад, и обнаруживаешь, что совсем ее забыл. Я вспомнил, каким великим человеком казался мне Джон Мильтон, но, когда я сегодня попробовал почитать «Потерянный рай», я абсолютно ничего не понял. Я так рассвирепел, что швырнул книгу в другой конец комнаты.

Я должен попытаться сохранить хоть что-нибудь. Что-нибудь из того, что я за это время познал. О господи, не отнимай у меня всего... [...]

21 июня. Почему я теряю память? Я должен бороться. Целыми днями я лежу в постели, не зная, кто я и где я нахожусь. Потом все это вдруг возвращается. Причуды амнезии. Симптом старости – впадаю в детство. Как это беспощадно логично! Я познал так много и так быстро. А теперь мой интеллект понижается с огромной скоростью. Я не допущу этого. Я буду с этим бороться. Я не в состоянии отогнать от себя воспоминание о мальчике из ресторана, о тупом выражении его лица, глупой улыбке, о людях, которые над ним смеялись. Нет... умоляю... только не это... снова...

22 июня. Я забываю то, что выучил недавно. Похоже, все идет по классическим законам – в первую очередь забывается то, что было усвоено последним. Впрочем, закон ли это? Пожалуй, я лучше прочту еще раз...

Я перечитал свой доклад об «Эффекте Элджернона-Гордона», и мне показалось, будто его написал кто-то другой. Некоторые разделы я даже не понимаю.

Я все время спотыкаюсь о разные предметы, и мне становится все труднее печатать на машинке. [...]

10 июля. Моя хозяйка миссис Флинн очинь за меня беспокоится. Она говорит что когда я вот так валяюсь целый день и ничево не делаю я ей напоминаю ее сына перед тем как она его выгнала из дому. Она сказала что не любит бездельников. Если я болен это одно а если я бездельник это уже другое дело и она этого не потерпит.

Я сказал я думаю что я заболел.

Я стараюсь читать понемножку каждый день в основном рассказы но иногда мне приходится много раз перечитывать одно и тоже место потому что я не понимаю что это значит. И мне трудно писать. Я знаю что мне нужно смотреть все слова в словаре но это очинь трудно а я все время такой усталый.

Потом я решил что вместо длиных трудных слов буду писать только легкие. Это сохраняет время. Примерно раз в неделю я кладу цветы на могилу Эджернона. Миссис Флинн думает я рехнулся что кладу цветы на мышиную могилу но я сказал ей что Эджернон был особиной мышью. [...]

24 июля. У меня больше нет денег и миссис Флин говорит что мне нужно гденибудь работать чтобы платить ей за комнату ведь я не заплатил больше чем за два месяца. Я неумею ничево делать кроме работы которую я делал в «Компании по производству пластмасовых коробок» Доннегана. Я нехочу туда возвращатца потому что они там знали меня когда я был умным и может будут теперь надо мною смеятца. Но я незнаю что еще делать чтобы достать деньги.

25 июля. Я смотрел некоторые из моих старых отчетов и это очинь страна но я немогу прочесть что я написал. Я разбираю некоторые слова но непонимаю их. Мисс Кинниен приходила и стояла удвери но я сказал ей уходите я нехочу вас видеть. Она заплакала и я тоже заплакал но непустил ее потому что я нехотел чтобы она надо мною смеялась. Я сказал ей что она мне больше не нравица. Я сказал что я больше нехочу быть умным. Это неправда. Я попрежнему люблю ее и попрежнему хочу быть умным но я должен был так сказать чтобы она ушла. Она заплатила миссис Флинн за мою комнату. Я это нехочу. Я должен найти работу.

Пожалуста... сделайте так чтобы я неразучился читать и писать.

27 июля. Мистер Доннеган был очинь добрым когда я пришел на фабрику и попросил ево снова взять меня уборщиком. Сперва он смотрел на меня с недоверием но я рассказал что со мной случилось и он очинь огорчился положил мне на плечо руку и сказал Чарли Гордон ты мужиственный человек.

Все на меня смотрели когда я спустился вниз и начал как раньше мыть уборную. Я сказал себе Чарли если они будут над тобой смеятца не обижайся ты же помниш что они нетакие умные как тебе когдато казалось. А потом они ведь были раньше твоими друзьями и если они смеялись над тобой это ничево потому что они тебя и любили тоже.

Один из рабочих котораво взяли после моего ухода гадко пошутил он сказал эй Чарли я слышал ты очинь башковитый парень прямо настоящий прафесор. А нука скжи чтонибудь умное.

Мне стало плохо но тут подошел Джо Керп схватил ево за рубашку и сказал оставь его в покое ты паршивый шутник а то я тебе сверну шею. Я неожидал что Джо станет на мою сторону и я думаю что он мой настоящий друг. Попозже ко мне подошел Френк Рейлли и сказал Чарли если кто-нибудь будет к тебе приставать или захочет тебя обмануть позови меня или Джо и мы ему дадим прикурить. Я сказал спасибо Френк и задохнулся и мне пришлось уйти на склад чтобы он неувидел как я плачу. Хорошо иметь друзей.

28 июля. Севодня я сделал глупость я забыл что уже не хожу как раньше в клас к мисс Кинниен в школу для взрослых. Я зашел в клас и сел на мое старое место вконец комнаты а она страна посмотрела на меня и сказала Чарлз.

Я непомню чтобы она меня когданибудь так называла она говорила просто Чарли и я сказал привет мисс Кинниен я приготовил мой севодняшний урок только я потерял книжку для чтения по которой мы учимся. Она заплакала и убежала из комнаты и все на меня посмотрели тут я увидел что это совсем другие люди а не те которые раньше со мною учились в одном классе.

Потом я вдруг вспомнил чтото про апирацию и как я стал умным я сказал боже мой я паправде сваялял Чарли Гордона. Я ушел до того как она вернулась в клас. Поэтому я навсегда уезжаю из Нью-Йорка. Я нехочу еще раз сделать чтонибудь вроде этово. Я нехочу чтобы мисс Кинниен меня жалела. На фабрике все меня жалеют и этово я тоже нехочу поэтому я уеду в какоенибудь место где никто не знает что Чарли Гордон раньше был гением а теперь даже неможет читать книги и хорошо писать.

Я беру ссобой пару книг и даже если я несмогу их читать я буду много упражнятца и может я забуду не все что я выучл. Если я очинь постараюсь может я буду немножко умнее чем до апирации. У меня есть кроличья лапка и счасливое пенни и можетбыть они мне помогут.

Мисс Кинниен если вы когданибудь прочтете это не жалеите меня я очинь рад что я использовал еще один шанс стать умным потомучто я узнал много разных вещей а раньше я никогда даже незнал что они есть на свете и я благодари за то что я хоть наминутку это увидел.

Я незнаю почему я опять стал глупым и что я сделал нетак может это потому что я не очинь сильно старался. Но может если я постараюсь и

буду много упражняясь я стану немножко умнее и буду знать что значат все слова. Я немножко помню как мне было приятно когда я читал синюю книжку с порванной обложкой. Поэтому я обязательно буду все время стараться стать умным чтобы мне опять было так хорошо. Это очинь приятно знать разные вещи и быть умным. Я бы хотел быть таким прямо сейчас еслибы так я сел бы и все время читал. А всетаки я наверняка первый во всем мире глупый человек который открыл что-то важное для науки. Я помню что я чтото сделал но только непомню что. Кажется я вроде сделал чтото для всех таких глупых людей как я.

Прощайте мисс Кинниен и доктор Штраусс и все и P.S. пожалуйста скажите доктору Немюру чтобы он так неворчал когда над ним смеются и у него будет больше друзей. Совсем нетрудно иметь друзей если разрешаешь людям над собой смеяться. Там куда я еду у меня будет много друзей.

P.P.S. Если у вас будет возможность положите пожалуйста немножко цветов на могилу Эдджернона которая на заднем дворе...

Грасс Г. Жестяной барабан.

Автор: Гюнтер Грасс (род. 16.10.1927 вольный город Данциг, ныне Гданьск)

Источник: Роман «Жестяной барабан» опубликован в 1959 г.

Вопросы для обсуждения:

- 1) *Что собой представляет внутренний, духовный мир личности?*
- 2) *Как могут уживаться в человеке сострадание и бессмысленная жестокость?*
- 3) *Что происходит в повседневной жизни с прекрасными идеалами и принципами, такими как вера, надежда, справедливость, любовь?*
- 4) *Может (должен?) ли человек наполнить каждый день своей жизни духовным содержанием, смыслом?*

ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ

Давным-давно жил да был один музыкант по имени Мейн, и он умел дивно играть на трубе. Обитал он у нас на пятом этаже доходного дома, под крышей, держал четырех кошек, из которых одну звали Бисмарк, а сам с утра до вечера припадал к бутылке с можжевеловкой. Так он все пил да пил до тех пор, пока беда не заставила его протрезветь. Сегодня Оскар еще не согласен верить в предзнаменования. Хотя тогда накопилось уже более чем достаточно предзнаменований беды, которая натягивала сапоги все большего размера и в сапогах все большего размера делала все большие шаги, вознамерясь разнести беду по белу свету. А тут как раз умер мой друг Герберт Тручински от ранения в грудь, нанесенного ему деревянной женщиной. Сама-то женщина не умерла. Ее опечатали и переправили в музейные подвалы якобы для реставрации. Но беду не упрячешь в подвал. Вместе со сточными водами она попадает в канализацию, перетекает в газовые трубы, распределяется по всем кухням, и никто из ставящих свой супчик на бледно-синее пламя горелки не знает и не ведает, что пища его варится на беде. Когда Герберта хоронили на Лангфурском кладбище, я второй раз увидел Дурачка Лео, с которым познакомился на кладбище в Брентау. И всем нам – мамаше Тручински, Густе, Фрицу и Марии Тручински, толстой фрау Катер, старику Хайланду, который по праздникам забивал для мамыши Тручински Фрицевых кроликов, моему предполагаемому отцу Мацерату, который в своем великодушии, охотно выставляемом напоказ, взял на себя добрую половину расходов по

похоронам, а также Яну Бронски, который почти и не знал Герберта, а пришел лишь затем, чтобы повидать Мацерата и, может быть, меня на нейтральной территории, — нам всем, пуская слюни и протягивая дрожащие руки в белых перчатках, Лео Дурачок выразил свое безумное, не отличающее радость от горя соболезнавание. Но когда перчатки Лео Дурачка протянулись к музыканту Мейну, который пришел наполовину в гражданском, наполовину в форме штурмовика, нам было явлено еще одно предзнаменование грядущей беды.

Бледная ткань перчаток испуганно взмыла кверху и полетела прочь, увлекая за собой Лео через могильные холмы. Мы слышали его крик, однако то, что обрывками слов оседало на кладбищенских кустах, ничем не напоминало соболезнавание.

Люди вовсе не отхлынули от трубача Мейна, и все же среди пришедших на похороны он стоял как бы одиноко, опознанный и отмеченный Лео Дурачком, стоял, смущенно возился со своей трубой, которую нарочно принес с собой и на которой перед этим дивно играл над могилой Герберта. Дивно потому, что Мейн, чего уже давно не делал, заранее хлебнул можжевельники, потому, что смерть Герберта, с которым он был одних лет, больно его задела, тогда как меня и мой барабан смерть Герберта заставила умолкнуть.

Давным-давно жил да был один музыкант по имени Мейн, и он умел дивно играть на трубе. Обитал он у нас на пятом этаже доходного дома, как раз под крышей, держал четырех кошек, из которых одну звали Бисмарк, и с раннего утра до позднего вечера пил можжевельнику, пока году, думается, в тридцать шестом или тридцать седьмом не вступил в конные части штурмовиков и там, уже как трубач музыкантской роты, начал трубить хоть и грамотнее, но совсем не дивно, ибо, влезши в подбитые кожей кавалерийские рейтузы, он принужден был отречься от своей бутылочки и впредь уже только в трезвом виде дудел в свою трубу. Когда у штурмовика Мейна умер друг его молодости Герберт Тручински, с которым он в двадцатые годы принадлежал к коммунистической молодежной группе, а позднее платил *wkemqjhe* взносы «Красным соколам», когда Герберта опускали в могилу, Мейн схватился за свою трубу и одновременно за бутылку. Ибо он хотел трубить дивно, а не трезво, ибо, восседая верхом на гнедом коне, не утратил свой музыкальный слух, а потому, уже на кладбище, отхлебнул еще глоток и потому, даже трубя, оставался в штатском плаще, надетом поверх формы, хотя первоначально собирался трубить по-над кладбищенской землей в

коричневом мундире, правда с непокрытой головой. Давным-давно жил да был штурмовик, который не снял плаща, надетого поверх формы, когда дивно и просветленно— от можжевельники— трубил над могилой друга юности. А когда тот самый Дурачок Лео, который является неременной принадлежностью любого кладбища, пожелал выразить собравшимся свое соболезнование, каждый из нас услышал эти соболезнования. Только штурмовику Мейну не довелось прикоснуться к белой перчатке Лео, ибо Лео опознал штурмовика, испугался и с громким криком отказал ему в своей перчатке и в своем соболезновании. И тогда штурмовик без соболезнования и держа в руках холодную трубу побрел домой, где и застал у себя в квартире под самым чердаком нашего доходного дома четырех своих кошек. Давным-давно жил да был штурмовик по имени Мейн. Со времен, когда Мейн ежедневно пил можжевельники и дивно играл на трубе, у него сохранились четыре кошки, из которых одну звали Бисмарк. Однажды, воротясь с похорон Герберта Тручински, друга молодости, печальный и снова вполне трезвый, потому что кто-то не пожелал выразить ему соболезнование, Мейн увидел себя в полном одиночестве и с четырьмя кошками. Кошки терлись о его кавалерийские сапоги, и Мейн дал им на куске газеты селедочные головы, что заставило кошек забыть про его ноги. В тот день здесь стоял особенно сильный запах от четырех кошек, которые, собственно говоря, все были коты, из которых одного звали Бисмарк, и ходил он в черной шкурке на белых лапках. Но дома у Мейна как на грех не оказалось можжевельники. А от этого в квартире все сильнее пахло кошками, вернее говоря— котами. Мейн, конечно, мог бы прикупить бутылочку и у нас, в лавке колониальных товаров, не живи он на пятом этаже, под самой крышей. А так он боялся лестницы и боялся соседей, перед которыми не раз и не два торжественно клялся, что ни одна капля можжевельники не увлажнит больше его музыкальные губы, что для него началась новая жизнь, что отныне и впредь жизнь его будет посвящена порядку, а не хмельным утехам разгульной и бесшабашной юности. Давным-давно жил да был человек по имени Мейн. И как-то раз, когда он обнаружил себя в своей квартире под крышей наедине со своими четырьмя кошками, из которых одну звали Бисмарк, кошачий запах показался ему совсем уж несносным, потому как утром того же дня с ним произошло нечто постыдное, а еще потому, что в доме не сыскалось ни капли можжевельники. Но поскольку постыдность и жажда все крепили, усиливая тем кошачий запах, Мейн, будучи музыкантом и членом кавалерийской духовой капеллы у штурмовиков, схватил

кочергу, что стояла возле холодной печки, и до тех пор охаживал своих котов, пока не решил, что все четверо, включая кота по имени Бисмарк, уже испустили дух, подошли, хотя кошачий запах, надо сказать, не стал от этого менее пронзительным. Давным-давно жил да был часовщик по имени Лаубшад, и жил он на втором этаже нашего дома, в двухкомнатной квартире окнами во двор. Был этот часовщик не женат. И еще он был членом национал-социалистской благотворительной организации, а также общества защиты животных. У Лаубшада было доброе сердце, и он помогал снова встать на ноги всем усталым людям, больному зверью и сломанным часам. Когда однажды после обеда часовщик в глубокой задумчивости, вспоминая состоявшиеся утром похороны одного из соседей, сидел у окна, он увидел, как музыкант Мейн, проживающий на пятом этаже того же дома, вынес во двор мешок из-под картошки, заполненный до середины, а снизу явно влажный, так что из мешка даже капало, вынес и сунул в один из двух мусорных ящиков, но, поскольку мусорный ящик был уже на три четверти заполнен, музыканту лишь с трудом удалось закрыть крышку. Давным-давно жили да были четыре кота, из которых одного звали Бисмарк. Принадлежали коты одному музыканту по имени Мейн. Поскольку коты не были кастрированы, от них сильно пахло, и этот запах пересиливал все остальные, в день, когда запах по особым причинам стал музыканту особенно невыносим, он взял да и убил кочергой всех четырех котов, сунул их в мешок из-под картошки, снес мешок по лестнице с пятого этажа и очень торопился как можно скорей затолкать мешок в мусорный ящик возле перекладки для выбивания ковров, потому что мешковина была редкая и уже на третьем этаже из мешка начало капать. А поскольку мусорный ящик и без того уже был набит, музыканту Мейну пришлось сильно утрамбовать мусор мешком, чтобы крышка снова закрылась. Но едва он успел выйти со двора на улицу, потому что возвращаться в пропахшую кошками, но лишенную кошек квартиру ему не хотелось, как примятый мусор начал расправляться, приподнял мешок, а вместе с мешком и крышку от мусорного ящика. Давным-давно жил да был музыкант, который убил своих четырех кошек, засунул их в мусорный ящик и ушел из дому, чтобы навестить своих друзей. Давным-давно жил да был один часовщик, который в задумчивости сидел у окна и наблюдал, как музыкант Мейн засунул в мусорный ящик неполный мешок, после чего ушел со двора, а крышка от ящика вскоре после его ухода начала подниматься и поднималась все выше и выше. И еще давным-давно жили да были четыре

кота, которых убили за то, что в один особенный день от них особенно сильно пахло, убив, сунули в мешок, а мешок сунули в мусорный ящик. Но кошки, из которых одну звали Бисмарк, были еще не совсем мертвые, а оказались живучими, как и все кошки. Они двигались в мешке, отчего задвигалась и крышка мусорного ящика и тем поставила перед часовщиком Лаубшадом, который все так же в глубокой задумчивости сидел у окна, следующий вопрос: а ну угадай-ка, что лежит в мешке, который музыкант Мейн засунул в мусорный ящик? Итак, жил да был часовщик, который не мог спокойно видеть, как в мусорном ящике что-то шевелится. И тогда он покинул свою квартиру на втором этаже доходного дома, и отправился во двор, и поднял крышку мусорного ящика, и открыл мешок, и достал четырех избитых, но все еще живых котов, чтобы их выходить. Но уже на следующую ночь коты умерли под пальцами часовщика, и не осталось у него иного выхода, как принести жалобу в общество защиты животных, членом которого он состоял, а вдобавок известить руководство местной партгруппы об издевательствах над животными, пагубном для партийной репутации. Давным-давно жил да был один штурмовик, который убил четырех котов, но, поскольку коты не совсем чтобы умерли, они его выдали, а один часовщик на него донес. Дело кончилось судебным разбирательством, и штурмовику пришлось платить штраф. А вдобавок у штурмовиков этот случай тоже обсуждался, и было решено за недостойное поведение изгнать штурмовика Мейна из рядов СА. И хотя наш штурмовик в ночь с девятого на десятое ноября тридцать восьмого года, ту самую, что позже была названа «хрустальной ночью», проявлял чудеса храбрости, вместе с другими поджигая синагогу на Михаэлисвег, а также не щадил сил, когда на другое утро следовало очистить предварительно помеченные лавки, его изгнание из рядов СА осталось в силе. За бесчеловечное отношение к животным его разжаловали и вычеркнули из списков. Лишь год спустя ему удалось вступить в ополчение, перешедшее в дальнейшем под начало частей СС. Жил да был владелец лавки колониальных товаров, который неким ноябрьским днем закрыл свою лавку, потому что в городе кое-что происходило, взял своего сына Оскара за руку и поехал на трамвае номер пять до Лаштассовских ворот, ибо там, как и в Сопоте, горела синагога. Синагога уже почти догорела, и пожарники следили, чтобы огонь не перекинулся на соседние дома. Перед дымящимися развалинами люди в форме и в штатском сносили в кучу священные предметы и диковинные ткани. Потом кучу подожгли, и лавочник, воспользовавшись случаем, отогрел свои пальцы и

свои чувства над общедоступным огнем. Сын его Оскар, видя отца столь деловитым и увлеченным, незаметно исчез и поспешил по направлению Цойгхаус-пассажа, ибо судьба его барабанов из лакированной, белой с красным жести внушала ему опасения. Давным-давно жил да был продавец игрушек, звали его Сигизмунд Маркус, и в числе прочего он торговал также барабанами, покрытыми белым и красным лаком. А Оскар, о котором шла речь, был основным потребителем жестяных барабанов, потому что он по роду занятий был барабанщик и без барабана не мог жить, не мог и не хотел. Вот он и помчался прочь от горящей синагоги к пассажи, ибо там обитал хранитель его барабанов, но хранителя он нашел в том состоянии, которое делало для него торговлю барабанами невозможной впредь и вообще на этом свете. Они же, те самые поджигатели, которых Оскар мнил опередить, уже успели наведаться к Маркусу. Обмакнув кисточки в краску, они уже успели готическим шрифтом написать поперек витрины «еврейская свинья», потом, возможно недовольные собственным почерком, выбили стекло витрины каблуками своих сапог, после чего о прозвище, которым они наградили Маркуса, можно было лишь догадываться. Пренебрегая дверью, они проникли в лавку через разбитую витрину и там на свой лад начали забавляться игрушками. Я еще застал их за этими забавами, когда, подобно им, вошел через витрину. Некоторые спустили штаны и навалили коричневые колобашки, в которых можно было увидеть непереваренный горох, на парусники, обезьян, играющих на скрипке, и на мои барабаны. Все они напоминали музыканта Мейна, носили, как и он, коричневую форму штурмовика, но самого Мейна среди них не было, как и тех, кто был здесь, не было в каком-нибудь другом месте. Один из них, достав свой кинжал, вспарывал животы куклам и всякий раз выглядел донельзя разочарованным, когда из туго набитого тельца, из рук и ног сыпались лишь опилки. Судьба моих барабанов внушала мне опасения. Барабаны им не понравились. Моя жесть не устояла перед их яростью, она безмолвствовала, она пала на колени. Зато Маркус сумел от их ярости уклониться. Пожелав с ним побеседовать в его конторке, они, конечно же, не стали стучать, а просто выломали дверь, хоть она и так не была заперта. Продавец игрушек сидел у себя за письменным столом. Как и обычно, на нем были нарукавники поверх темно-серого повседневного костюма. Перхоть на плечах свидетельствовала о болезни волос. Один из вошедших, с кукольными головками всех членов семьи Касперле на всех пальцах, толкнул Маркуса деревянной головой Касперлевой бабушки, но Маркус

был уже недоступен ни для бесед, ни для оскорблений. Перед ним на письменном столе стоял стакан, который нестерпимая жажда заставила его выпить до дна именно в ту минуту, когда вскрикнувшая всеми осколками витрина его лавки вызвала сухость у него во рту. Давным-давно жил да был барабанщик по имени Оскар. Когда у него отняли продавца игрушек и разгромили игрушечную лавку, он почуял, что для барабанщиков ростом с гнома – а он был именно таков – настают тяжелые времена. Поэтому он, перед тем как покинуть лавку, выковырял из обломков один совсем целый и два лишь чуть подпорченных барабана и, обвешанный ими, покинул лавку, чтобы поискать на Угольном рынке своего отца, который, возможно, и сам его искал. Был конец ноябрьского дня. Возле Городского театра неподалеку от трамвайной остановки стояли верующие женщины и уродливые замерзшие девицы, которые раздавали религиозные брошюры, собирали подаяние в жестяные кружки и демонстрировали плакат с текстом из Первого послания к Коринфянам, глава тринадцатая. «Вера – Надежда – Любовь», – прочитал Оскар и принялся играть этими словами, как жонглер играет бутылками: легкоеверие – мыс Доброй Надежды – любомудрие – верительные грамоты – вотум доверия. А ты веришь, что завтра будет дождь? Целый легкоеверный народ верил в Деда Мороза. Но Дед Мороз на поверку оказался газовщиком. Я верил, что это пахнет орехами и миндалем, а на деле пахло газом. Скоро будет, по-моему, первое предрождественское воскресенье, во всяком случае так говорят. Потом отвернут кран на первом, втором и так до четвертого воскресенья, как отворачивают газовый кран, чтобы запах орехов и миндаля выглядел вполне достоверно, чтобы все щелкунчики могли спокойно уверовать: Он идет! Он на подходе! И кто ж это у нас пришел? Младенец Иисус? Спаситель? Или это пришел небесный газовщик, неся под мышкой газовый счетчик, который непрерывно тикает? И он рек: «Я спаситель этого мира, без меня вы не сможете стряпать». Он проявил готовность к переговорам, и запросил вполне разумную цену, и отвернул свеженачищенные газовые краны, и пустил по трубам Святого Духа, дабы отварить голубя. Еще он раздавал орехи и миндаль, чтобы их тут же расколоть, и они тоже начали источать – дух и газ, так что для легкоеверных не составило труда сквозь плотный и синеватый воздух увидеть во всех газовщиках перед торговыми домами Дедов Морозов и младенцев Иисусов на любую цену и любого размера. А увидев, они уверовали во всеблагой газовый завод, который при помощи счетчиков с падающими и поднимающимися стрелками символизирует судьбу и за умеренную цену организует те

предрождественские воскресенья, когда хоть многие и веровали в предстоящее Рождество, однако утомительные дни праздника сумели пережить лишь те, для кого не достало запасов миндаля и орехов, хоть все и верили, будто их хватит с лихвой. Но после того, как вера в Деда Мороза обернулась верой в газовщика, было решено пренебречь последовательностью Послания к Коринфянам и начать с любви. Говорилось так: я тебя люблю, о, я люблю тебя. А ты себя любишь? Любишь ли ты меня, скажи, ты меня и в самом деле любишь? Я себя тоже люблю. И от сплошной любви они называли друг друга редисками, любили редиску, кусали редиску, одна редиска из любви откусывала редиску у другой. Они приводили примеры дивной, неземной, но также и земной любви между редисками и, перед тем как впиться зубами, голодные, острые и свежие, шептали: редисочка, скажи, ты меня любишь? Я себя тоже люблю. Но после того, как они исключительно из любви откусили друг у друга редиску, а вера в газовщика была вознесена на уровень государственной религии, после веры и предвосхищенной любви в лавке залежался только третий ингредиент из Послания к Коринфянам: надежда. И, хрумкая редиской, орехами и миндалем, они уже надеялись, что скоро будет конец, чтобы можно было то ли начать снова, то ли продолжить в том же духе после финальных аккордов, либо уже во время финальных аккордов в надежде, что концу скоро придет конец. Хотя они все еще не знали, чему именно конец. Они только надеялись, что конец скоро, прямо завтра, но уж никак не сегодня, ибо что им прикажете делать с неожиданным концом? А когда и в самом деле пришел конец, они обратили его в богатое надеждами начало, ибо в этих краях конец всегда означает начало и надежду в каждом, даже самом окончательном конце. Ибо сказано в Писании: покуда человек не утратил надежды, он будет начинать снова и снова в исполненном надежды финале...

Но вот я, я не знаю. Я не знаю, например, кто сегодня скрывается под бородой Деда Мороза, не знаю, что спрятал в мешке разбойник Рупрехт, не знаю, как заворачивают газовые краны, как перекрывают газ, ибо уже снова струится по трубам предрождественское воскресенье – или не снова, а все еще, не знаю, не знаю, может, ради пробы, не знаю, кому понадобилась проба, не знаю, могу ли я верить, что они, будем надеяться, с любовью прочищают горлышки горелок, чтобы те кукарекали, не знаю, в какое утро, в какой вечер, не знаю, причем здесь вообще время дня, ибо любовь не знает времени, а надежда не имеет конца, а вера не знает границ, лишь знание и незнание привязаны ко времени и к границам и по

большей части уже до срока кончаются бородами, заплочными мешками и миндалем, так что я снова вынужден повторять: я не знаю, о, я не знаю, чем они, к примеру, начиняют кишки и чьи кишки потребны, чтобы их начинять, и не знаю, чем начинять, пусть даже цены начинки выписаны изящно или грубо, но вполне отчетливо, не знаю, из чего складывается цена, в каких словарях они подыскивают названия для видов начинки, не знаю, чем они начиняют словари и чем кишки, не знаю, чье мясо, и не знаю, чей язык; слова обозначают, мясники замалчивают, я нарезаю кружками, ты открываешь книги, я читаю то, что мне по вкусу, ты не знаешь, что тебе по вкусу – кружки колбасы и цитаты из книг и кишок, – и нам никогда не доведется узнать, кому пришлось умолкнуть навек, кому онеметь, чтоб было чем начинить кишки, чтоб книги обрели голос, набитые, сжатые, густо исписанные, но я не знаю, я догадываюсь: одни и те же мясники начиняют книги и кишки словами и колбасным фаршем, нет на свете никакого Павла, этого человека звали Савл, он и был Савлом и как Савл рассказывал людям о неслыханно дешевых сортах колбасы, которые он именовал верой, надеждой и любовью, о колбасах, которые якобы прекрасно усваиваются, которые он и по сей день навязывает людям в неизменно переменчивом облике Савла. А у меня они отняли торговца игрушками, желая вместе с ним изгнать из мира все игрушки. Давным-давно жил на свете музыкант, которого звали Мейн и который умел дивно играть на трубе. Давным-давно жил на свете торговец игрушками, которого звали Маркус и который продавал лакированные жестяные барабаны, красные с белым. Давным-давно жил музыкант по имени Мейн, и у него были четыре кошки, из которых одну звали Бисмарк. Давным-давно жил барабанщик по имени Оскар, и он не мог обойтись без того человека, который продавал игрушки. Давным-давно жил музыкант по имени Мейн, и он насмерть забил кочергой четырех своих кошек. Давным-давно жил часовщик по имени Лаубшад, и он состоял в обществе защиты животных. Давным-давно жил барабанщик по имени Оскар, и они отняли у него торговца игрушками. Давным-давно жил торговец игрушками по имени Маркус, и он унес с собой все игрушки из этого мира. Давным-давно жил музыкант по имени Мейн, и если он не умер, то жив и по сей день и опять дивно играет на трубе.

Булгаков М.А. Мастер и Маргарита.

Автор: Михаил Афанасьевич Булгаков (03.05.1891 г. Киев, Российская империя – ум. 10.03.1940 Москва, СССР).

Источник: Роман «Мастер и Маргарита» вышел в свет в 1966 г.

Вопросы для обсуждения

- 1) *Какое место в жизни человека и общества занимает религия и вера?*
- 2) *Насколько вера человека в сверхъестественное нуждается в рационально-логическом обосновании?*
- 3) *Как Вы относитесь к идее судьбы и предопределения в отношении мира, истории и человеческой жизни?*
- 4) *Возможно ли обосновать с какой-либо позиции необходимость существования в мире зла наравне с добром?*

...Так кто ж ты, наконец?

– Я – часть той силы,

что вечно хочет

зла и вечно совершает благо.

Гете. «Фауст»

Глава 1. Никогда не разговаривайте с неизвестными

Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина. Первый из них, одетый в летнюю серенькую пару, был маленького роста, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а на хорошо выбритом лице его помещались сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе. Второй – плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек в заломленной на затылок клетчатой кепке – был в ковбойке, жеваных белых брюках и в черных тапочках.

Первый был не кто иной, как Михаил Александрович Берлиоз, председатель правления одной из крупнейших московских литературных ассоциаций, сокращенно именуемой МАССОЛИТ, и редактор толстого художественного журнала, а молодой спутник его – поэт Иван Николаевич Понырев, пишущий под псевдонимом Бездомный. [...]

Речь эта, как впоследствии узнали, шла об Иисусе Христе. Дело в том, что редактор заказал поэту для очередной книжки журнала большую антирелигиозную поэму. Эту поэму Иван Николаевич сочинил, и в очень

короткий срок, но, к сожалению, ею редактора нисколько не удовлетворил. Очертил Бездомный главное действующее лицо своей поэмы, то есть Иисуса, очень черными красками, и тем не менее всю поэму приходилось, по мнению редактора, писать заново. И вот теперь редактор читал поэту нечто вроде лекции об Иисусе, с тем чтобы подчеркнуть основную ошибку поэта. Трудно сказать, что именно подвело Ивана Николаевича – изобразительная ли сила его таланта или полное незнакомство с вопросом, по которому он собирался писать, – но Иисус в его изображении получился ну совершенно как живой, хотя и не привлекающий к себе персонаж. Берлиоз же хотел доказать поэту, что главное не в том, каков был Иисус, плох ли, хорош ли, а в том, что Иисуса-то этого, как личности, вовсе не существовало на свете и что все рассказы о нем – простые выдумки, самый обыкновенный миф.

Надо заметить, что редактор был человеком начитанным и очень умело указывал в своей речи на древних историков, например, на знаменитого Филона Александрийского, на блестяще образованного Иосифа Флавия, никогда ни словом не упоминавших о существовании Иисуса. Обнаруживая солидную эрудицию, Михаил Александрович сообщил поэту, между прочим, и о том, что то место в 15-й книге, в главе 44-й знаменитых Тацитовых «Анналов», где говорится о казни Иисуса, – есть не что иное, как позднейшая поддельная вставка.

Поэт, для которого все, сообщаемое редактором, являлось новостью, внимательно слушал Михаила Александровича, уставив на него свои бойкие зеленые глаза, и лишь изредка икал, шепотом ругая абрикосовую воду.

– Нет ни одной восточной религии, – говорил Берлиоз, – в которой, как правило непорочная дева не произвела бы на свет бога. И христиане, не выдумав ничего нового, точно так же создали своего Иисуса, которого на самом деле никогда не было в живых. Вот на это-то и нужно сделать главный упор...

Высокий тенор Берлиоза разносился в пустынной аллее, и по мере того, как Михаил Александрович забирался в дебри, в которые может забираться, не рискуя свернуть себе шею, лишь очень образованный человек, – поэт узнавал все больше и больше интересного и полезного и про египетского Озириса, благостного бога и сына Неба и Земли, и про финикийского бога Фаммуза, и про Мардука, и даже про менее известного грозного бога Вицлипуцли, которого весьма почитали некогда ацтеки в Мексике.

И вот как раз в то время, когда Михаил Александрович рассказывал поэту о том, как ацтеки лепили из теста фигурку Вицлипуцли, в аллее показался первый человек.

Впоследствии, когда, откровенно говоря, было уже поздно, разные учреждения представили свои сводки с описанием этого человека. Сличение их не может не вызвать изумления. Так, в первой из них сказано, что человек этот был маленького роста, зубы имел золотые и хромал на правую ногу. Во второй – что человек был росту громадного, коронки имел платиновые, хромал на левую ногу. Третья лаконически сообщает, что особых примет у человека не было.

Приходится признать, что ни одна из этих сводок никуда не годится.

Раньше всего: ни на какую ногу описываемый не хромал, и росту был не маленького и не громадного, а просто высокого. Что касается зубов, то с левой стороны у него были платиновые коронки, а с правой – золотые. Он был в дорогом сером костюме, в заграничных, в цвет костюма, туфлях. Серый берет он лихо заломил на ухо, под мышкой нес трость с черным набалдашником в виде головы пуделя. По виду – лет сорока с лишним. Рот какой-то кривой. Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз черный, левый почему-то зеленый. Брови черные, но одна выше другой. Словом – иностранец.

Пройдя мимо скамьи, на которой помещались редактор и поэт, иностранец покосился на них, остановился и вдруг уселся на соседней скамейке, в двух шагах от приятелей.

«Немец», – подумал Берлиоз.

«Англичанин, – подумал Бездомный, – ишь, и не жарко ему в перчатках».

А иностранец окинул взглядом высокие дома, квадратом окаймлявшие пруд, причем заметно стало, что видит это место он впервые и что оно его заинтересовало.

Он остановил свой взор на верхних этажах, ослепительно отражающих в стеклах изломанное и навсегда уходящее от Михаила Александровича солнце, затем перевел его вниз, где стекла начали предвечерне темнеть, чему-то снисходительно усмехнулся, прищурился, руки положил на набалдашник, а подбородок на руки.

– Ты, Иван, – говорил Берлиоз, – очень хорошо и сатирически изобразил, например, рождение Иисуса, сына божия, но соль-то в том, что еще до Иисуса родился еще ряд сынов божиих, как, скажем, фригийский Аттис, коротко же говоря, ни один из них не рождался и никого не было, в

том числе и Иисуса, и необходимо, чтобы ты, вместо рождения и, скажем, прихода волхвов, описал нелепые слухи об этом рождении... А то выходит по твоему рассказу, что он действительно родился!..

Тут Бездомный сделал попытку прекратить замучившую его икоту, задержав дыхание, отчего икнул мучительнее и громче, и в этот же момент Берлиоз прервал свою речь, потому что иностранец вдруг поднялся и направился к писателям.

Те поглядели на него удивленно.

– Извините меня, пожалуйста, – заговорил подошедший с иностранным акцентом, но не коверкая слов, – что я, не будучи знаком, позволяю себе... но предмет вашей ученой беседы настолько интересен, что...

Тут он вежливо снял берет, и друзьям ничего не оставалось, как приподняться и раскланяться.

«Нет, скорее француз...» – подумал Берлиоз.

«Поляк?...» – подумал Бездомный.

Необходимо добавить, что на поэта иностранец с первых же слов произвел отвратительное впечатление, а Берлиозу скорее понравился, то есть не то чтобы понравился, а... как бы выразиться... заинтересовал, что ли.

– Разрешите мне присесть? – вежливо попросил иностранец, и приятели как-то невольно раздвинулись; иностранец ловко уселся между ними и тотчас вступил в разговор.

– Если я не ослышался, вы изволили говорить, что Иисуса не было на свете? – спросил иностранец, обращая к Берлиозу свой левый зеленый глаз.

– Нет, вы не ослышались, – учтиво ответил Берлиоз, – именно это я и говорил.

– Ах, как интересно! – воскликнул иностранец.

«А какого черта ему надо?» – подумал Бездомный и нахмурился.

– А вы соглашались с вашим собеседником? – осведомился неизвестный, повернувшись вправо к Бездомному.

– На все сто! – подтвердил тот, любя выражаться вычурно и фигурально.

– Изумительно! – воскликнул непрошенный собеседник и, почему-то воровски оглянувшись и приглушив свой низкий голос, сказал: – Простите мою навязчивость, но я так понял, что вы, помимо всего прочего, еще и не

верите в бога? – он сделал испуганные глаза и прибавил: – Клянусь, я никому не скажу.

– Да, мы не верим в бога, – чуть улыбнувшись испугу интуриста, ответил Берлиоз. – Но об этом можно говорить совершенно свободно.

Иностранец откинулся на спинку скамейки и спросил, даже привизгнув от любопытства:

– Вы – атеисты?!

– Да, мы – атеисты, – улыбаясь, ответил Берлиоз, а Бездомный подумал, рассердившись: «Вот прицепился, заграничный гусь!»

– Ох, какая прелесть! – вскричал удивительный иностранец и завертел головой, глядя то на одного, то на другого литератора.

– В нашей стране атеизм никого не удивляет, – дипломатически вежливо сказал Берлиоз, – большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о боге.

Тут иностранец отколол такую штуку: встал и пожал изумленному редактору руку, произнеся при этом слова:

– Позвольте вас поблагодарить от всей души!

– За что это вы его благодарите? – заморгав, осведомился Бездомный.

– За очень важное сведение, которое мне, как путешественнику, чрезвычайно интересно, – многозначительно подняв палец, пояснил заграничный чудак.

Важное сведение, по-видимому, действительно произвело на путешественника сильное впечатление, потому что он испуганно обвел глазами дома, как бы опасаясь в каждом окне увидеть по атеисту.

«Нет, он не англичанин...» – подумал Берлиоз, а Бездомный подумал: «Где это он так наловчился говорить по-русски, вот что интересно!» – и опять нахмурился.

– Но, позвольте вас спросить, – после тревожного раздумья спросил заграничный гость, – как же быть с доказательствами бытия божия, коих, как известно, существует ровно пять?

– Увы! – с сожалением ответил Берлиоз, – ни одно из этих доказательств ничего не стоит, и человечество давно сдало их в архив. Ведь согласитесь, что в области разума никакого доказательства существования бога быть не может.

– Bravo! – вскричал иностранец, – bravo! Вы полностью повторили мысль беспокойного старика Иммануила по этому поводу. Но вот курьез:

он начисто разрушил все пять доказательств, а затем, как бы в насмешку над самим собою, соорудил собственное шестое доказательство!

– Доказательство Канта, – тонко улыбнувшись, возразил образованный редактор, – также неубедительно. И недаром Шиллер говорил, что кантовские рассуждения по этому вопросу могут удовлетворить только рабов, а Штраус просто смеялся над этим доказательством.

Берлиоз говорил, а сам в это время думал: «Но, все-таки, кто же он такой? И почему так хорошо говорит по-русски?»

– Взять бы этого Канта, да за такие доказательства года на три в Соловки! – совершенно неожиданно бухнул Иван Николаевич.

– Иван! – сконфузившись, шепнул Берлиоз.

Но предложение отправить Канта в Соловки не только не поразило иностранца, но даже привело в восторг.

– Именно, именно, – закричал он, и левый зеленый глаз его, обращенный к Берлиозу, засверкал, – ему там самое место! Ведь говорил я ему тогда за завтраком: «Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали! Оно, может, и умно, но больно непонятно. Над вами потешаться будут».

Берлиоз выпучил глаза. «За завтраком... Канту?.. Что это он плетет?» – подумал он.

– Но, – продолжал иноземец, не смущаясь изумлением Берлиоза и обращаясь к поэту, – отправить его в Соловки невозможно по той причине, что он уже с лишком сто лет пребывает в местах значительно более отдаленных, чем Соловки, и извлечь его оттуда никоим образом нельзя, уверяю вас!

– А жаль! – отозвался задира-поэт.

– И мне жаль! – подтвердил неизвестный, сверкая глазом, и продолжал: – Но вот какой вопрос меня беспокоит: ежели бога нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще порядком на земле?

– Сам человек и управляет, – поспешил сердито ответить Бездомный на этот, признаться, не очень ясный вопрос.

– Виноват, – мягко отозвался неизвестный, – для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в

тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? И, в самом деле, – тут неизвестный повернулся к Берлиозу, – вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас... кхе... кхе... саркома легкого... – тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие, – да, саркома, – жмурясь, как кот, повторил он звучное слово, – и вот ваше управление закончилось! Ничья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует. Родные вам начинают лгать, вы, чуя неладное, бросаетесь к ученым врачам, затем к шарлатанам, а бывает, и к гадалкам. Как первое и второе, так и третье – совершенно бессмысленно, вы сами понимаете. И все это кончается трагически: тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи. А бывает и еще хуже: только что человек соберется съездить в Кисловодск, – тут иностранец прищурился на Берлиоза, – пустяковое, казалось бы, дело, но и этого совершить не может, потому что неизвестно почему вдруг возьмет – поскользнется и попадет под трамвай! Неужели вы скажете, что это он сам собою управил так? Не правильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой? – и здесь незнакомец рассмеялся странным смешком. [...]

«Надо будет ему возразить так, – решил Берлиоз, – да, человек смертен, никто против этого и не спорит. А дело в том, что...»

Однако он не успел выговорить этих слов, как заговорил иностранец:

– Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер.

«Какая-то нелепая постановка вопроса...» – помыслил Берлиоз и возразил:

– Ну, здесь уж есть преувеличение. Сегодняшний вечер мне известен более или менее точно. Само собой разумеется, что, если на Бронной мне свалится на голову кирпич...

– Кирпич ни с того ни с сего, – внушительно перебил неизвестный, – никому и никогда на голову не свалится. В частности же, уверяю вас, вам он ни в коем случае не угрожает. Вы умрете другой смертью.

– Может быть, вы знаете, какой именно? – с совершенно естественной иронией осведомился Берлиоз, вовлекаясь в какой-то действительно нелепый разговор, – и скажете мне?

– Охотно, – отозвался незнакомец. Он смерил Берлиоза взглядом, как будто собирался сшить ему костюм, сквозь зубы пробормотал что-то вроде: «Раз, два... Меркурий во втором доме... луна ушла... шесть – несчастье... вечер – семь...» – и громко и радостно объявил: – Вам отрежут голову!

Бездомный дико и злобно вытаращил глаза на развязного неизвестного, а Берлиоз спросил, криво усмехнувшись:

– А кто именно? Враги? Интервенты?

– Нет, – ответил собеседник, – русская женщина, комсомолка.

– Гм... – промычал раздраженный шуточкой неизвестного Берлиоз, – ну, это, извините, маловероятно.

– Прошу и меня извинить, – ответил иностранец, – но это так. Да, мне хотелось бы спросить вас, что вы будете делать сегодня вечером, если это не секрет?

– Секрета нет. Сейчас я зайду к себе на Садовую, а потом в десять часов вечера в МАССОЛИТе состоится заседание, и я буду на нем председательствовать.

– Нет, этого быть никак не может, – твердо возразил иностранец.

– Это почему?

– Потому, – ответил иностранец и прищуренными глазами поглядел в небо, где, предчувствуя вечернюю прохладу, бесшумно чертили черные птицы, – что Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила. Так что заседание не состоится.

Тут, как вполне понятно, под липами наступило молчание. [...]

И опять крайне удивились и редактор и поэт, а профессор поманил обоих к себе и, когда они наклонились к нему, прошептал:

– Имейте в виду, что Иисус существовал.

– Видите ли, профессор, – принужденно улыбнувшись, отозвался Берлиоз, – мы уважаем ваши большие знания, но сами по этому вопросу придерживаемся другой точки зрения.

– А не надо никаких точек зрения! – ответил странный профессор, – просто он существовал, и больше ничего.

– Но требуется же какое-нибудь доказательство... – начал Берлиоз.

– И доказательств никаких не требуется, – ответил профессор и заговорил негромко, причем его акцент почему-то пропал: – Все просто: в белом плаще... [...]

Поэт провел рукою по лицу, как человек, только что очнувшийся, и увидел, что на Патриарших вечер.

Вода в пруде почернела, и легкая лодочка уже скользила по ней, и слышался плеск весла и смешки какой-то гражданки в лодочке. В аллеях на скамейках появилась публика, но опять-таки на всех трех сторонах квадрата, кроме той, где были наши собеседники.

Небо над Москвой как бы выцвело, и совершенно отчетливо была видна в высоте полная луна, но еще не золотая, а белая. Дышать стало гораздо легче, и голоса под липами звучали мягче, по-вечернему.

«Как же это я не заметил, что он успел сплести целый рассказ?.. – подумал Бездомный в изумлении, – ведь вот уже и вечер! А может, это и не он рассказывал, а просто я заснул и все это мне приснилось?»

Но надо полагать, что все-таки рассказывал профессор, иначе придется допустить, что то же самое приснилось и Берлиозу, потому что тот сказал, внимательно всматриваясь в лицо иностранца:

– Ваш рассказ чрезвычайно интересен, профессор, хотя он и совершенно не совпадает с евангельскими рассказами.

– Помилуйте, – снисходительно усмехнувшись, отозвался профессор, – уж кто-кто, а вы-то должны знать, что ровно ничего из того, что написано в евангелиях, не происходило на самом деле никогда, и если мы начнем ссылаться на евангелия как на исторический источник... – он еще раз усмехнулся, и Берлиоз осекся, потому что буквально то же самое он говорил Бездомному, идя с тем по Бронной к Патриаршим прудам.

– Это так, – заметил Берлиоз, – но боюсь, что никто не может подтвердить, что и то, что вы нам рассказывали, происходило на самом деле.

– О нет! Это может кто подтвердить! – начиная говорить ломаным языком, чрезвычайно уверенно ответил профессор и неожиданно таинственно поманил обоих приятелей к себе поближе.

Те наклонились к нему с обеих сторон, и он сказал, но уже без всякого акцента, который у него, черт знает почему, то пропадал, то появлялся:

– Дело в том... – тут профессор пугливо оглянулся и заговорил шепотом, – что я лично присутствовал при всем этом. И на балконе был у Понтия Пилата, и в саду, когда он с Каифой разговаривал, и на помосте, но только тайно, инкогнито, так сказать, так что прошу вас – никому ни слова и полный секрет!.. Тсс!

Наступило молчание, и Берлиоз побледнел. [...]

– А дьявола тоже нет? – вдруг весело осведомился больной у Ивана Николаевича.

– И дьявола...

– Не противоречь! – одними губами шепнул Берлиоз, обрушиваясь за спину профессора и гримасничая.

– Нету никакого дьявола! – растерявшись от всей этой муры, вскричал Иван Николаевич не то, что нужно, – вот наказание! Перестаньте вы психовать.

Тут безумный расхохотался так, что из липы над головами сидящих выпорхнул воробей.

– Ну, уж это положительно интересно, – трясаясь от хохота проговорил профессор, – что же это у вас, чего нихватишься, ничего нет! – он перестал хохотать внезапно и, что вполне понятно при душевной болезни, после хохота впал в другую крайность – раздражился и крикнул сурово: – Так, стало быть, так-таки и нету?

– Успокойтесь, успокойтесь, успокойтесь, профессор, – бормотал Берлиоз, опасаясь волновать больного, – вы посидите минуточку здесь с товарищем Бездомным, а я только сбегая на угол, звякну по телефону, а потом мы вас проводим, куда вы хотите. Ведь вы не знаете города...

План Берлиоза следует признать правильным: нужно было добежать до ближайшего телефона-автомата и сообщить в бюро иностранцев о том, что вот, мол, приезжий из-за границы консультант сидит на Патриарших прудах в состоянии явно ненормальном. Так вот, необходимо принять меры, а то получается какая-то неприятная чепуха.

– Позвонить? Ну что же, позвоните, – печально согласился больной и вдруг страстно попросил: – Но умоляю вас на прощанье, поверьте хоть в то, что дьявол существует! О большем я уж вас и не прошу. Имейте в виду, что на это существует седьмое доказательство, и уж самое надежное! И вам оно сейчас будет предъявлено. [...]

Берлиоз не стал слушать попрошайку и ломаку регента, подбежал к турникету и взялся за него рукой. Повернув его, он уже собирался шагнуть на рельсы, как в лицо ему брызнул красный и белый свет: загорелась в стеклянном ящике надпись «Берегись трамвая!».

Тотчас и подлетел этот трамвай, поворачивающий по новопроложенной линии с Ермолаевского на Бронную. Повернув и выйдя на прямую, он внезапно осветился изнутри электричеством, взвыл и надал.

Осторожный Берлиоз, хоть и стоял безопасно, решил вернуться за рогатку, переложил руку на вертушке, сделал шаг назад. И тотчас рука его скользнула и сорвалась, нога неудержимо, как по льду, поехала по

булыжнику, откосом сходящему к рельсам, другую ногу подбросило, и Берлиоза выбросило на рельсы.

Стараясь за что-нибудь ухватиться, Берлиоз упал навзничь, несильно ударившись затылком о булыжник, и успел увидеть в высоте, но справа или слева – он уже не сообразил, – позлащенную луну. Он успел повернуться на бок, бешеным движением в тот же миг подтянув ноги к животу, и, повернувшись, разглядел несущееся на него с неудержимой силой совершенно белое от ужаса лицо женщины-вагоновожатой и ее алую повязку. Берлиоз не вскрикнул, но вокруг него отчаянными женскими голосами завизжала вся улица. Вожатая рванула электрический тормоз, вагон сел носом в землю, после этого мгновенно подпрыгнул, и с грохотом и звоном из окон полетели стекла. Тут в мозгу Берлиоза кто-то отчаянно крикнул – «Неужели?..» Еще раз, и в последний раз, мелькнула луна, но уже разваливаясь на куски, и затем стало темно.

Трамвай накрыл Берлиоза, и под решетку Патриаршей аллеи выбросило на булыжный откос круглый темный предмет. Скатившись с этого откоса, он запрыгал по булыжникам Бронной.

Это была отрезанная голова Берлиоза.

Нейман Г.Р. Моление о чаше

Автор: Геннадий Робертович Нейман (род. 07.05.1974 г. Ленинград, СССР).

Источник: Стихотворение «Моление о чаше» опубликовано в 2007 г.

Знаешь, папа, так тихо в рощице.
Ни зверей кругом, ни людей.
Мне совсем умирать не хочется,
даже ради твоих идей.
Ну не звали б меня учителем –
был бы плотник, пастух, рыбак...
Папа!
Можно не так...мучительно?
Или лучше – совсем никак?
Да скрутил бы ты в небе дулю им,
откровением для властей.
Ты ж меня не спросил – хочу ли я
жизнь заканчивать на кресте.
Милосердия мне бы, толику –
нож под сердце, в кувшине яд,
как представляю – в печенках колики
и озноб с головы до пят,
и душа, словно заяц, мечется –
перепугана и проста.
Извини...я – сын человеческий
от рождения до креста.
С чем сравню эту жизнь? Да с ветошью –
руки вытер и сжег в печи...
А Иуда два дня не ест уже
и неделю уже – молчит.
Плохо, папа, ты это выдумал,
хоть на выдумку и мастак.
Может, ты их простишь? Без выкупа?
Просто так?...

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ЧАСТЬ 1. УНИВЕРСУМ И ЕГО УСТРОЙСТВО. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК ..	6
Борхес Х.Л. Тлен, Укбар, Orbis tertius.....	8
Лем С. Новая космогония.....	20
Хемингуэй Э. Старик и море.....	34
Пильняк Б.А. Целая жизнь.....	48
ЧАСТЬ 2. ЧЕЛОВЕК КАК УНИКАЛЬНОЕ СУЩЕСТВО, ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И ЛИЧНОСТЬ.....	60
Платонов А.П. О любви.....	61
Толстой Л.Н. Смерть Ивана Ильича.....	66
Сартр Ж.-П. Стена.....	79
Камю А. Миф о Сизифе.....	93
ЧАСТЬ 3. ПОЗНАНИЕ И ИСТИНА. СТАТУС НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.....	99
Кастанеда К. Особая реальность.....	100
Турнье М. Пятница, или Тихоокеанский лимб.	110
Эко У. Оно	120
Хаксли О. О дивный новый мир.	124
ЧАСТЬ 4. ОБЩЕСТВО. ПОЛИТИКА. ПРАВО.....	138
Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы	139
Замятин Е.И. Мы	153
Оруэлл Дж. 1984.....	164
Кафка Ф. Процесс.....	177
ЧАСТЬ 5. КУЛЬТУРА И ДУХОВНЫЙ МИР ЛИЧНОСТИ. РЕЛИГИЯ, ИСКУССТВО И МОРАЛЬ.	189
Гессе Г. Игра в бисер	190
Киз Д. Цветы для Элджернона.....	205
Грасс Г. Жестяной барабан.	218
Булгаков М.А. Мастер и Маргарита.....	227